№16(614)·1968

РОМАН-ГАЗЕТА

ВИЛЬ ЛИПАТОВ

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

ВИЛЬ ЛИПАТОВ

Редко когда у писателя, за плечами которого не столь уж много лет, так прочно и основательно складывается литературная биография, как у Виля Владимировича Липатова. С „молодых ногтей", с первых своих творческих шагов бьется он над созданием образа героя времени, и его книги почти всегда заставляют радоваться, спорить и размышлять.

Впервые читатели познакомились с Вилем Липатовым одиннадцать лет назад, когда в журнале „Юность" появилась его повесть „Двое в тельняшках". Это произведение и несколько предшествующих, напечатанных в периферийных изданиях, привели автора на Третье Всесоюзное совещание молодых писателей. Липатов был не одинок в этом строгом и доброжелательном подсчете молодых сил нашей литературы, но был он в первом ряду.

Липатов оправдал выданный ему аванс. И как оправдал! С какой-то неистовой щедростью сибиряка и с сибирской же хваткой и основательностью работает он, год за годом представляя на читательский суд свои книги: „Шестеро", „Своя ноша не тянет", „Капитан „Смелого", „Глухая мята", „Стрежень", „Зуб мудрости", „Черный яр", „Смерть Егора Сузуна", „Чужой". Вчитайтесь в этот перечень, — и вы увидите интенсивную работу писателя, которому было и есть что сказать своему читателю.

Это касается, прежде всего, образа нашего современника. Липатов старается разбередить умы аналитической думой о его жизни. Он находит своего героя среди первозданной природы, которая не всегда добра к человеку. Его персонажи обычно заняты будничным, на первый взгляд, трудом. Вспомним „Глухую мяту". Легко и свободно живописует Липатов коллектив лесорубов, оказавшихся один на один с дикой тайгой и не потерявших ни „советского первородства", ни достоинства человека своего времени.

Буйный, щедрый, неуемный талант — вот чем поразил Липатов читателя со времени „Глухой мяты". И еще — доверием к человеку, отчего и в суровых обстоятельствах, постоянно присутствующих в его книгах, краски повествователя мягкие, а то и теплые.

Если спросить автора, откуда у него, человека, родившегося в Чите (1927 г.), в семье служащего, а позднее — у студента Томского педагогического института, чьим „богом" стала история, откуда у него знание деревни и тайги, ее людей, — вряд ли он сам сможет точно ответить на это. Правда, В. Липатов прожил несколько лет в деревне, когда мать его была сельской учительницей. Многое, несомненно, дала писателю и журналистская работа в томской областной газете „Красное знамя".

Совсем недавно, всего два года назад, поселился Липатов в Москве. Но он не только не отошел от своих героев, а, как ни странно, словно бы приблизился к ним. Новая его книга „Деревенский детектив" — это оригинальное, свежее произведение, с глубинным проникновением автора в характеры сельских тружеников. При этом форма повествования тоже не банальная, в книге сюжетно и идейно объединены разножанровые повести и рассказы, по-своему лаконичные и в то же время содержательные. Деревенский детектив, участковый уполномоченный Федор Иванович Анискин, внешне человек непривлекательный, его портрет чуть ли не гротесковый. Каждый раз, когда подходят к кульминации его розыски по тому или иному сложному делу, глаза его по-рачьи выкатываются, лицо багровеет, а тучная фигура становится смешной не по серьезности момента, руки едва умещаются на толстом животе с еле сходящимся ремнем. Но за этой нескладной внешностью кроется умное, доброе сердце, отзывчивая, благородная душа. Оказывается, и биография у него боевая, почти легендарная, и свою „мирную" профессию он выбрал тоже по призванию, по сердцу: он самозабвенно любит своих односельчан, знает их до донышка и желает им добра.

Есть что-то полемическое в замысле В. Липатова. Его герой как бы написан в споре с произведениями о незначительности „маленьких" людей. Но у милиционера Анискина только должность маленькая, а личность он недюжинная, самобытная. Это — характерная особенность нашей современности, счастливо найденная и с превосходной художественной естественностью изображенная автором. Человек — хозяин своей судьбы; это верно. Но истинный гражданин социалистического общества заботится о „ближних" и о „дальних". Этой заботой живет и Анискин. Государственный, словом, человек, участковый уполномоченный, созданный талантом Липатова. Герой благороден от природы, и он защищает самый справедливый строй на земле. Так совпадает черта личности героя и его служба. Оттеняя справедливость и социалистическую гуманность Анискина, Виль Липатов делает это свободно, без натяжки, скованности и назидания.

При всей серьезности идейной и художественной задачи, „Деревенский детектив" — повествование легкое и улыбчивое. В нем виден большой шаг автора на пути его художественного роста.

ЛИДИЯ ФОМЕНКО

РОМАН-ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В 1927 г.
№16 (614)
1968
ИХЛ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

ВИЛЬ ЛИПАТОВ

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

КНИГА ОБ УЧАСТКОВОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ ФЕДОРЕ АНИСКИНЕ

ЛОСИНАЯ КОСТЬ

Рассказ

1

В августе пополудни к колхозной конторе прибежал всеобщий пес Полкан и стал зарывать в лопухах мосластую кость. Колхозный сторож Дорофей хотел уж было пужнуть его, как заметил, что кость-то ни коровья, ни свиная, ни овечья. Старик Дорофей славился ленью, но тут со скамеечки сполз, наставив на Полкана дробовик, принудил отдать кость.

— Дура! — сказал он собаке. — Кость-то лосиная!

Возле колхозной конторы, конечно, сидели на лавочке два бывших незадачливых председателя, томились, и через полчаса до участкового уполномоченного Анискина докатилась весть о лосиной кости. День был не особенно жаркий; толстый Анискин минут через десять пришел к конторе. Он нюхнул кость, подбросил ее в руке и лениво сказал:

— Вот кого терпеть не могу, так это бездельников. Из городу тунеядцев в деревню шлют, а этих надо из деревни в глухую тайгу. И что же это за мода: как человек в председателях побудет, потом работать не хочет! Я скоро вас зачну без всякой загвоздки штрафовать!

После этого Анискин достал из парусиновых штанов газету, завернул в нее кость и позвал Полкана:

— Фьють! Где кость взял?

Полкан посмотрел в глаза Анискину, растерявшись, виновато помахал хвостом.

— Ну ладно, ладно. Без тебя знаю, где такие кости есть!

Деревня пусто и безголосо лежала вокруг конторы, млели в небе облака, розовые, августовские; не ходили по улицам люди, не катались подростки на велосипедах, не семенили к колодцам старухи, не голосили грудные ребятишки. Вымерла деревня, словно злые татарские орды угнали народ.

— Радость-то какая! — улыбнувшись, сказал Анискин. — Человека нет в деревне! Ну, ни одного человека нет! Вот какое действие

произвели на народ постановления партии и правительства, а вы, паразиты, лодырничаете! Нет, я вас непременно зачну штрафовать!

Строго посмотрев на бывших председателей, Анискин поманил пальцем сторожа Дорофея:

— Подь сюда!

— Кого прикажешь, товарищ Анискин?

— А это сейчас узнаешь!

Анискин сладостно поводил головой, подставляя лицо ветру, который неторопко тек с реки. Ветер поднимался из-под яра, приникая к сырой земле, пропитывался влагой и сырым глинистым холодом, и Анискин щурился, как сытый кот, плавала по лицу блаженная улыбка. Он сладко вздохнул и сказал:

— Дорофей, а Дорофей, ты поди думаешь, что я не знаю, как ты ночами на посту спишь! Ты думаешь, я не знаю, что ты третьего дни на дежурстве бутылку самогонки выпил и песни в конторе играл... Стой, не маши руками! Это я на тебя должен руками махать, но не махаю, а, наоборот, по причине твоей грыжи за тебя перед председателем заступаюсь. Но мы тебя с поста уволим, Дорофей, ежели ты мой приказ не исполнишь!

— Я тебя слушаю, товарищ Анискин!

— Правильно! Так и стой: пятки вместе, носки врозь... А приказ такой. Ежели еще раз к конторе этих тунеядцев пустишь, быть тебе в критике! Понял? Сполнишь?

— Сполню, товарищ Анискин! — выпучив глаза, заорал сторож.

— Вот и ладно!

Еще раз строго поглядев на молчащих председателей и подставив ветру лицо, Анискин хлопнул Дорофея по плечу, сипло хмыкнул и пошел берегом реки. Двигался он по кромке яра, чтобы поодувал глинистый ветерок, чтобы бросалась в глаза вся Обь с крутой загогулиной и пространственностью, чтобы от бескрайности реки было радостно глазу и душе. Прошагав с полкилометра, Анискин подвернул к одному из домов, отворив калитку, вошел во двор.

— Ай, есть живые? Живые, говорю, есть? — окликнул он.

Как и во всей деревне, в доме не было ни голоса, ни звука; среди амбарчиков, стаек и клетушек звенела комариная тишина, зарывшись в песок, млели куры, стоял на одной ноге петух с выдранным хвостом, и, как во всей деревне, двери дома не были закрыты — зияли темным провалом, и Анискин сделал шаг к крыльцу, но остановился. Потом опять сделал шаг к крыльцу и снова остановился.

— Ах, мать честная! — пробормотал он. — Ну, напасть!

Ни один живой глаз не видел Анискина, ни одно ухо не слышало его астматического дыхания, но он никак не мог перешагнуть ту черту, что невидимо лежала возле крыльца. Смешно это было — толстый Анискин и невидимая черточка на земле; он накатом вспотел, покраснев лицом и шеей, злобно взмахнул рукой.

— Мать твою перемать! — вслух выругался Анискин. — Это ведь мне придется лишне дело делать!

Он гневно осмотрел дом и ограду, обругал шепотом полуметровые лиственничные стены и окна, похожие из-за узкости и малости на амбразуры дота, купеческие амбарчики, стаечки и чуланчики, вызверился на две пустых собачьих конуры и в злобе дошел до того, что и петуха с курами послал в даль далекую. Анискин с грохотом открыл калитку, выбросился на улицу и погрозил дому кулаком:

— Так-перетак!

Подумав, Анискин сел на лавочку, бросил на землю газету с костью и расстегнул на рубахе все пуговицы. От резких движений он немного успокоился, но на излучину Оби и на кедрачи по берегу смотрел по-прежнему сердито. «Это надо же! — подумал Анискин. — Поля ушли в таку даль, что и реки нет! Все расширямся и расширямся, а куда расширямся!» Бормоча, он затих и так просидел минут пять. Затем встал, спрятал газету с лосиной костью под лавку и облегченно вздохнул: «Все равно придется идти!»

2

Анискин из-за того злился на Обь, что она на поля с ним не пошла. Через два километра река отвернула в сторону со своим глинистым ветерком и легкой для дыхания пространственностью, пряталась в тальниках, поначалу посверкивая сквозь них, а потом и совсем пропала. Участковый сразу вспотел, пошел тише и медленней и к бригадному табору прибыл в промокшей от пота рубахе. Обрадовавшись тишине и безлюдью, он зачерпнул из железной бочки ведро воды, с размаху вылил на себя.

— Матушки! — тонко воскликнул он. — Это ведь праздник!

Анискин дал стечь воде с головы, пофыркал, как лошадь, и только тогда строгими глазами осмотрел табор: два шалаша из соломы, врытый в землю обеденный стол, лежащие на земле телогрейки. В тени того шалаша, что был побольше, лежали сверточки и кулечки, мешочки и сумочки, бутылки с молоком и кринки со сметаной.

— Так! Так! — помычал Анискин. — Так! Так!

Он подошел к мешочкам, кулькам и бутылкам, широко расставив ноги, чтобы можно было нагнуться, просветленными от холодной воды глазами зашарил по мешкам, кулечкам и бутылкам. Руками Анискин опирался на колени.

— Ситцевый мешочек теткин Марфин, — бормотал он, — она его из той кофты сшила, что купила на встречу Федьки-солдата... Тут, конечно, Марея свои монатки держит — это ее противогазна сумка... А Ленька-то, Ленька Путяшев, тракторюга-то — из холостины мешок сшил... Ну, сумка, которая хуже всех, конечно же, Варварина, потому как на всей деревне другой такой грязнули нет... А вот эта сумка, та и есть, котору я ищу... Ну конечно, она!

Повеселев, Анискин хотел распрямиться, но раздумал и еще несколько секунд постоял в прежней позе.

— Ах, Митрий, Митрий! — беззвучно хохоча, сказал он. — Это ведь как в песне поется: «Какой ты был, такой ты и остался!»

Он хохотал потому, что на брезентовой сумочке — самой большой и туго набитой — лежало несколько свежих травинок. Одна из них шла от угла к пуговице, вторая под прямым углом перекрещивала ее, а остальные лежали так себе, без всякого смыслу.

— Ах, Митрий, Митрий!

По-прежнему хохоча, Анискин тяжело опустился на колени, на четвереньках подполз к брезентовой сумке и, опасаясь сдвинуть травинки, понюхал.

— Ну, ладно!

Анискин поднялся с земли, старательно стряхнул солому с коленок и солнечно, дружелюбно по отношению к миру улыбнулся. Так счастлив сделался Анискин, что вдруг подпрыгнул на одной ноге, прихлопнул ее второю, как в украинском танце. Были полны улыбки его серые глаза, лоснились блестящие губы, лихо торчали в вороте распахнутой рубахи густые волосы.

— Ну конечно же, это Митрий! — радостным голосом сказал он. И повторил: — Ну конечно же, это Митрий!

Анискин в первый раз внимательно посмотрел вокруг себя. Он увидел бескрайнюю желтизну пшеничного поля, голубое небо, августовскую зелень тальников, что стремились к далекой реке; увидел он всполохи работающих жнеек, тяжелую поступь комбайнов, разноцветные кофты женщин — всю ту веселую кутерьму, которая называется жатвой и которая веселит сердце всякого человека, деревенский он или городской, безразлично. Все это увидел Анискин и еще раз рассмеялся, а потом выпрямился, туго свел на переносице брови, заложив руки за спину, через кошанину пошел к березовому околку.

Выбрав тенистую березу, Анискин уперся в нее плечом, подумав, вынул руки из-за спины, сложил их на пузе и стал покручивать пальцами с таким видом, словно стоять под березой было для него самое большое удовольствие в жизни. Водяные пятна чернели на вышитой украинской рубахе, легкие волосы — все сплошь седые — прилипли к голове. Он походил на веселого и лукавого восточного бога.

— Ну, ладно! — тихонько пробормотал Анискин. — Мы его сейчас! Мы его мигом...

Нужная Анискину лобогрейка, стрекоча, приближалась. Машина суетливо махала крыльями, сквозная от этого, походила на бабочку-однодневку, что в короткой жизни своей низко стелется над землей. Суетлива была конная машина-лобогрейка, но еще суетливей казался сидящий на ней человек. Хоть и делать ему было нечего, — сиди да покачивайся на стальном сиденье! — он то мельтешил руками, то страхотно прикрикивал на лошадей, то перекладывал вожжи из руки в руку. Уж такой это был человек, что, работая, он суетился, жил в волнении и страхе.

— Ах, Митрий, Митрий! — укоризненно пробормотал Анискин.

Развернув лошадей, Дмитрий Пальцев остановился, соскочив на землю, в суете и волнении придавил ногами вожжи, быстро вынул из кармана длинный кисет. Еще больше суетясь руками и телом, он начал скручивать самокрутку, поглядывая на лошадей, на кошанину. Анискин неслышно вздохнул: «Ну, беда! Это он потому злится, что другие работают!» Участковый все покручивал на пузе пальцами, но был уже напряжен и серьезен, посверкивали в серых глазах больные искорки. «Ну, беда!» — еще раз вздохнул он.

— Здорово, Митрий! — негромко сказал Анискин, выходя из укрытия. — Перекуриваешь?

От неожиданности Дмитрий Пальцев отступил на шаг, но ногу с вожжой не снял.

— Экий ты пугливый! — улыбнулся Анискин.

— Ой, да Федор Иванович, — запел Дмитрий Пальцев, прижимая кисет к груди, — ой, да что ты говоришь, тут каждый испугается, если вышел ты в тихости, да ежели ничего не ждал, да ежели о чем задумался... — Напевая, Дмитрий Пальцев суетился, нервничал, а Анискин стоял тихо и смотрел на него. — ...Ой, да Федор Иванович, ой, да что ты такое говоришь.

Стекала с лица Дмитрия Пальцева бледная унылость и хворь, глядели на мир из вырубленных худобой глазниц иконные глаза, такие ласковые и искренние, что подирал по спине холодок. Но и это было не чудо, так как диводивное начиналось ниже: немощную голову, ребячью тонкую шею подпирал могучий торс борца, неохватные ширились плечи, выпирала из-под рубахи могучая грудь, стояли тумбами короткие ноги, а на голых руках сами по себе,

неизвестно для чего, вспыхивали и гасли блестящие от пота мускулы.

— Ой, да Федор Иванович, да что ты такое говоришь!..

— Ну-кось, Митрий, — сказал Анискин. — Потешь меня. Давно не видел... Подойди к лошадям-то!

— Ой, да зачем это, Федор Иванович, да что ты такое придумал?..

Дмитрий Пальцев вдруг перестал нервничать и вихляться, тая в углах губ усмешку, сложил руки на груди; смотрели искренне и нежно иконные глаза, стекала из них девичья нежность.

— Ладно, потешу я тебя, Анискин! — с придыханием сказал Пальцев. — Теперь самый раз тебя потешить...

Нежно улыбаясь, тихий, спокойный, Дмитрий Пальцев подошел к лошадям, остановившись в двух метрах от них, проговорил:

— Вот подошел, вот стою...

Обнажив лиловые белки, храпя, лошади пятились; нервная волна, похожая на завивающийся жгут, пробежала по спине каурой кобылы, и присела на задних ногах кобыла! Мелкой дрожью дрожал пегий мерин, тоже замедленно оседая на задние ноги.

— Хватит, хватит! — передохнув, сказал Анискин. — Отойди от лошадей к ядрене-фене, Митрий. Ну!

— Ладно, отойдем...

Анискин снова спрятался в тень березы, поглядел на желтое, зеленое и голубое, увидел просторность пшеничных полей, неба и тальников, убегающих к Оби.

— А я ведь знаю, Митрий, — сказал он, — почему ты травинки на сумку с продуктами кладешь.

— Ой, да что ты говоришь, да какие травинки, да что ты такое придумал?..

— Ну, помолчи, помолчи! — строго ответил Анискин. — Ты не опасайся, Митрий, я твою сумку с продуктами не трогал и в дом не вошел без понятых. Только тебе знать надо, что Полкан кость-то принес...

— Ой, да какую кость, да какой такой Полкан?..

— Помолчи, помолчи...

Анискин снял руки с пуза, вышел из тени березы и приблизился к Пальцеву, заглянул ему в лицо, в иконные глаза, длинно усмехнулся:

— Лосину кость Полкан принес. Ну, теперь ты, Митрий, коси, а я полегонечку, потихонечку в деревню пойду. Мне надо поллитру купить, так как я к тебе сегодня в гости приду свеженину есть!

— Ой, да Федор Иванович, ой, да что ты говоришь?..

— Ну, ладно, ладно!

Похлопав слоновьей ладонью Пальцева по плечу, Анискин пошел по кошенине, но шагов через пять остановился.

— Еще вот что, Митрий, — громко сказал он. — Я сначала-то испугался: думал, не ты, а кто другой лося завалил! Ты ведь нынче первый раз в колхозе старательно работаешь. Надо быть, тебе трудодень большой нравится. Вот и думаю: вдруг ты от злых дел отошел!.. Ну, теперь я спокойный! Нет в деревне другого человека, окромя тебя, что мог бы молодого лося срезать. Большая у меня легкость на сердце от этого.

3

И опять сидел на лавочке Анискин, и опять сбоку лежала лосиная кость, завернутая в газету. Он сидел и смотрел на женщину, что торопливо шла пыльной дорогой. Женщина размахивала руками, спотыкаясь в тяжелой пыли, выбиралась на твердую дорогу, снова бежала. В торопливости она не заметила Анискина, и он громоздко поднялся, пошел навстречу.

— Здорово бывали, тетка Аграфена! — сказал Анискин. — Страсть, как ты быстро бежишь.

Наткнувшись на Анискина, Аграфена вильнула, чтобы обойти, но он преградил дорогу, сложив руки на пузе, стал покручивать пальцами.

— Я так и думал, что Митрий тебя пошлет! — медленно сказал он. — Ты бы не лезла в наше дело, Аграфена, все равно на трудодни жить!

— Пусти, окаянный!

Тяжело, ненавистно смотрели на Анискина выцветающие глаза Аграфены, застарелая вражда жила в них. Анискин заглянул ей в лицо, тоскливо вздохнул:

— Я ведь за тобой в дом пойду, так что не ловчись чугун с загнетки сымать... — Он вдруг просительно улыбнулся. — Давай лучше посидим на лавочке.

Пошатываясь, как пьяная, стягивая за углы платок, Аграфена пошла к лавочке, хрипло дыша, упала на нее и зашлась в длинном кашле; хрипела она так, словно легкие были дырявые, маленькое, высохшее тело по-припадочному билось, ноги ударялись о землю, прямые, как палки.

— Это ведь надо же! — пробормотал Анискин. — Это ведь чего делается!

Он осторожно сел на лавочку, дожидаясь, пока Аграфена прокашляется, опустил голову. С Анискина медленно, как чулок с ноги, сходила милицейская строгость, мягчали большие губы, деревенская простоватость гасила глаза. Старел Анискин: разлеглись возле губ морщин-

ки, обвисли щеки, уныло спустилась на ухо седая прядь волос.

— Ц-ц-ц-ц, — поцыкал он.

Кашель утишивался. Аграфена вздрогнула, как на морозе, повела плечами, выпрямилась; быстро и болезненно вернулся на щеки румянец. Анискин тяжело вздохнул.

— Я долго не проживу, Граня! — сказал он. — При моей толщине люди сгинают рано... Доктор говорит, если я лечение не пройду, — каюк!

— Ты бы хоть сегодня подох, я бы не ойкнула! Я бы богу свечку поставила.

Анискин не шелохнулся, не изменился. В прежней доброте и простоте смотрел на Аграфену, помигивал белесыми ресницами.

— Эх, мать честна! — пробормотал он. — Что про бабу говорить, если лошади боятся...

Прошлое, прошлое бродило перед глазами... Красная косынка была, и над ней прозрачный серп месяца; сизая Обь была в сполохах солнца, тайный, сужающий горло шарк платья был и гулкий, как пустота, выстрел был; глядел в глаза зрачок нагана. Поводя плечами, пела цыганка и взлизывались к сытому небу зыбкие языки костра... Эх, было, все было!

— Гранька, Гранька! — обливаясь тоской, сказал Анискин. — Чего ты за Митрия пошла, если тебя Гришка Кустов в тальниках распял...

— Гад! — сказала Аграфена, быстро глянув на Анискина. — Паразит! — Потом она сжалась, втянула голову в плечи. — Не гляди, не гляди! — шелестящим шепотом попросила Аграфена. — Не гляди, ворог!

Бабьим чутьем проникла она в самую середочку Анискина, в звериную его тоску, в длинные думы о смерти, в бессонные ночи, когда лают собаки и над застывшей рекой висит первобытный, холодный, как лезвие секиры палача, месяц. Поняла Аграфена, как сжимается под звездчатым шрамом на коже большое и усталое сердце Анискина.

— Гад! Гад! Гад! — таким тоном, словно осеняла себя крестным знамением, повторила Аграфена и отодвинулась от Анискина. — Гад! Гад!

Аграфена сидела маленькая и худая, глядела в землю цыганскими, черными глазами. Каменным, серым казалось ее продубленное ветрами лицо, стыл в одиночестве горбоватый по-нездешнему нос, зыбился восточный рисунок бровей. Она не шевелилась, но повалился медленно с плеч и упал на землю платок.

— Почему я за Дмитрия пошла? — переспросила Аграфена. — Почему я за него пошла?..

Подняв голову, она посмотрела в даль дальнюю, за излучину Оби и синие кедрачи; увидела снежные облака, августовскую прозрачную синь, густую и могучую в своей пространственности Обь, прозрачный месяц, который третий день выходил на небо при солнце, блеклый, как подтаявшая льдинка.

— А вот почему пошла я за Митрия! — хрипло сказала она. — Лучше его мужика на свете нет! Да будь Дмитрий еще пуще гад, я за одну ночь с ним жизнь отдам.

Аграфена легко поднялась с лавочки, цыганисто повела плечом, усмехнулась спекшимися от жары губами:

— Ты этого, Анискин, не поймешь, не дадено тебе!

И опять не шелохнулся, не изменился Анискин. Посмотрел туда же, куда глядела Аграфена, — на синюю пропасть и снеговые облака в ней, посмотрел и подумал: «Ну, разве что можно понять в жизни! Ничего не поймешь в ней, в этой жизни!»

— Оно, может, и не дадено, но в ум беру, — негромко сказал он. — Я к тебе, Граня, всегда уважение имел... Однако я за тобой в дóм пойду. Мне закон сполнять надо. За лося я с Митрия на полную катушку спрошу. Ты сердца на меня не держи, Граня, но если все начнут лосей бить, пропала тайга!

Облака плыли на север, к холодному морю; солнце, прильнув к позолотевшим кедрачам, растопыривало лучи, как жук-плавунец растопыривает на воде ноги.

Ясность и приглушенность были вокруг, ясность и чистота...

4

На столе лежала лосиная кость, помаргивала от неравномерной работы движка электрическая лампочка под потолком, глядел со стены портрет Гагарина, вырезанный из «Огонька». Над головой Анискина висел низкий потолок огромной горницы пальцевского дома, и стояла за его спиной пугающая большая русская печь с широкими полатями по краям.

Минут десять уже сидел участковый Анискин на кедровой табуретке, много слов уже сказал Дмитрию Пальцеву, много дум передумал, так как разговор был медленный, мужской, сибирский, при котором два-три слова сказал — помолчи, закуривай. И Анискин молча глядел на Дмитрия, сидящего с ногами на кедровой лавке, косился на кровать, где стонала больная головой Аграфена, и слушал, как на улице поет гармонь, визжат девки, а берегом реки, стрекоча, возвращается с полей трактор. А поверх всего этого из репродуктора выплывал сладкий нечеловеческий голос: «Куда, куда вы удалились?..»

— Вот так, вот так, Митрий, — раздумчиво сказал Анискин. — Теперь вопрос такой: если

что случится с Полканом, это значит, ты его прибил, Митрий! Полкан — пес ничейный, деревенский, и тебя за него весь народ проклянет, если что случится. Тебя ведь, Митрий, в деревне шибко не любят...

Пела гармонь, лился сахарный голос, визжали девки. Пошевельнулся на лавке Дмитрий Пальцев, и увиделось, что у него двигаются большие хрящеватые уши. Он молчал, и не было разницы в голове и теле Дмитрия — жили они в полном согласии. Холодная, лютая и тупая, стекала с его библейского лица на звериное тело ненависть. Туго сжат, как зверь перед прыжком, был Дмитрий Пальцев и только тем хранил себя, что прижимал руками ноги к груди.

— Вот так, Митрий...

Эх, как сладко пел голос! «Куда, куда вы удалились?..» Анискин прислушивался, Дмитрий прислушивался, болея головой, силилась подняться с подушки Аграфена. «Куда, куда, куда вы удалились?..» А хрен их знает, куда они удалились, эти годы, что с ними сталось, когда каждый день в прошлом, как маленький, тонюсенький ломоток. Сверкнет солнечным лучом, повеет дождиком, захолонет грудь разбойной ночью или чиркнет по сердцу острым запахом черемухи. «Куда, куда, куда вы удалились?..»

— Эхма, Митрий! Никого, почитай, из тех не осталось, кто эту деревню зачинал. Кои померли, кои голову на войне сложили, кои в город подались. Ты ведь старше меня на три года, а седого волоса в твоей голове нет, сердце в тебе от холода не сжимается, рука и нога у тебя молодые... На фронт ты не пошел, в войну картошку от пуза трескал, опять же зверя бил и рыбу неводил. Ну, кака у тебя с этого может злоба на жизнь быть?

— Есть у меня злоба на жизнь! — медленно и тихо сказал Дмитрий. — Шесть миллионов, говорят, война взяла, а тебя, Анискин, вернула. Это рази жизнь, когда такие гады, как ты, с фронту возвращаются?

— Это я знаю, что ты бога молил, чтобы меня убило, но ведь, Митрий, бог-то от меня отказался. Как снял я его с божнички в двадцатом году, так он силу надо мной потерял. Тебе бы Гитлера молить.

— И его молил.

— И это тоже я догадывался, Митрий! — усмехнулся Анискин. — Я, может, тридцать лет такого разговору с тобой ждал, да не думал, что он по лосиной кости содеется.

В последний раз пел сладкий голос: «Куда, куда, куда вы удалились?..» И сам голос тоже удалялся, и вырастали те звуки, что несла в дом улица: уже весело гундосила гармошка, девчата визжали с отчаянностью, трактор «Беларусь» доревывал, чтобы смолкнуть перед ночным покоем.

— Я сейчас ровно во сне, — внезапно пожаловался Анискин. — Это ровно чудо, Митрий, но я как в твой дом вхожу, как тебя или Граню вижу, у меня глаза вовнутрь перевертываются. Я вот сейчас на табуретке сижу, на тебя поглядываю, девчата на улице ревут, а мне мерещится, что этого нет... Как ты так, Митрий, жить сумел, что у меня глаза назад перевертываются?

Молчал Пальцев, страдала на кровати Аграфена, текло неспешное вечернее время под чоканье засиженных мухами ходиков.

— У тебя, Анискин, глаза, как у стрекозы, — помолчав, сказал Дмитрий, — во все стороны видят. Ты еще в двадцатом годе приглядел, куда надо дышать... Вот и нагулял жир, как боров на пшенице.

— Это хорошо, Митрий, что ты со мной разговариваешь! Лет пять назад ты на меня только молчал и скалился. Это значит, и тебе время приходит о смерти думать, хотя ты и при молодом теле... Ведь когда пора придет умирать, ты себя спросить должен, что же это я, Митрий Пальцев, жизнь в злобе промыкал? Как это так получилось?

— А все из-за тебя, из-за тебя, Анискин! — вдруг улыбнулся Пальцев. — Только я жизнь не промыкал, а в большой радости прожил. Я каждый вечер, спать ложась, все мечтал о том, что ты погинешь. Сперва твоей смерти от обреза ждал, потом на Гитлера надеялся, потом на Берию, который тебя за то должен был взять, что ты с молодых ногтей в деревне милиционером работаешь, а врагов народа в деревне нет... Последни годы, Анискин, я жду, что ты от жира лопнешь. Вот от этого моя жизнь веселая была и есть!

Эх, как жалко, что истек, истоньшился голос: «Куда, куда, куда вы удалились?..» Сладок он был, как мед в сотах, рвал душу на части тоской, сладкой, как бабий поцелуй во сне. И смеяться и плакать хотелось от этого голоса, жаловаться на что-то и говорить по-родному, как в последний час, как во время прощания перед длинной дорогой.

— Да, тридцать лет я ждал этого разговору, Митрий! Вот и дождался... Мне и помирать легче будет, если ты меня хоть раз поймешь! — сказал Анискин и низко опустил голову. — Вот ты сам посуди, Митрий, на что я в этом деле дивлюсь. Ты сам знаешь, что в нашей деревне с двадцатых годов восемнадцать кулацких семей было... Ты вот на меня, Митрий, глазом не сверкай, а походи умом по тому, что с этими семьями сделалось. Молчать будешь, я тебе помогу...

— Помогай, помогай, Анискин!

— На то и пришел, Митрий, чтобы помочь. Я лосиную кость зубами сгрызу, следа от нее не оставлю, если ты хоть чуток подвинешься... Я в то не верю, что ты весь каменный.

Заскрипела, застонала кровать: больная головой Аграфена перевернулась на спину, подтянув под голову подушку, зелеными из темноты глазами стала смотреть на мужа и Анискина. Таились в ее углу сумрак и ожидание, боль и ненависть, любовь и надежда. Ни слова за весь разговор не проговорила она, но каждое мужичье слово летело в угол, растекаясь в темени.

— Да, Митрий, — продолжал Анискин, — восемнадцать семей было, а теперь... — Он махнул рукой. — Это я за самих кулаков говорю, Митрий, а про ихнее семя разговору быть не может. Сережа у Новиковых в полковники вышел, а Гришка Колесников в университете профессором. За учителей и врачей я уже не говорю, Митрий, у тебя самого дочь — ушной доктор. И вот ты теперь мне скажи, Митрий, как ты в кулачестве остался?

Невесть от чего замолкла на улице гармошка, захлебнулись визгом девчата; и непонятно почему закачалась вдруг на длинном шнуре электрическая лампочка. Тени-тени забродили по комнате; удлинялся, а потом делался коротким нос Дмитрия Пальцева, высветлился на миг темный угол Аграфены, и потух зеленый блеск ее глаз.

— Я тебя, Анискин, не боюсь! — усмехнулся Дмитрий. — Дело не пришьешь.

— Я бы тебе и раньше дело не пришил! — спокойно и тихо ответил Анискин. — Какой может быть враг народу, когда ты один, а народу — мильон. Ну, ты сам посуди, может быть у трактора «Беларусь» комар врагом? Так что ты не слова сказал, Митрий, а глупость, и мне на ней задержку делать — одно расстройство. Ведь ежели кто народу враг, то он самому себе враг. Я это дело так понимаю.

— Анискин, — сказала с кровати Аграфена, — Анискин, ты водку принес! Налей, Анискин, водки!

— Про водку я забыл! — не удивившись, не улыбнувшись, не шевельнувшись даже, ответил Анискин. — Вот водка, Граня!

Он бережно поставил на стол потеплевшую в кармане бутылку, большим и толстым, как панцирь черепахи, ногтем отковырнул пробку, сдвинул бутылку к краю.

— Каждый пусть наливает сколь хочет! — сказал он. — Ты, Грань, выпей, может, голове полегчает! Огурцы есть.

Шатаясь, Аграфена поднялась, звеня стаканами, пошарила в шкафике, редко ступая, подошла к столу — глаза блестели, нос заострился. Водка булькала страстно, заполнив стакан до краев, вспучилась. Аграфена хлопнула стаканом по столу, сказала гортанным голосом:

— За вас, мужики!

Залпом выпила водку, провела тыльной стороной ладони по губам, шатаясь и тревожа половицы, вернулась на кровать. Опять засверкали, загорели лихорадочно в углу зеленые глаза.

— Я опосля выпью! — сказал Анискин. — Я теперь как во сне, и в голове точечки прыгают...

— Я стрельну тебя, Анискин! — шепотом сказал Пальцев. — Тридцать лет не мог, а теперь стрельну!

Сложив руки на пузе, склонив большую голову, Анискин смотрел в пол и дико тосковал. Как проливным дождем, как обской волной заливало его тоской. Хотелось броситься на пол и дико завыть.

— Эх, Митрий, Митрий! — простонал Анискин. — Ведь это что же делается!

Он качался из стороны в сторону, как на молитве... Вдруг уплыла из-под него табуретка, раздались бревенчатые стены, радужно растаяла в глазах электрическая лампочка. Пахнуло сырой прелью оврага, ударила по глазам большая зеленая звезда; ударила, кольнула, и пошел звон по голове, как по пустой церкви перебор колоколов; вздыбилась и села на задние ноги каурая кобыла, забелел под левым соском звездчатый шрам, и в запахе пороха давил на ладонь сгусток крови, что текла в зеленый луч звезды. Но потом пропел сладкий голос: «Куда, куда, куда вы удалились?..»

— Будто ты в меня не стрелял, Митрий! — негромко засмеялся Анискин. — Будто не стрелял... Ведь в Кривом овраге ты меня жоканом понужнул!

— Не я, не я, Анискин! Я с десяти метров вскользь не бью.

По кедровой лавке, на которой сидел Дмитрий Пальцев, стелилась, как пыль, растекалась, как густая патока, ненависть к Анискину, тяжелые доски пропитывались ею, как дерево соком. Каменной грудой мускулов, взведенным курком сидел на лавке Дмитрий Пальцев.

— Ты, Митрий, при Советской власти лучше живешь, чем при отце на Алтае жил, — медленно сказал Анискин. — На Алтае ты от жадности досыта не ел.

— Мы и сейчас досыта не едим! — прошелестело на кровати. — У нас чугунка с супом — на три дня!

Две зеленых кошачьих точки переместились, скрипнула пружина и замерла. Дмитрий Пальцев чуть заметно пошевельнулся, мускулы прокатились по руке, как живые.

— Все врешь ты, Анискин! — снова прошелестело на кровати. — Если бы мой Дмитрий кулаком был, он давно бы тебя, Анискин,

стрельнул. А он всю жизнь подкулачником был... Цыганам верить надо, цыгане человека наскрозь знают... Мой Дмитрий, если бы Гитлер в Сибирь пришел, полицаем бы был...

Опять запела гармошка за окнами, взвизгнули девчата, донесся топот молодых ног. Анискин прислушался, помотал головой, незаметно усмехнулся, чтобы было не так страшно.

— Сколь я эту Граньку бил, нет числа! — задумчиво сказал Дмитрий. — И ногами топтал, и волосы вырывал, и прикладом ружья дубасил...

— Бабы живучие, Митенька! — вздохнуло на кровати. — Я ведь тоже сколько раз ночью возле твоего горлышка ножом водила... Не могла!

Кружилась, плыла в глазах Анискина комната, ширился, набухал клок тьмы в углу, пронзенный зелеными точками. Снова начала уплывать из-под него табуретка, но он прихватил ее руками, сжав, не дал пропасть.

— Ну, брат, насильственно улыбнувшись, сказал Анискин, — ну, брат, теперь я знаю, почему в нашей деревне на выборах всегда получается девяносто девять сотых процента. Это ты, Митрий, кандидата вычеркиваешь. Вот, брат, понимаю теперь!

И еще повеселел Анискин.

— Вот, брат, Митрий, какие мысли мне с тебя приходят. Я так думаю, что к тебе надо ученичишек-школьников водить, чтобы они от страха перед старой жизнью лучше уроки учили... Вот кака смешна мысль мне пришла с тебя, Митрий!

Анискин шутил, покручивал пальцами на пузе, но холод ворочался в сердце, тихонечко брал мохнатыми пальцами страх. Он почувствовал на лице пулевой ветерок, увидел, точно наяву, дымок над стволом пулемета. Сам того не заметив, Анискин поднимался с табуретки. Толст он был чрезмерно, двухъярусное, нависло пузо, но и ростом бог его не обидел — поднявшись, Анискин коснулся головой стрехи неоштукатуренного потолка. Диковинной величины зверем стоял он посередь просторной горницы и опять сам не замечал, что уже родилась и жила на его лице спокойная, тихая мудрость. Такой был сейчас Анискин, словно в своей жизни все сделал, все решил, все собрал вокруг себя, и шел ранним утром берегом Оби.

— Ране ты меня помрешь, Митрий, поздне помрешь, — спокойно сказал Анискин, — это дело не менят. Все равно помрет последний кулак, которого я живым глазом видел. Мне от этого даже под сердцем колготно. Когда ты помрешь, во мне тоже чего-то помрет... Вот таки нас крепки путы связали. Тридцать лет я ждал этого разговора и думать не думал, что он на лосиной кости приключится. А он приключился.

— Дружки! — ясно сказала в темном углу Аграфена. — Водой не разольешь... Где место средь вас бабе-то? Он в тебя хочет стрельнуть, Анискин, а меня ногами топчет. Спасибо вам за все, дружки хорошие!

Погасли два зеленых кошачьих огонька — то ли Аграфена закрыла глаза, то ли повернулась на бок, но темно стало в ее углу. Ни звука там не было, ни шевеленья — тишина.

— Ты, Митрий, в меня никогда не стрельнешь! — шепотом сказал Анискин. — Если тогда не понужнул, то теперь и вовсе не стрельнешь. Я за эти тридцать лет, как меж нами узелок завязался, весь броней оброс, а ты голый остался...

Анискин неспешно повернулся к темному углу, силясь разглядеть живого человека, увидел только гнилую тень от печки и от толстых неоштукатуренных стен.

— Ты меня, Граня, прощай! — чуть громче сказал он. — Ты меня прощай!

— Сдохните оба!

Полная на две трети стояла на столе бутылка водки, сально поблескивали огурцы, ползали по ним три высоких от теней мухи. Анискин повернул ухо к дверям, послушал, подождал, опять послушал.

— Ну вот, — сказал он. — Понятые идут! Мы, Митрий, с твоей печки вареную лосятину вынимать станем... А пока они еще в дом не вошли, я тебе одну штуку скажу...

Стараясь не скрипеть полом, страшась тревожить тишину и муки темного угла, Анискин подошел к Дмитрию, наклонился и сказал хрипло:

— Тебя раньше мильон раз можно было взять, но я такую ласку к Советской власти имею, что на нее веру положил. Нет таких лагерей, Митрий, которы были бы твоей жизни хуже. Нет того страшнее, когда ты одна сота процента, а народ — остальное. Ты меня, Митрий, на тридцать лет раньше помер!

Застучали, загрохотали на крыльце шаги, словно ветерок пронесся по низкой и большой горнице, лампочка под потолком вспыхнула ярче. В дверь открыто и громко постучали, не дождавшись ответа, рванули, и три человека вошли в горницу. Старый старик был один, два помоложе, но нанесло от них на Анискина запахом обской волны и августовским перегаром трав. Он сделал навстречу шаг.

— Ну, пришли наконец! — громко сказал Анискин. — Пришли наконец, дьяволы!

Он понял теперь, где пела ласковая гармошка, — возле клуба, напротив двух старых осокорей. И чьи девки визжали, понял Анискин — доярка Настька Бардина и эта шелапутка Верка Семенова.

РАЗВОД ПО-НАРЫМСКИ

Рассказ

1

То ли в конце сентября, то ли в начале октября — число теперь призабылось — к участковому уполномоченному Анискину на дом пришла Вера Косая, жена шофера Павла Косого. Она была маленькая и рябоватая, глаза у нее, несмотря на фамилию, глядели прямо и остро, а фигурой была полненькая и кругленькая, кожей — белая-белая.

Вера Косая в калитку анискинского дома вошла тихонечко, кашлянула слабо, как туберкулезная, и поднесла ко рту сложенный кулачок — это у нее была такая привычка, что она почти всегда кулачок держала возле рта, опуская его на положенное место только тогда, когда нервничала.

— Здравствуй, Глафира Васильевна! — поздоровалась Вера Косая.

— Здравствуй-ка!

Шел седьмой час вечера. На улице погода была нудная — ни дождь, ни солнце, ни ветер, а так себе, морока на небе и земле. Да и пора в деревне была такая же морочная и неопределенная: уборка прошла, посевная закончилась, дел на поле не осталось, так что в деревне слышались и голоса взрослых, и гармошки, и девчата уже выходили нарядные шляться по длинной улице, что вела берегом Оби.

— Я ведь к самому пришла! — отчего-то шепотом сказала Вера Косая. — Мне ведь самот нужен.

— Спит...

Глафира торопилась стирать, но какая уж тут была стирка, когда Вера Косая не только пришла к самому, а, приблизившись к Глафире и корыту, начала своими острыми и прямыми глазами зыркать и по Глафире, и по корыту, и по двору, и по крыльцу, и даже по тому, что скрывалось за распахнутой дверью сеней. Руку она ни на секундочку не отрывала ото рта, на макушке подрагивал хохолок, а спина волнами изгибалась.

— Черну-то рубашку в сельпе брала? — спросила Вера, каким-то чудом разглядев в мыльной пене шелковую комбинацию, принадлежащую младшей дочери Анискиных. — Я таки комбинации что-то в сельпе не видела... А вот те чулки, они что, фильдекосовы или капроновы? Капроновы-то теперь, Глафирушка, достать можно — по всем полкам у продавщицы Дуськи валяются, — а вот где это люди фильдекосовы берут?.. А это чего у тебя под рукой-то? Никак, шерстяна кофточка?! И где это только люди шерстяны кофточки достают, когда я вот даже в Томск ездила, а достать не могла...

Говоря часто и как испорченный патефон, Вера Косая еще на шаг приблизилась к Глафире и корыту, еще глубже заглянула в него и уж начала было относить кулачок ото рта, как в доме раздалось басовитое покашливание, отчаянный скрип половиц и такой глухой стук, какой только может издавать толстый и высокий человек, ступая по полу голыми пятками.

— Ну, в само время пришла, — сказала Вера. — Вся деревня знат, что товарищ Анискин после обеда беспременно спят... Конечно, Федор Иванович — такие большое начальство, что им можно спать, когда захочешь, но вот при колхозной работе... — Она тяжело вздохнула в кулачок. — Хорошо тем бабам, у которых мужья — большое начальство. И в сельпо сбегает, и белье постират...

Вера Косая через кулачок набрала полную грудь воздуха, чтобы зацокотать еще громче и чаще, но не успела: участковый Анискин во весь рост появился на крыльце. Басовито кашлянув, он прицыкнул, набычив голову, сердитыми после сна глазами осмотрел серое от сплошных туч небо, двор и землю, Веру Косую и Глафиру.

— А?! — выдохнул участковый. — А, говорю!

— Здравствуйте, Федор Иванович! День добрый, день добрый...

— Во-первых, не день добрый, — ответил участковый, — а вечер. Во-вторых, сказать, я об эту пору, гражданочка Косая, чай пью, так что говори, чего тебе надо?

— Ой, да что надо бедной женщине! — ответила Косая. — Что надо бедной женщине, окромя защиты... Уж я такая бедная, такая бедная, что и постирать на себя некогда, вся грязная да ободранная...

Причитая и стеная, сутулясь и жалобно скрещивая руки, Вера Косая несчастными глазами смотрела на участкового, туберкулезно покашливала, и одежонка на ней была действительно ветхая — кофта с продранными локтями, потрепанная юбчонка, сбитые туфли из брезента.

— Ничего мне не надо, ничего не надо, окромя правды-матушки...

Пошарив в складках замызганной кофты, Вера Косая протянула участковому вчетверо сложенную бумажку. Он принял, развернул и три раза покашлял, как делал всегда, когда из специально пришитого к рубахе кармана доставал очки, которые он использовал только в тех случаях, когда читал чужую руку. На уши очки Анискин надевать не стал, а приставил их к глазам, как лорнет.

«Товарищу участковому уполномоченному Анискину. Заявление. Товарищ уполномоченный Анискин, пишет вам колхозница Вера Ивановна Косая, которая жалуется на обиду, а также на причинение телесных повреждений, которые имеются, как ее муж Павел Павлович Косой, по принадлежности колхозный шофер на трехтонке, является аспидом, изменщиком и нарушителем законов советской семьи, которая должна с каждым годом все укрепляться и укрепляться, что наш колхоз вместе со всем народом строит коммунизм. Кроме телесных повреждений, законный муж Павел Павлович Косой наносит оскорбления нецензурными выражениями, которые моральным кодексом жизни запрещаются, а также насчет нажитых вместе вещей — хочет забрать все костюмы и серые пимы, говоря, что зимой он без пимов ходить не может, а когда их привезут в магазин, никому не известно. Прошу оказать защиту и содействие, как это полагается по советским законам, которые самые справедливые. Вера Ивановна Косая».

Подергивая нижней губой, Анискин прочел бумажку во второй раз, сложив ее на четыре дольки, вместе с очками затолкал в потайной карман. Посмотрев на жену, он свел и развел брови — дал знак заваривать чай, — а потом повернулся к Вере Косой, чтобы глядеть на нее молча и тихо. Глаза у него были выпучены, руки он выложил на пузо и вертел пальцами — туда-сюда и сюда-туда.

— Товарищ Анискин, — жалобно сказала Косая, — товарищ Анискин, чего же ты мне не говоришь «так, эдак!»? Вот всем другим людям, которые тебе заявленья подают, ты сразу же говоришь «так, эдак!», а вот мне... Конечно, если к начальству бедна придет женщина, если бедна женщина не при туфлях...

— Уймись, — тихо сказал Анискин. — Уймись и прими кулак от зубов-то... Слова у тебя получаются от этого двусторонние, фальшивые... Ну!

Когда Косая торопливо отняла кулак, участковый тихонько вздохнул, покачал головой и сказал:

— Я потому не говорю «так, эдак!», что мне ваши разводы с Павлом на месяц два раза... вот где сидят! — Он неторопливо показал на свою слоновую шею и еще неторопливее продолжал: — Ты мне, конечно, сейчас какой-нибудь синяк покажешь или опухоль... Ну, вот так и есть! — не удивился участковый, когда Косая стала задирать рукав кофты. — Ну, вот так и есть!

— Так ведь телесные же повреждения! — фальцетом закричала Вера Косая. — Я у фельшера Якова Кирилловича была, и он мне сказал, что этот ушиб — четвертой степени... Четвертой степени, ты понимаешь, Анискин?..

Вера Косая последние слова выкрикнула так громко, что Глафира подняла голову от корыта, курицы, что бродили по двору, бросились врассыпную, а рыжий петух, заорав, запрыгнул на плетень. Весь двор всполошился от крика Веры Косой, но участковый и бровью не повел. Он только укоризненно покачал головой и сказал:

— Вот ты так кричишь, что у меня в ушах... словно комар сидит... От этого я как бы оглох. — Участковый вяло махнул рукой и добавил: — Твое заявление, гражданка Косая, мы, конечно, разберем, а вот сейчас, пока я еще чаю не пил, хочу на тебя страх навесть...

— Как страх навесть? — встрепенувшись, спросила Вера Косая. — За что?

— А за то, — мирно ответил участковый, — что я вот шибко удивляюсь, как это твой мужик Павел головой в Обь не бросается, а на колхозной работе перевыполняет нормы выработки... А во-вторых сказать, за то, чтобы ты на меня не кричала, как кричишь на весь народ в деревне...

Участковый помолчал. Солнце за тучами еще не садилось, но уже занизилось сильно — на дворе было морочно, приглушенно, как поздней осенью, и на толстом лице Анискина от серого, неровного света образовались углубления и выступы.

— Вот я тебя спрошу, гражданка Косая, — вяло сказал участковый, — кто в этом году выработал в колхозе всех меньше трудодней?.. Вот я тебя спрашиваю, а не рыжего петуха...

— У меня радикулит...

— Ага, радикулит! — обрадовался Анискин. — Это, конечно, хорошо, но ты мне скажи, куда этот твой радикулит девался, когда ты позавчерась с полей пятипудовый мешок картохи тащила?.. Ты мне на это ответь, а!

— Вот и врешь, Анискин! — вдруг молодым голосом закричала Вера Косая и отняла кулак ото рта. — Вот и врешь, лупоглазый, нахально врешь, при всем честном народе врешь! Знаем мы вас, знаем!.. Советская власть не из одного тебя, Анискин, состоит, и мы правду найдем... Найдем!

Взмахивая руками, как пароход колесами, Вера Косая от радости подпрыгнула, круглая, как колобок, прокатилась перед участковым на коротких ногах и еще радостнее закричала:

— Врешь, врешь, Анискин, не с полей я картохи несла, а с кладовой, и не украла, а на трудодни, и не пять пудов, а всего шестьдесят пять килограммов... А ты чего усмехаешься, чего усмехаешься, Анискин? Не веришь, жирный, не веришь?!

— Я того усмехаюсь, — ответил Анискин, — что шибко удивлен, как это ты при радикулите

шестьдесят пять килограммов картохи на горбушке несешь? А? Я тебя спрашиваю, а?

Когда Вера Косая от удивления охнула и села на скамейку, участковый, наоборот, встал и подошел к ней вплотную. Он секунды три-четыре вытаращенными по-рачьи глазами смотрел в белое, чистое лицо женщины, затем опустил веки на выпуклые белки и вяло сказал:

— Ты теперь, когда я на тебя страх навел, вали, вали домой... Вали себе домой, а мы во всем разберемся... И как ты стары кофты для жалости надеваешь, и как баб с мужиками ссоришь, и как вообще живешь... Вали, вали себе домой, Косая...

Уже тогда, когда Вера Косая, открыв калитку, выбиралась на темневшую улицу, всей спиной от злости подрагивая, участковый добавил:

— Ты, Косая, поимей в виду, что я на твои слова, про жирного и пузатого, вниманья не обратил... Вали себе домой, вали, Косая!

— Ну, ладно! — шепотом ответила Косая. — Ну, погоди!

Долго, наверное, минуты три, было слышно, как Косая негодующе фыркает и стучит о землю брезентовыми туфлями, как ударяет о плетень кулаком, потом шаги стихли и на анискинском дворе остались только свои звуки: клохтали куры и похрюкивала свинья в загородке, лопалась мыльная пена на голых руках Глафиры, да в доме младшая дочь, Зинаида, напевала: «Когда пурга качается над Диксоном...» И темнело уже заметно. Теперь не только западный край туч, но и середка их, что висела над деревней, была снизу подкрашена коричневым, густым, тяжелым...

— Опять дождя не будет! — сердито сказал Анискин. — Вот бывают же такие тучи, что от них ни дождя, ни солнца... — Он подумал и вдруг добавил просто: — А ведь Павлу-то надо Верку бросать. Погинет он с ней, Павел-то...

2

На следующий день дождь все-таки пошел. Это был не тот дождь, в ожидании которого тянутся к небу зеленые стрелы ржи и пшеницы, не тот дождь, тугими струями которого радостно умывает желтую морду подсолнух, и не тот, что веселит душу громом и синими молниями, — это был самый противный из тех дождей, что в нарымской стороне идут часто, подолгу и зряшно. Утром следующего дня из серых туч просто-напросто полились прерывистые и от этого пестрые струи, забарабанили мелкими капельками по крышам, и через час после начала дождь стал таким ровным и постоянным, словно шел, не прерываясь, испокон веков.

Участковый Анискин, вышедший в седьмом часу из дому, поглубже нахлобучил на голову капюшон зеленого военного плаща, стараясь ставить ноги на островки травы и тверди, меланхолично двинулся в сторону сельского Совета. Капельки монотонно постукивали по обтянутой спине, грязь чавкала под ногами, шагал Анискин осторожно и так же осторожно думал: «В старину разводиться было куда как несподручно... Землю с бабой резать нельзя, на разведенке никто не оженится — спорченная... Да и некогда было разводиться: три дня летом пропустил — зимой оголодаешь...» Вот так тихонечко и осторожно размышляя, участковый добрался до сельсоветского дома и, покачав головой, остановился возле него.

Ну, вот не было в деревне хуже дома, чем сельсоветская контора! Были и у некоторых мужиков плохонькие дома, но в каждом из таких то белели на крыше две-три новых доски, то свежинкой лежал фундамент или гордились новые рамы. У сельсоветского дома были кривые окна и двери, плетня и ворот не имелось, вместо кирпичной трубы торчали три дырявых ведра, вставленные одно в одно; стекла в сельсовете были латанные-перелатанные; возле окон не росло ни деревца, ни кустика, а на том месте, где дому полагался двор, стояла новая дощатая уборная с вечно открытой дверью.

Сердито постукивая каблуками кирзовых сапог сорок пятого размера, Анискин вошел в единственную комнату сельсовета, пожал руку председателю Кузьме Петровичу Коровину, помотал головой секретарю Анне Борисовне Сафоновой и громко сказал:

— Дождь-то этот, а! Не меньше как на неделю, а!

— Серьезный дождь, — ответил Кузьма Коровин и радостно улыбнулся. — Да ты присаживайся, Федор Иванович!

Участковый сел и осмотрел комнату — два черных школьных стола, застеленных белесым от времени кумачом, на котором еще были видны следы белых лозунговых букв; коричневый шкаф без стекол, беленькие занавесочки из тех больничных, что Анна Борисовна выпросила у фельдшера Якова Кирилловича, три табуретки — и все. Пахло в сельсовете мышами, сургучом, как на почте, и тем нежилым запахом пыли и слежавшихся бумаг, которыми пахнут учреждения.

— Так! — сказал участковый. — Эдак!

— Сама пол мою, — после паузы проговорила Анна Борисовна. — Уборщица тетя Поля болеет...

Рамы в сельсовете были одинарные, тонкие, как в южном краю, и поэтому в комнате шум мелкого дождя был слышен так отчетливо, точно под открытым небом. Водосточных труб на крыше, конечно, не имелось, и водяные потоки

лились тонкими простынными полосами на голую землю и под гнилой фундамент дома. Шум дождя в кабинете поэтому стоял ровный, усыпляющий, как шелест деревьев, и Анискин вдруг зевнул в кулак и грустно прицыкнул зубом.

— Федор Иваныч, а Федор Иваныч, деревянную уборную видишь? — весело захохотав, спросил Кузьма Петрович. — Наблюдаешь вот ту уборную на четыре очка?

— Но...

— В ней без мала весь мой бюджет! — сказал председатель сельсовета и опять раскатисто захохотал.

— Кузьма Петрович, — краснея, перебила его Анна Борисовна, — Кузьма Петрович...

Председатель посмотрел на участкового, участковый — на председателя, и под монотонный шум дождя они разом захохотали. Смеялись они просторно и громко, от души и без всякого стеснения, так как участковый Анискин посмеяться любил, а что касается председателя сельсовета Кузьмы Петровича, то во всей деревне не было человека легче и смешливее его. Так в деревне и знали, что если среди дня на улице раздается звонкий, раскатистый хохот, то это смеется председатель сельсовета Кузьма Петрович Коровин.

Секретарь сельсовета Анна Борисовна не смеялась, а только надувала все еще красные щеки. Она была очень серьезной женщиной, без мужа воспитывала троих детей и всегда носила черный жакет из дешевого сукна; на белую полотняную блузку Анна Борисовна повязывала черный не то бантик, не то галстук и в самые жаркие дни носила темно-коричневые чулки и синие спортивные тапочки с резиновой полоской вместо ранта.

— Ведут себя, как дети, — недоуменно сказала Анна Борисовна. — А ведь взрослые люди...

Но участковый и председатель сельсовета сразу остановиться не могли, похохотали еще с полминуточки и уж тогда перестали, хотя мелко подрагивали, отчего под участковым, который в это лето весил около ста пятнадцати килограммов, жалобно пели половицы.

— Ишь как нас прорвало! — пробормотал он, покосясь на Анну Борисовну. — Просто нет удержу... — После этого Анискин трижды покашлял, набычил шею и с придыханием сказал: — А я ведь знаю, Кузьма Петрович, почему ты весело смеешься...

— Почему? — продолжая подрагивать от хохота, спросил председатель. — Ну-ка, скажи, Федор Иванович, ну-ка, скажи!

— Ты потому весело хохочешь, Кузьма Петрович, — ответил участковый, — что жизнь у тебя легкая, лентяйская... Ты, Кузьма Петрович, так же мало работаешь, как спорченная баба Верка Косая... Вот почему!

— Правильно! — хохочущим голосом закричал Кузьма Петрович и вскочил с места, как подброшенный. — Ох, и умный же ты человек, Федор Иванович!

Кузьме Петровичу Коровину было двадцать шесть лет, на его гимнастерке еще не выцвели следы погон, потому по щелястому полу он забегал быстро, в углах поворачивался лихо, стучал железными подковками сапог так громко, что не слышно было, как идет нудный дождь и стекают с крыши ленивые потоки воды.

— Правильно! — еще громче повторил Кузьма Петрович. — Ох, и головастый ты человек, дядя Анискин! Я и есть самый большой лентяй в деревне! Самый что ни на есть большой! — захохотав, вскричал он. — Какую холеру мне делать, когда в колхозе — председатель Иван Иванович, парторг — Сергей Тихонович, на маслозаводе — директор Черкашин, кругом бригадиры да завфермы, агрономы да зоотехники, бухгалтера да счетоводы... — Загнув несколько пальцев на правой руке, Кузьма Петрович вскинул левую, но в суматохе про нее забыл и закричал еще яростнее: — Говорил же я, зачем меня в председатели выбираете, когда я тракторист, а в армии водил самоходку!.. Говорил же я народу, так нет...

Кузьма Петрович побежал по комнате, ослепленный раздражением, налетел на желтый шкаф с пыльными папками, ударился об него локтем и, остановившись, захохотал.

— Стоит тут, холера, — пробормотал он, пиная шкаф сапогом, — ну, каждый раз об него зашибаюсь... Не шкаф, а... ха-ха-ха... черт знает что... Чтоб ему сгинуть!

Потирая ушибленный локоть, Кузьма Петрович вернулся к столу, сел на свою председательскую табуретку и склонил голову так, как это делает всякий человек, когда собирается задать веселый вопрос. На гладком лице председателя цвели наивные глаза, пухлые губы затаенно пошевеливались.

— Дядя Анискин, а дядя Анискин? — спросил он. — Вот ты скажи: как я могу людей в браке регистрировать, если я сам неженатый и почти с каждой девкой, что приходит расписываться, сто раз в клубе танцевал? Ну, как я ей строго могу в глаза глядеть и торжественность на себя напускать? Вот ты мне скажи: как?

Участковый надул щеки, потом покачал головой и открыл рот, чтобы ответить председателю, но не успел: Анна Борисовна, встав, сухо хмыкнула и скрестила руки на груди. Роста она была небольшого, от тапочек казалась и того меньше, но прямая была и строгая, как ревизор из района.

— Вы очень, очень несерьезный человек, Кузьма Петрович, — сказала она. — Я восемь лет преподавала в школе Советскую Конститу-

цию и могу авторитетно сказать, что для серьезного человека сельский Совет открывает необозримое поле деятельности... — Со скрещенными на груди руками Анна Борисовна прошлась по комнате, затем взяла со стола тоненькую реечку и взмахнула ею, как указкой. — Облеченный всеми полномочиями выборности, председатель сельсовета не только проводит большую и плодотворную работу, но и воспитывает... Вы понимаете, Кузьма Петрович, но и воспитыва-а-а-ет...

— Вот и воспитывайте! — опять закричал Кузьма Петрович, срываясь с места. — Садитесь на мое место и воспитывайте, организовывайте, что хотите делайте!

Председатель, забыв об острых углах, побежал к желтому шкафу, но остановился: Анна Борисовна преградила ему дорогу.

— Успокойтесь, Кузьма Петрович, — сказала она. — Вы ведете себя несолидно.

Подняв голову, сжав губы и пикой держа в руках рейку, Анна Борисовна вернулась на место и села на табуретку, накрытую куском вытертого бархата. Руки она положила на стол так, как кладет их на парту дисциплинированный первоклассник.

— Дождь-то, дождь! — прислушавшись, сказал Анискин. — Ну, такой дождь, что ничего нет хуже этого дождя...

Он был прав. Дождь по-прежнему шел мелкий и ленивый, струйки прерывались, словно их на секунду отключали вверху. Обь от этого казалась накрытой комариной сеткой, а большие лопухи под сельсоветскими окнами с дождем переговаривались ворчливо, точно им, лопухам, было лучше на солнце, чем под жидкими струями.

— Я ведь к вам, Анна Борисовна, зашел, — сказал Анискин. — Вы среди женского народа в деревне вроде как судья, так я к вам и зашел. От гражданки Косой имею жалобу...

— От Косой? — переспросила Анна Борисовна. — Ох, уж эта мне Косая... Что она еще там натворила?

— А вот читайте.

Участковый протянул Анне Борисовне жалобу, она начала ее читать, а Кузьма Петрович поднялся.

— Ну, вы тут сидите, читайте, беседуйте, — сказал он, — а я побегу... Я побегу, раз вы читаете и беседуете...

Веселый, посмеивающийся, потирающий руку об руку, председатель сельсовета выскочил из дома, не обращая внимания на дождь, в одной гимнастерке, скачками двинулся по раскисшей улице. Наблюдая за ним в окно, участковый заметил, что Кузьма Петрович вбежал в калитку дома Зыкиных, где жили три сына, три невестки, пятеро незамужних и холостых парней и девчат. У Зыкиных в те дни, когда шел дождь, играли в лото, и участковый озабоченно подумал: «Когда это мы в сельсовет перестанем выбирать кого попадя... Вот ведь беда-то, а!»

— Я прочла жалобу, — сказала Анна Борисовна. — Что же, товарищ Анискин, как секретарь сельского Совета, я помогу вам разобраться в этом сложном вопросе...

— Во-во-во! — закивал участковый. — Очень даже шибко прошу вас помочь в этом сложном вопросе...

3

Через полчаса участковый Анискин и секретарь сельсовета Анна Борисовна входили в дом Павла и Веры. Анна Борисовна первой поднялась на крыльцо, постучала в дверь твердыми, костяными пальцами, не став долго ждать ответа, первой же вошла в дом, Анискин — за ней. Прикрыв дверь, участковый остановился на пороге, позади Анны Борисовны, и вдруг, неслышно хихикнув, прикрыл рот пальцами.

— Добрый день! — поздоровалась Анна Борисовна.

Ей ответили не сразу, так как единственная комната дома Косых разделялась широкой нестроганой доской, которая торцом была прибита к полу и разрезала на две части не только комнату, но и старый обеденный стол. Другим концом доска делила двери, и Анискин с Анной Борисовной, оказывается, находились на разных половинах: участковый — на меньшей части шофера Павла Косого, Анна Борисовна — на большей половине его жены.

— Милости просим, милости просим! — первой пришла в себя Вера Косая. — Проходите, дорогие гостеньки, вот сюдочки...

— Привет! — опуская голову, буркнул Павел Косой. — Здравствуй, дядя Анискин!

Решительно взмахнув рукой, Анна Борисовна сняла плащ и прошла на половину Веры Косой, а участковый, немного подумав, плащ снял тоже, но проходить не стал, он взял табуретку, поставил ее за торцом доски и сел, таким образом, сразу на обе половины. Устроившись, Анискин шумно выдохнул воздух и огляделся. «Ишь ты, ишь ты!» — неопределенно подумал он, так как в комнате образовалась такая картина: Павел сидел, отвернувшись к туманному окну, Вера, поднеся кулачок ко рту, стояла в уголке и умильно глядела на Анну Борисовну, которая с прямой официальной спиной располагалась на крашеном табурете.

— Матушка, Анна Борисовна, заступница наша! — вдруг взвыла Вера Косая. — Есть, значит, правдочка на земле, если вы, голубушка, пришли...

Вера Косая эти слова выкрикнула, прижала полные белые руки к груди, по-старушечьи потрясла подбородком, но с места не сдвинулась, и глаза у нее были такие, словно кричала и радовалась не она, а кто-то другой. Прокричав, она сразу затихла.

— Вера, — строго сказала Анна Борисовна, — это прекрасно, когда женщина дома элегантно одета, но в вашей комнате, то есть на вашей половине, беспорядок...

— Не успела я, голубушка, не успела! — опять охотно взвыла Вера. — Только собралась, только собралась, а вы тут пришли, голубушка наша...

— Так! — звучно сказал Анискин. — Эдак!

Участковый трижды кашлянул, сложил руки на пузе и пошел, пошел туда-сюда вертеть пальцами! По солнцу и против солнца вертел, вразнобой и вместе, большими согнутыми пальцами и прямыми, соединяя их подушечками и разъединяя, по-всякому вертел пальцами участковый, а потом начал прицыкивать зубом и набычивать шею. Весь набор своих привычек и странностей показал участковый Анискин, а потом ласковыми, тихими глазами посмотрел на Веру Косую.

— Чего же это ты, гражданка Косая, — сказал он, — в райком партии писала жалобу на продавщицу Пронину, что она из-под прилавка давала синтетические кофты, а сама в такой кофте обретаешься...

— Не писала я жалобу! — вскриком ответила Косая и всем телом рванулась к Анне Борисовне. — Это поклеп на меня, это продавщица Дуська по злобе... Анна Борисовна, матушка!..

Вера Косая сделала вид, что хочет кинуться к Анне Борисовне на плечо, но участковый нарочно шумно полез в карман, достав лист тетрадной бумаги, громко похрустел им, мало того, он сердито хмыкнул и прикусил нижнюю губу.

— У! — простонала Вера Косая. — Это что делается... — Мгновение она молчала, потом сразу успокоилась и проговорила задумчиво: — Во всех газетах пишут, что нельзя тому жалобу посылать, на кого жалятся... И на райком найдем управу! — вдруг закричала она. — И на райком найдем управу...

— Не надо находить на райком управу, — после длинного молчания мирно сказал участковый. — Это ведь не твоя жалоба в райком, а бумажка с арифметикой...

Непонятно улыбнувшись, участковый развернул тетрадный листок и показал его: весь листок, от начала до конца, был исписан рукой Анискина: цифры громоздились одна на другую, стояли тесно, как в строю, и редко-редко меж ними виделись короткие слова. Показав бумажку и с другой стороны, — чистая! — участковый неторопливо спрятал ее в карман, мельком посмотрев на Павла Косого, сказал с придыханием:

— А?!

Когда на двух частях комнаты, разделенной нестроганой доской, наступила тихая тишина, участковый на свободе начал разглядывать часть Павла Косого. На ней ничегошеньки почти что не было: треть стола, некрашеная табуретка, эмалированная миска, стакан, пустая бутылка из-под молока и фанерный чемодан с открытой крышкой. Из него высовывались старые брюки, две продранные майки и трусы-плавки. А на стенке, на двух больших гвоздях, висели брезентовый плащ, старый полушубок и хлопчатобумажный пиджак.

— Вы, Анна Борисовна, — сухо сказал участковый, — извиняйте меня за то, что я встреваю в разговор... Так что молчу и слушаю, как вы ее уговариваете...

Анна Борисовна поднялась с крашеного табурета, прошлась по части комнаты Веры Косой, приостановилась. Она пока молчала, и Павел Косой наконец оторвался от окошка, взъерошив щетинистые волосы, положил ногу на ногу. Он был ростом много выше Веры, в сидячем положении равнялся с ней, стоящей, и участковый незаметно улыбнулся. «Вот от этого можно со смеху сдуреть, — подумал он. — У толстого мужика баба беспременно тощая, у высокого — малявка, у злого — добрая, у бережливого — растратчица... Вот это как так?»

— Дорогая Вера, — проникновенно сказала Анна Борисовна, — ничто больше так не унижает человека, как ложь. Когда вы солгали товарищу Анискину, что не писали жалобу в райком, вы унизили только себя... Да, да, уважаемая Вера Ивановна! Ваши частые ссоры с Павлом тем и объясняются, что вы потеряли правду взаимоотношений. Павел, — обратилась она к шоферу, — скажите, Павел, из-за чего вы вчера поссорились?

— Два рубля, — смущенно улыбнувшись, ответил Павел, — два рубля... Я вчера в большой рейс шел, так ведь надо пожевать два раза в дороге... А она деньги не дала...

Он сказал просто и тихо, горько и печально, помигал при этом рыжими ресницами и затих так покорно, что после его слов участковый ожидал тишины или негромкого ответа Анны Борисовны, но не дождался: пулеметом простучали каблуки, послышалось тяжелое дыхание, и после мышиного писка Вера Косая начала сразу с крика.

— Притворный растратчик! — завопила она, подбочениваясь и ненавистно поблескивая глазами. — Пожрать ему надо в районе... Ну и жри, никто тебе не мешает, только ты жри, как человек, а не как буржуйский миллионер...

Вера на ходу остановилась, убрав руки ото рта, втянула голову в плечи и так посмотрела на Павла, точно у окна сидел не он, а страховидное чудовище.

— Анна Борисовна, Анна Борисовна! — еще сильнее завопила она. — Он ведь в районе-то... Нет ему на обед кашу брать или там лапшу с молоком, а ведь он берет, Анна Борисовна... Он берет гуляш за тридцать семь копеек...

Электричества на колхозной станции еще не дали, дождь шел по-прежнему мелкий, но частый, и от этого в комнате было серо, и в приглушенном свете Анна Борисовна казалась красивой — затушевались мужские морщины у губ, разровнялась кожа лица, холодноватые глаза, углубившись от теней, потеплели. Она очень походила на тех женщин, которых показывали в кино председателями, агрономами и зоотехниками. «Надо, надо ее в предсельсоветы», — подумал участковый.

— Ах, Вера, — укоризненно сказала Анна Борисовна, — вы поражаете душевной неграмотностью и, простите, скаредностью, которая несвойственна советским людям... Если бы вы больше читали и развивали ум, то вы бы знали легкомысленное, но точное выражение... — Она застенчиво улыбнулась. — Путь к сердцу мужчины, как говорят, лежит через желудок...

— Во-во-во! — обрадовался участковый. — Во!

Неожиданно для всех и даже для самого себя Анискин вдруг поднялся, пошел вдоль доски, делящей комнату, зачем-то потрогал ее толстыми пальцами и покачал головой. Глаза у него сделались любопытными, как у сороки, когда она видит блестящий предмет.

— Ах, ах, ах! — сказал участковый. — Ах, ах, ах, простите, Анна Борисовна, что опять в разговор встреваю, но вы им про то скажите, чтобы не смели разводиться... Вы им про это скажите!

— Разводиться?! — Анна Борисовна вытаращила глаза и посмотрела на Анискина, как на сумасшедшего. Потом она в первый раз при участковом растерялась. — Никто и не помышляет о том, чтобы Павел с Верой развелись! — воскликнула она, опуская руки и ссутуливаясь. — Зачем же тогда мы с вами, товарищ Анискин, зачем общественность?! Нет, развода не будет... Нет и еще раз нет.

Анна Борисовна села на лучшую в доме табуретку, замолчала, гневно глядя на Анискина, который все еще держал руки на доске, и губы у него были сложены так, словно он хотел засвистеть. Потом участковый выпрямился, руки заложил за спину и радостными, отцовскими, полными счастья глазами соединил во взгляде Павла и Веру.

— Ну, спасибо вам, Анна Борисовна! — ликующе сказал Анискин. — Сам бы я по дурости ничего бы не произвел, а вот вы их уговорили не расходиться! Спасибо вам, большое спасибо!.. Павел и Вера! — вдруг громко спросил он. — Значит, жалоба закрытая, значит, не будете разводиться?..

— Нет! — без паузы, криком ответила Вера и убрала кулачок ото рта. — Нет, пущай ответит за ушибы четвертой степени... Пущай ответит перед всем народом...

В комнате стало так тихо, как зимой на кладбище, и в этой тишине участковый хлебосольно развел руками перед носом Анны Борисовны. Она ничего не ответила, и тогда Анискин повернул ухо к дверям, так как на крыльце постукивало и шуршало, разговаривало и сердилось — какой-то очень злой человек сбивал с ног грязь и ругался. Так вести себя на чужом крыльце мог только один человек в деревне. Участковый широко ухмыльнулся, еще раз развел руками и весело проговорил:

— Это, никак, продавщица Дуська меня ищет...

Так и оказалось. В дверь не постучали, а сердито грохнули кулаками, дверь не отворилась, а с грохотом распахнулась, и, шурша плащом «болонья», дыша дождем и одеколоном «Ландыш», в комнату ворвалась продавщица магазина Дуська Пронина. Влетев в комнату, она хотела поздороваться, но, увидев Веру Косую, остолбенела. Сначала Дуська вполголоса пробормотала: «Подумаешь, красавица!» — потом презрительно фыркнула и рассмеялась нахальным смешком.

— Ах ты холера, Верка! — сказала Дуська. — Говорила, что синтетическу кофту берешь для подруги, а оказывается, сама ее носишь...

Дуська отступила на шаг, положила руки на бедра, отчего они локтями поднялись чуть ли не до самых плеч, побыла в неподвижности секунду и вдруг рванулась к Вере. Она схватила пальцами ее синюю плиссированную юбку, потянула на себя и закричала густым голосом:

— Так вот где плиссированная юбка, которую ты брала будто бы для учительницы Нины Яковлевны, когда она была в отпуску... А бусы-то, бусы! — Дуська со страхом в глазах показала на янтарные бусы. — А бусы-то, бусы!.. Ты ведь говорила, что их для кого берешь... — Продавщица резко повернулась к участковому и шепотом закончила: — Она ведь сказала, что для твоей жены, Анискин, берет бусы, как Глафира находится в тяжести и сама в магазин прийти не может...

Дуська от возмущения широко открыла рот, хотела еще что-то выкрикнуть, но не смогла: такая она была характерная и горячая, что слова у нее в горле стали колом.

— Ишь! — произнесла Дуська то, что было полегче. — Ишь!

— Это еще не все, Евдокея, — непонятно улыбнувшись, сказал участковый. — Она, Косая-то, ведь на тебя жалобу писала в райком, что торгуешь из-под прилавка... Я два месяца узнать не мог, кто это на тебя напраслину возводит, а теперь знаю...

Дуська беззвучно осела на табуретку, на которой раньше сидел участковый. Лишний воздух она выдохнула, и вместе с ним из груди вырвался тяжелый вздох. Серые и ясные глаза женщины потускнели, под табуреткой боты перестали блестеть — такой сделалась продавщица Дуська, какой ее пять минут назад представить было нельзя.

— Эх, Верка, Верка! — сказала Дуська. — Меня ведь за твое письмо чуть с работы не скинули... Эх, Верка, Верка!.. По этой жалобе мне ревизию делали, и я те сто сорок рублей, которые ты мне должна, внесла... Я кофту и бежевое шерстяное платье к пароходу вынесла и продала. Бежевое-то платье у меня самое любимое было...

— Теперь ты ответь, Евдокея, — после паузы сказал участковый, — как сто сорок рублей образовались...

— А так, что Верка стонет и плачет, — ответила Дуська. — И синтетическу кофту, и вот эти туфли, что на ней, она выплакала для детдомовских подруг... Говорит, денег нет, дай, говорит, Дуська, в долг, как мы в детдоме выросли сиротами, нас пожалеть надо... — Она горько вздохнула. — Как я могла обман понять, если Верка в клуб ходит хуже всех в деревне одетая...

Опустив голову, страдальчески морщился Павел Косой, неприязненно улыбалась Анна Борисовна, держала кулачок у рта Вера Косая; шел за окнами такой нудный и холодный дождь, какой бывает только осенью, когда пустеют скошенные поля, скрипят на шестах скворечники, по Оби и озерам плывут желтые, вялые от влаги листья и на черных от воды проводах сидят посиневшие вороны. Морочно, холодно, неуютно.

— Ты свободная, Евдокея, — негромко сказал участковый и во второй раз прислушался к звукам, что опять раздавались на крыльце: приглушенный шарк, негромкий стук, робкое покашливание. — Ты свободная, Евдокея...

Печальная Дуська подошла к двери, медленно открыла ее и приостановилась, — за порогом стояла женщина в мокром платке. Дуська вполголоса поздоровалась с ней, обошла женщину и исчезла, так и не сказав ни слова.

Женщина сделала шаг вперед, но что-то держало ее у порога дома, и она не решалась переступить квадратный брус.

— Ты звал, Федор, так я пришла, — стоя в сенях, приглушенно сказала женщина. — Вот я пришла, если ты звал, кум...

— Семеновна! — возмущенно крикнула Анна Борисовна и притопнула ногой по полу. — Семеновна, почему вы стоите в дверях? Немедленно проходите, Семеновна...

Женщина прошла в дом, несколькими робкими шагами миновала порог и домотканый пыльный половичок, поискав глазами табуретку, тоненько вздохнула.

— Садитесь, Семеновна! — дрожащим от возмущения голосом вскрикнула Анна Борисовна. — Садитесь сюда, вы в доме приемной дочери...

— Вот на стульчик, вот на стульчик, мамаша... — вдруг всполошилась Вера Косая.

Она подала Семеновне старый венский стул, старательно смахнула с сиденья пыль и отошла в сторону, чтобы притулиться к стенке и поднести кулачок ко рту. Глаза у Веры блестели, нос вспотел.

— Вот села, вот сижу... — проговорила Семеновна и большими, вдумчивыми глазами посмотрела на Анну Борисовну. — Это ты ладно говоришь, правильно говоришь... Троих, однолеток-то, было в детдоме — Вера, Надежда, Любовь... Их на какой-то станции подобрали.

Семеновна перевела дыхание; распустив шаль на груди, выпростала руки, положила их на колени и опять тоненько вздохнула, так как на улице раздавались приглушенные двойными рамами звуки: мычали коровы, звенели боталы, пощелкивал бич пастуха Сидора, и звенел голос подпаска Кольки.

— Коров гонят, — сказала Семеновна, но с места не стронулась, а только опустила веки и продолжала: — От Валерия уже с фронта сообщений не было, пропал без вести, а я почтальоном работала, хоть и восемь классов кончила. Надежды, что Валерий жив, тоже мало было, а любовь... что любовь была, когда месяц... Глупа была, берегла себя, вот и... Вот и взяла из детдома Веру...

Звуки стада затихали. Из-за дождя Сидор и Колька коров гнали быстро, торопясь в тепло и сушь, кричали на коров зло и раздраженно, бич в отдалении хлопал почти беспрерывно. Прислушиваясь, Семеновна подняла голову, опять спрятала руки под мокрой шалью.

— Манька-то привычная, — сказала она. — Сама в стайку дойдет...

— Я ничего не понимаю, Семеновна, — шепотом сказала Анна Борисовна. — Я ничего, ничего не понимаю...

Секретарь сельсовета медленно поднялась, помахивая ресницами, словно под них попала соринка, пошла к Семеновне, но Павел Косой опередил ее, с размаху ударил ладонью по столу, вскочив, притопнул тяжелыми сапогами.

— Ты говори правду, мамаша, чего ты ее бережешь, ты правду говори, мамаша! — вскрикнул он.

В горячке Павел бросился к Семеновне, забывшись, уронил доску, что перегораживала комнату, собрался кричать еще, но участковый вдруг властно остановил его. Преградив одной рукой путь Павлу, Анискин второй рукой повел в сторону Семеновны, улыбнулся и сказал:

— Ты, кума, все же к Маньке иди... Мало что привычная! На улице такая дождина, что и корова может перепутаться...

Когда Семеновна встала и ушла, когда ее все облегчавшиеся шаги простучали по сенкам и затихли на улице, когда в доме опять сделалось тихо, участковый махнул рукой.

— А теперь, Павла, — сказал он, — ты для Анны Борисовны скажи правду.

Но произошло странное: Павел снова несильно рванулся к Анне Борисовне, решительно мотнул головой, но потом внезапно попятился и сел на прежнее место. Как и раньше, он жалобно скривил лицо и помигал рыжими ресницами. Затем Павел, не выдержав взглядов участкового и Анны Борисовны, отвернулся к окну.

— Молодца! — сказал участковый. — Молодца, Павла... Так что ты себе молчи, я и сам скажу правду Анне Борисовне! — Он подошел к ней вплотную и наклонился. — Вера сказала про Семеновну, будто она ее потому из детдома брала, что за огород боялась... — Участковый непонятно улыбнулся. — Семеновна, ее Валентиной звать, с погибшим на фронте Валерием всего за месяц до войны ознакомилась и ничего такого с ним не имела, даже не расписались они. Вот гражданка Косая и говорит, что ее Валентина для того взяла, чтобы огород больше иметь...

Участковый сделал большую паузу и почти шепотом сказал:

— Ты не смотри, Анна Борисовна, что Валентина на вид такая старая, ей всего сорок девять...

— Ц-ц-ц! — по-анискински поцыкала Анна Борисовна и так повела плечами, точно в комнате был большой мороз. — Ц-ц-ц!

— Вот оно и есть: «Ц-ц-ц!» — сухо сказал Анискин и погрозил пальцем притихшей Вере. — Вот ты теперь, гражданка Косая, стой на своем месте, молчи, как проклятая, и слушай, что буду говорить... Я сейчас буду длинное слово говорить.

4

Прежде чем произнести длинную речь, участковый Анискин окончательно перешагнул через доску на половину Павла, сел на его место и положил обе руки на стол, в одной из которых, чудом появившись, была та бумажка, что исписана цифрами. Посидев секунду в неподвижности, отдышавшись от резких движений, он развернул бумажку, по-рачьи выкатив глаза, проговорил:

— Вы пока все тут ругались да ссорились, я все за гражданкой Косой доглядывал. Я насквозь и глубже в нее смотрел, так что теперь всеохватно знаю — никакой любви у нее к Павлу нету... — Он презрительно усмехнулся. — Какая это может быть любовь, если она на Павла так глядит, как на врага лютого... Это я для вас, Анна Борисовна, болтаю, — словоохотливо объяснил участковый. — Вдруг вы на любовь нажимать начнете...

— Ах! — ответила Анна Борисовна. — Я уж ничего не говорю...

— Вот и правильно! — жестко усмехнулся Анискин. — Чего гражданку Косую жалеть, когда мне фельдшер Яков Кириллович растолковал, что ушиб четвертой степени есть самый легкий ушиб! А во-вторых сказать, как так получилось, что у нее на руке синяк?.. Ну-к, Павла, отвечай! Не молчи, не береги ее от стыда, раз она такая злыдень! — прикрикнул участковый.

— Она хотела в меня кринку... Рукой об стол...

— Ух! — ненавистно сказал Анискин. — Ух! — Задохнувшись от гнева, участковый губы выпятил так, точно целовался с далекими родственниками, оглушительно прокашлялся и медленными движениями развернул бумагу с цифрами. — Ну вот, я эти цифры-мыфры в конторе взял, так что они правильные...

Участковый подумал-подумал и все-таки полез в специальный карман на рубахе за очками. Свой почерк он, конечно, разбирал и без них, но цифры и числа стояли на бумаге очень густо. Вот он и достал очки, приставил их к кончику носа и весь переменился — со своим пухлым лицом и оттопыренными недовольно губами походил теперь участковый на директора маслозавода Черкашина, который очки носил постоянно, был так же толст, как Анискин, и всей деревне надоел тем, что без бумажки с людьми не разговаривал.

— Ну, так! — скудным голосом произнес участковый. — Поженились вы, Павла, в шестьдесятом году... За этот год ты, Павла, заработал, переводя все на деньги, тысячу восемьсот тридцать пять рублей шесть копеек... — Участковый поднял голову от бумажки. — Это она еще тебе житье давала, Павла... Дальше! В одна тысяча шестьдесят втором году ты, Павла, заработал меньше — тысячу семьсот сорок рублей. Это она тебя уже мучить начала! — Анискин громко фыркнул. — Ну, а за шестьдесят вторым годом пошла уж совсем неоптимистич-

ная картина, как говорит колхозный председатель... Ты, Павла, в прошлом году заработал всего тысячу триста рублей, на пятьсот тридцать пять меньше, чем в шестьдесятом... Это что же получается? — спросил участковый и придыхнул: — А?! Это как так получается, что ты, шофер при трехтонке, как она сама пишет в жалобе, в месяц зарабатываешь меньше, чем доярка или, еще хуже сказать, неграмотный колхозник... Это как так получается, а?

Участковый слоном повернулся к Вере и оглушительно постучал по столу костяшками пальцев.

— Вот как ты ответишь, Косая, почему Павла зарабатывает с каждым годом меньше, а другой народ после постановления партии и правительства каждый год все больше и больше... А? Я тебя спрашиваю, Косая, а?

Вера не отвечала, и участковый тоже помолчал.

— Вот как тихо стало, — после паузы с улыбкой заметил он. — В этом доме сроду, наверное, так тихо не бывало — крик да руготня...

Помолчав еще немного, участковый рачьими глазами покосился на Анну Борисовну.

— Нас, милиционеров, как учат в райотделе? — сказал он. — А вот так: «Помоги сохранить семью!» Вот я два года и старался сохранить семью. Ну чего я только не делал, Анна Борисовна, чтобы Косую утихомирить... И уговаривал ее, и кричал, и пугал, и упрашивал, чтобы мальчишонку родила... Все напрасно. Ведь так, гражданка Казанская? — вдруг свирепо спросил он Веру. — Так я говорю, гражданка Казанская?

Вера по-прежнему не отвечала. Сжав губы, она смотрела в окно.

— Ее фамилия в девках была Казанская, — пояснил Анискин, — как их всех троих, то есть Веру, Надежду и Любовь, нашли на Казанском вокзале... Надежда теперь врачом в Томске, Люба замужем за Венькой Моховым и работает ударно дояркой... Да, да, работает ударно дояркой... Д-а-а!

Неожиданно для всех участковый быстро встал, застегнул три пуговицы на вороте распахнутой рубахи и валко пошел к дверям с таким видом, точно хотел безостановочно выйти в сени. Однако по привычке уходить из дома не сразу Анискин у дверей остановился и через спину сказал:

— Я их, Анна Борисовна, больше уговаривать не могу... Вы их теперь уговаривайте, я вас на то и пригласил.

После этих слов участковый улыбнулся и стал спиной слушать, как Анна Борисовна прошлась по комнате, как стукотнул сапогами Павел и что-то шепотом проговорила Вера. Терпеливый, как кошка возле мышиной норы, участковый дождался все-таки, что Анна Борисовна тихо ответила:

— Я не знаю, Федор Иванович... Понимаете ли...

Она не договорила: загремели тяжелые сапоги, раздался шлепоток ладони о стол, все в доме затряслось и заскрипело. Потом раздался треск дерева, удар фанерной крышки и не тяжелые, а облегченные шаги. Это Павел Косой схватил с пола фанерный чемодан, сорвал с гвоздей плащ, полушубок и простенький пиджак.

— Дядя Анискин, — загустевшим басом сказал он, — дядя Анискин, я ухожу... Восемь раз не мог, а теперь ухожу... Я хоть на улице ночевать буду, а ухожу...

Они теперь стояли так: Анискин стопятнадцатикилограммовым телом закрывал широкую дверь, Павел с чемоданом в руках и вещами под мышкой другой руки стоял перед ним, за Павлом располагалась побледневшая от волнения Анна Борисовна, а в углу своей половины молчала Косая, медленно относящая ото рта кулак. Круглое тело женщины было до предела напряжено, ноги она держала расставленными, как бы собираясь сделать шаг вперед.

— Вона что, — задумчиво сказала Вера. — Сам бы он не ушел... А? — Она прошептала: — Ну, Анискин, Советская власть меня воспитала, Советская власть и на тебя управу найдет, что от меня мужа уводишь... Я вот сяду на пароход «Пролетарий» да в обком партии: заступитесь за детдомовскую сироту! — Вера мечтательно улыбнулась. — Я, Анискин, тебя партийного билета лишу...

— Ах-ах-ах! — удивился участковый и стал торопливо выбираться из дома. — Ах-ах-ах!

Ахая и шутливо хлопая себя руками по бокам, участковый выбрался на улицу, надев на ходу зеленый армейский плащ, зашагал так, что Павел и Анна Борисовна сразу не могли догнать его. Это произошло возле дома деда Крылова. Здесь Анискин остановился совсем, неторопливо порылся под широким плащом и вынул из кармана большой амбарный ключ.

— Зачем ночевать где попадя! — сухо сказал участковый. — Ты, Павла, вали в мой кабинет... Там, правда, тараканов страсть сколь, но я большую надежду держу на то, что они, Павла, от шоферского духа окочурятся!.. — Он позволил себе улыбнуться. — От тебя ведь, Павла, бензином воняет, как от керосиновой лавки... Так что ты ключ-то возьми, хоть кабинет и не запирается, да вали, вали себе, Павла, спать! Вали, вали, нам с Анной Борисовной еще словечком перемолвиться надо...

Когда Павел, ссутулившись и прикрывая рукой от дождя плащ, шубу и пиджак, скрылся в серости и мороке, участковый и Анна Борисовна пошли тоже. Секретарь сельсовета двигалась по грязи осторожно, обходя лужи и при-

держиваясь руками за стойки плетней. Дождевые капли по ее тонкому плащу били звонко, весело, как маленькие шарики града.

— Дождишко-то, дождишко! — пробормотал участковый.

Оби за серой пеленой видно не было; березы на кладбище просматривались еле-еле, а кедрачи за крайними домами деревни казались густо-синими; грязь под ногами чавкала жадно и тоскливо; мычали коровы; в воздухе плавали запахи горького дыма, парного молока и бензина, который остался от машины, тяжело прошедшей к сельповскому магазину.

— Ты очень хорошая женщина, Анна Борисовна, — замедляя шаги, сказал участковый, — но тебе надо быть к народу добрее... Ну, как ты могла пожелать, чтобы Павла жил с Верой? Он же с ней окончательно сгинет... — Он помолчал. — Тебе и то надо учесть, Анна Борисовна, что ты вот в деревне третий год живешь, а про то не знала, что Валентину Семеновну Верка из своего дома выгнала, хотя дом не ее, а колхозный, выданный ей как детдомовской сироте...

Тут участковый остановился совсем, сбросил с головы капюшон, и мелкие капли мягко зацокали по его седым, но густым волосам. Огромный, почти двухметрового роста, в зеленом армейском плаще походил сейчас Анискин из отдаления на приземистую ель. Морочно было, серо на улице, но все равно Анна Борисовна увидела, как участковый улыбнулся крепкими, белыми зубами.

— Ты, Анна Борисовна, — сказал он, — как вступишь в партию да как тебя выберут председателем сельсовета, лучше к народу приглядывайся... Нам, которые с людьми работают, без этого нельзя, Анна Борисовна...

Шел дождь, клубились низкие тучи, непролазная грязь лежала на глинистых улицах деревни, но в шелесте дождя все-таки слышалось, как на Оби пыхтел невидимый буксир — волок баржи до Томи, до областного города Томска...

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Повесть

1

Самым культурным человеком в деревне считал себя заведующий клубом Геннадий Николаевич Паздников. В Кедровку он приехал всего два года назад, но уже в первый вечер показал себя: пришел в клуб при шляпе и красных штиблетах, говорил медленно, как контуженный, щурился и прищелкивал каблуками. Играл Геннадий Николаевич на аккордеоне и, как только начались танцы, объявил: «Полонез Шопена!» Здороваясь с молодыми женщинами, он так низко наклонял голову, что прямые волосы рассыпались...

Однако два года в деревне Геннадий Николаевич прожил мирно, к нему скоро привыкли и полюбили за то, что на аккордеоне он играл мастерски и никогда не отказывался прийти на свадьбу, именины или проводы. Участковый уполномоченный Анискин к Геннадию Николаевичу относился хорошо, вежливость и культурность заведующего признавал, и потому в тот ясный сентябрьский день, когда Геннадий Николаевич вдруг пожаловал к участковому домой, Анискин на квартире его принимать не стал.

— Пройдемте в кабинету, — коротко сказал он и позвенел ключами. — Человек вы татой, что по мелочи не придете, так что придется протокола́ писать.

В комнатенке, именуемой кабинетом, Анискин открыл оба маленьких окна, морщась, достал несколько листков бумаги, чернильницу-непроливашку и ученическую ручку с пером «рондо». Выложив все это на стол, участковый сказал:

— За тараканов извиняйте!

— Что вы! — ответил заведующий. — Представьте себе, Федор Иванович, я на тараканов никакого внимания не обратил.

Говорил заведующий, как всегда, медленно, щурился, словно на солнце, и показывал короткие носки с резинками, но на его лице участковый приметил беспокойство и робость. Анискин вдруг сложил руки на пузе и покрутил пальцами.

— Особенно интересно вот что, Геннадий Николаевич, за счет чего тараканы живут? Вы человек образованный, городской, так что сами понимаете — никакого пропитания для тараканов в кабинете нету...

— Нету, нету!

— Может, они замазку в стеклах жрут? — еще задумчивее промолвил участковый. — Так сколь ее, замазки...

После этих слов Анискин терпеливо замолчал, таращил по-рачьи глаза, покручивал пальцами, но дышал просторно, так как на улице был сентябрь и возле окон по-жестяному пошевеливала листочками старая черемуха, а вдали

отливала синевой неторопливая по-осеннему Обь.

— А! — выдохнул Анискин.

— Искусство, Федор Иванович, — сказал заведующий, — принадлежит народу. Конечно, кино — самое массовое из искусств, но, Федор Иванович, музыка призвана воспитывать человека не только эстетически, но, если можно так выразиться, и политически. Нам песня строить и жить помогает, Федор Иванович...

— Ну!

— Похитили аккордеон! — сказал Геннадий Николаевич и пятнами покраснел. — В двадцать три пятнадцать я его протер мягкой фланелью, посыпанной тальком, в двадцать три двадцать пять вложил в специальный футляр и положил в клубный шкаф, а в... — заведующий поглядел на часы, — ...а в семь сорок, когда я утром пришел в клуб, чтобы во всеоружии встретить воскресник по сбору колосков, аккордеона... его не было, Федор Иванович! — воскликнул Геннадий Николаевич и потряс руками. — Похитили!

Заведующий уронил руки на колени, голову — на плечо, и Анискин удивленно крякнул: в глазах Геннадия Николаевича показались крупные женские слезы. Не стесняясь участкового, он вытер их маленьким платком, всхлипнул и сказал:

— Два регистра, два регистра!

Что такое регистры, участковый не знал, но в голосе заведующего звучало такое отчаяние, что Анискин поднялся, подошел к Геннадию Николаевичу и наклонился над ним.

— Сколь стоит? — тихо спросил он.

— Ах, Федор Иванович, когда речь идет о святом искусстве...

— Сколь стоит?

— Триста пятьдесят платил с рук...

— Триста пятьдесят?

Анискин вернулся на место, хрустя табуреткой, сел и решительно придвинул к себе чернильницу. Однако сразу писать он не стал, а только умакнул перо. Толстый, громоздкий и лупоглазый, Анискин смотрел на заведующего строго, пошевеливал нижней губой и отдувался тяжело, как паровоз после длинной пробежки.

— Вам, Геннадий Николаевич, конечно, наши законы не понять, — сурово сказал он, — но кража произведена вровень с хорошей коровой и чуток пониже мотоцикла... Если у меня память не врет, то такого крупного дела на деревне не было с одна тысяча девятьсот сорок восьмого года. Это когда Валька Сучков у инвалидного фронтовика увел два отреза немецкой шерсти...

— Ах, Федор Иванович...

— Прошу молчать, руками не мельтешить, отвечать на вопросы!

2

Быстро — за полчаса — записав показания заведующего, Анискин вчетверо перегнул тетрадные листки, аккуратно запрятал их в карман диковинно широких в поясе штанов, посапывая, поднялся и с таким видом, точно он это делал в последний раз, подошел к окну. Долго, наверное, минуту, он смотрел на старую черемуху и Обь, затем длинно прицыкнул зубом и, не оборачиваясь к заведующему, сказал:

— Еще раз извиняйте, но у кого находится ваш аккордеон, с ходу вырешить не могу... На кого я сразу подумал, вчерась на Линевски перекаты рыбалить уехал, а на кого я подумал потом, пятый год этим делом не грешит, так что, может, и напраслина. Одним словом, Геннадий Николаевич, дело серьезное, и надо по всем статьям следствие провести... Айда в клуб!

Хотя Анискин был тяжел на ноги и двигал ими редко, до клуба они добрались в десять минут, и заведующий было полез за ключами, но Анискин его остановил и даже не позволил подняться на крыльцо. Пробормотав что-то вроде: «Где стоите, там и стойте!» — участковый осторожно приблизился к крыльцу, перегнувшись через пузо, наклонился и долго-долго рассматривал толстые кедровые доски. Что он углядел, заведующий не понял, но Анискин недовольно хмыкнул и снова пробормотал:

— Надо окна осмотреть.

Клуб в Кедровке был не то чтобы очень старый, но и не новый, длиной он напоминал пожарное депо, так как сбоку имелись две больших гаражных двери, а спереди клуб походил на сельповский магазин — железная штуковина наискосок двери, коротенькая вывеска «Клуб» и два окна по обе стороны крыльца, огороженного перилами. Никаких других окон, кроме этих, в клубе не было.

— Так! Эдак!

Осторожно, на цыпочках, Анискин приблизился к окнам с частым переплетом, сопя, стал надавливать пальцами на стекла. Двенадцать штук было в каждом окне, и он на все надавил, но никакой слабины не обнаружил и недоверчиво покачал головой. Потом Анискин секунду постоял в неподвижности и вдруг рысью побежал к той стороне клуба, куда выходили две гаражных двери. Заведующий засеменил за ним, но участковый его остановил досадливым движением руки.

— Не надо бегать, не надо!

Оставшись в одиночестве, участковый не спеша подошел к первым дверям, потянул — крепко; так же не спеша приблизился к другим, потянул — двери медленно, без скрипа открылись, и Анискин, который за вторую дверь схватился так же сильно, как и за первую, стал валиться на спину.

— Федор Иванович!

— Стой, где стоишь! — удержавшись на ногах, сурово ответил участковый и вернул двери на место. — Так, так, так!

Участковый и заведующий замерли... Шел девятый час утра, желтизна лежала на деревне, воздух был так тих и прозрачен, как только бывает на Оби в сентябре, когда под ногами шуршат и лопаются листья, вода просвечивает до дна и когда в душу просится чувство, похожее на тихий лёт листьев со старых осокорей.

— Дверь-то открывается, — негромко сказал Анискин. — Дверь-то не закрючена...

Стоя в тихости, ни он, ни заведующий не заметили, что их окружали ребятишки — подходили осторожно и робко, выползали из-за кустов и плетней, выныривали из тайных лазов. Ребятишкам было от пяти лет до восьми — ребята повзрослее или собирали колоски, или работали на жатве, — но и эти шли густо, и когда Анискин пришел в себя, то его плотно окружали тихие разноцветные головы. А всех ближе, застенчиво ковыряя землю большим пальцем ноги, стоял младший сын Анискина, Витька. Рот у него был открыт, глаза по-отцовски вытаращены.

— А вот я вас! — страшным шепотом сказал Анискин. — Как всех штрафану!

Ребята попятились, но участковый о них тут же забыл.

Подмигнув сам себе, он, тщательно разглядывая землю, пошел к дверям. Возле них Анискин остановился, но долго стоять не стал — пробующе открыл дверь и проник в нее, напоследок сказав заведующему:

— Через минуточку входите, Геннадий Николаевич.

Когда заведующий вошел в темный клуб, он участкового не увидел, а только услышал сопение и тяжелый скрип досок; надо было полагать, что Анискин на ощупь пробирался к той комнате, где занималась колхозная самодеятельность, хранились музыкальные инструменты и, дожидаясь начала киносеанса, обычно сидели местные власти: председатель колхоза, председатель сельсовета и сам участковый Анискин.

Так оно и оказалось: Анискин стоял в комнате и с милицейским прищуром смотрел на широко раскрытый шкаф, в глубине которого лежали кумачовая материя и куча банок с зубным порошком для лозунгов и плакатов. Пахло в комнатешке пылью, огурцами и жирным гримом.

— Двери клуба надо запирать! — непонятно улыбнувшись, сказал участковый. — Вчера, Геннадий Николаевич, конечно, была суббота, конечно, после работы гражданину выпить не возбраняется, но двери надо закрючивать, Геннадий Николаевич... — После этого Анискин вынул из-за спины огрызок огурца и положил его на пыльный трехногий стол. — Так когда, вы говорите, заперли шкаф-то?

— Примерно в двадцать три двадцать пять...

— Вот видите, Геннадий Николаевич, теперь говорите «примерно», а раньше... Но дело не в этом, Геннадий Николаевич, дело в том, что аккордеона-то нету. А!

Аккордеона в шкафу действительно не было: банки — они тут, кумачовая материя — вот она, сломанная балалайка, — вот лежит, а аккордеона... Его не было, аккордеона, и притихший заведующий уж было хотел, ослабнув от переживаний, опуститься на промятый цветастый диван, но участковый не позволил.

— Не будем пока садиться, Геннадий Николаевич, не будем.

Слова «не будем», все уменьшая голос, Анискин повторил раз пять подряд, произнеся их на разный лад и тон, а сам глазами шарил по комнатушке: окна осмотрел и доски пола, наличники и стол, шкаф и темные углы, потолок и дверь за своей спиной. Сам участковый стоял на месте, но шеей ворочал активно, старательно и вскоре облегченно вздохнул:

— Ну, так, Геннадий Николаевич...

Анискин сделал шаг к столу, взял с него ветку увядшей рябины и поднес к носу. Ничем другим, кроме рябины, ветка пахнуть не могла, но участковый долго нюхал ее, подносил то к одной норке, то к другой и наконец расплылся в галантной дьявольской улыбке.

— Ах, ах, Геннадий Николаевич! — голосом заведующего клубом сказал он. — Извините меня в третий раз, но эта ветка ничего другого означить не может, что вы опять возвернулись к продавщице Дуське...

— Федор Иванович, дорогой...

— Ах, Геннадий Николаевич, ах, дорогой! — тоже вскричал участковый и прижал к груди руку с веткой рябины. — Я же ничего вам плохого не говорю, кого хотите, того и любите, но ветка ничего другого означать не может, кроме Дуськи... Во-первых, это она всегда в сентябре ходит с рябиной да мажется одеколоном «Ландыш», а во-вторых, вчера ребята-трактористы после работенки хотели водки достать, а Дуськи нету: ни в магазине, ни у себя, ни у Гришки Сторожевого. Я тоже было забеспокоился, где это Дуська... А она, оказывается, у вас была, Геннадий Николаевич? Она здесь, оказывается, обреталась!

— Да! — шепотом признался заведующий. — Да, Евдокия Мироновна были здесь!

— Любовь возвернулась?

— Пути любви неисповедимы, Федор Иванович. Знаете, в том возрасте, когда цветы уже не пахнут...

— Знаю, знаю, — охотно согласился Анискин, — но теперь вопрос не в этом, Геннадий Николаевич, а в том, чтобы всю картину обрисовать... Вот я тихонечко на диван сяду, хоть на нем сто пудов пыли, а вы мне полегонечку все и обрисуете. Торопиться нам некуда, время утреннее — вот вы мне все и распишете...

Анискин на самом деле сел на диван, который, заскрипев, провалился до полу, а пыль поднялась клубами, чихнул от этого и ясными, безмятежными глазами посмотрел на заведующего.

— Ну, давайте по порядочку...

— Федор Иванович, — красивым голосом сказал заведующий и так отрешенно взмахнул головой, что длинные волосы рассыпались веером. — Федор Иванович, я очень уважаю вас и ваше семейство, но нужно ли ворошить такие интимные подробности мужской жизни, которые задевают больные струны...

— Можно и не ворошить! — мирно сказал Анискин. — Можно, Геннадий Николаевич, но тогда я вам аккордеон не найду. А он все-таки триста пятьдесят рублей стоит. Так что давайте ворошить... Когда вы закрыли клуб?

— В одиннадцать часов, как неоднократно подчеркивалось районным управлением культуры...

— Ну?

— Евдокия Мироновна, если можно так выразиться, уже находились в этой комнате, именуемой «гримуборная»...

— Ну!

— Дальше, Федор Иванович... дальше...

— Ну-ну!

Заведующий Геннадий Николаевич Паздников заплел руку за руку и потупился; уши у него горели, как ягоды рябины, которую Анискин по-прежнему галантно держал в руке, а иссиня-красный чиновничий нос, наоборот, побледнел. Глядя на него, Анискин широко улыбнулся и спросил:

— А к Дуське на квартиру чего же не пошли? Ведь раньше-то, в первую любовь, вы все ночи у нее в квартире заседали?

— Тут, Федор Иванович...

— Ну-ну, Геннадий Николаевич...

— Видите ли, Федор Иванович...

— Ну, еще раз ну...

— Григорий Семенович Сторожевой! — коротко ответил заведующий. — Товарищ Сторожевой!

После этих слов Анискин торопливо склонил голову, бесцельно понюхал ветку рябины и надул губы. В груди участкового что-то поклокотало и затихло, он поднял голову и, глядя в частый переплет окна, раздумчиво сказал:

— Это так надо понимать, что вы боитесь, как бы Гришка Сторожевой вас на Дуськиной квартире не пымал и...

— Этот человек на все способен! — убежденно и горячо ответил заведующий. — Вы бы знали, Федор Иванович, какими глазами он смотрит на меня...

— Глаза-то что, — по-прежнему раздумчиво сказал Анискин и опять понюхал рябину. — Глаза-то пустяки, Геннадий Николаевич, а вот, подлец, дерется... Он, варнак, этой весной Сеньке Панькову накостылял, хотя Сенька возле клубу с братьями обретался. Дак и братьям попало, Геннадий Николаевич. Страсть!

— Федор Иванович, дорогой! — вдруг воскликнул заведующий и трагически поднял руки. — Я понимаю ход вашей мысли, я ухватываю вашу версию...

— Ну!

— Аккордеон украл гражданин Сторожевой!.. Ба, ба, колоссальный ход! Вы понимаете, Федор Иванович, мстя мне за Евдокию Мироновну, Сторожевой решает нанести самый больной удар... Вы понимаете, Федор Иванович, что значит для музыканта, для артиста его муза! — Потрясая руками, заведующий промчался по пяти метрам комнатушки, развернувшись волчком, гулко ударил себя рукой в грудь. — Для артиста муза — больше жены, женщины, подруги. О, гражданин Сторожевой нанес мне смертельный удар! О!

Разные представления участковый любил, и, когда Геннадий Николаевич стал трясти руками по-особенному и кричать красивым голосом, Анискин удобно устроился на диване, примолк и на заведующего посмотрел с уважением. Конечно, без специального костюма Геннадий Николаевич обличьем был послабже, чем на сцене да при электрическом свете, но он все равно здорово нравился участковому.

— О, Сторожевой знал, что творил! — продолжал Геннадий Николаевич. — Скажите, скажите, Федор Иванович, вы уже знаете, что это он, именно он, похитил мой перламутровый аккордеон? Скажите, Федор Иванович, разве не об этом говорит ваше детективное чутье...

Слово «детективное» участковый Анискин знал, сам миллион раз употреблял его в разных видах, но бушующего заведующего перебивать не стал: во-первых, интересно, во-вторых, когда человек такой горячий, его сразу не остановишь. Потому Анискин выждал, когда Геннадий Николаевич немного успокоится, цыкнул зубом и сказал:

— Наше дело такое, Геннадий Николаевич, что сразу понять нельзя, кто вот вор, а кто вот нет! Может, аккордеон увел Сторожевой, а может, наоборот, не Сторожевой... Так что вы охолонитесь и ответьте на последний вопрос. Двери-то кто запирал?

— Двери, о, двери!.. — Заведующий остановился и опустил руки. — Двери, Федор Иванович, как вы сами понимаете, закрывал я...

— До того, как водку пили, или опосля?

— Я всегда закрываю двери до того, как пью водку.

— Ну вот и все, Геннадий Николаевич... Теперь вы посидите на крылечке, а я еще в клубе поброжу...

3

Анискин вышел из клуба примерно через полчаса, когда заведующий, дисциплинированно сидя на крылечке, уже притомился смотреть на пустынную улицу и нервными шагами расхаживал возле клуба. Увидев участкового, он обрадовался, но Анискин в разговор с заведующим не вступил, а от той двери, которая открывалась, наперерез перешел дорогу. Здесь он остановился, рассматривая доску через плетень.

— Ишь ты! — вдумчиво заметил участковый. — Доска!

Он рассматривал такую штуку, которая в сибирских деревнях называется «лазом» и которая отражает стремление человечества к прямым линиям, так как ходить улицами и переулками всегда длиннее, чем напрямки валить через чужие огороды и ограды. Поэтому через плетни в деревнях и перекидываются две доски — с одной стороны и с другой. Вот такую-то доску и рассматривал участковый, оглядев же, хмыкнул:

— Сапог-то кирзовый! — И так как заведующий уже стоял за его спиной, участковый показал пальцем на след сапога, четко лежащий на узкой доске. — Здоровенный сапог...

— Злоумышленник! — прошептал заведующий.

— Может, он, а может, и нет! — ответил Анискин, затем, сделав заведующему знак, чтобы следовал за ним, вернулся к дверям и приказал: — Зайдите передним ходом, Геннадий Николаевич, да закройте дверь на крючок. Сами вернитесь.

Пока заведующий бегал закрывать дверь, Анискин стоял вольно, дышал легким сентябрьским воздухом и глядел, как хорошо и не жарко светит солнце, летят в синеве длинные паутинки и висит меж небом и землей коричневая лодка, плывущая по Оби. Дул такой легкий и сладостный ветер, какой только может дуть в сентябре, и участковый подставлял ему лицо.

— Закрыто, Федор Иванович!

— Ладно.

Очнувшись от благодати, Анискин въедливо глянул на заведующего, потом на дверь, опять на заведующего. Раза три он перевел взгляд с человека на дверь, потом взялся правой рукой за скобу и потянул.

— Закрыто? — сухо спросил участковый.

— Сами же велели, Федор Иванович...

— Велел, велел...

Анискин взялся за скобу второй рукой, высоко надавил на дверь, мелко затряс ее и вдруг резко дернул. За дверью что-то звякнуло, треснуло, и дверь открылась.

— А? — тихо спросил Анискин. — А, говорю?

— Какой эффект, Федор Иванович! — пробормотал заведующий. — Кто бы мог подумать, что простым потрясыванием...

— Крючок — дерьмо! — энергично ответил участковый. — Когда найду аккордеон, я вас, Геннадий Николаевич, за это дело, конечно, штрафану, а сейчас вопрос в другом... В каком часу вы выходили из клубу и кого встретили по пути?

— Сказать точно... Понимаете, сказать точно...

— До дождя или после?

— Во время дождя, Федор Иванович. Вы понимаете, хоть Евдокия Мироновна и возражали...

— Понимаю, понимаю, — перебил его участковый. — Гришка Сторожевой не дурак, чтобы под дождем обретаться... Ну, это же и означает, что на пути вы никого не встретили...

— Никого, Федор Иванович!

— Лады!

Участковый застегнул две пуговицы на воротнике рубашки, в последний раз посмотрел на заведующего значительным взглядом, свел брови на переносице, но ничего не сказал, а только помигал. Потом он заложил руки за спину, кивнул заведующему и неторопливо пошел по улице, что вела берегом Оби, — пузо вперед, голова поднята, ноги нараскорячку.

— До свидания, Федор Иванович! — вяло помахал рукой заведующий. — До свидания!

Но участковый, видно, его не слышал — он все шагал и шагал улицей, посапывал носом от движения и выпуклыми глазами осматривал то, мимо чего проходил. Он осматривал и запоминал, запоминал и осматривал и так себе, потихонечку да полегонечку, добрался до высокого дома, что стоял чуть ли не у самой кузни, то есть далеко от центра деревни. Возле дома Анискин остановился и начал сердито сопеть:

— Ух! Ух! Ух!

Он сопел и злился оттого, что шел уже одиннадцатый час, а в просторном доме было так тихо, словно внутри стоял гроб с покойником. Двери, правда, были открыты настежь, но это тоже ничего хорошего не значило, и Анискин до того рассвирепел, что сделался в лице красным, как перезревший помидор. Он по-кабаньи пырнул носом, поднялся на крыльцо и

прямиком проследовал в дом — избяные двери тоже не были заперты.

— Так!

На четырех узких кроватях, поставленных рядком, как в больнице, закрывшись серыми одеялами, спали четверо лохматых парней. Рты у них были широко открыты, и потому в комнате пахло водочным перегаром, луком и чесноком. Никакой обстановки, кроме кроватей, в комнате не стояло, но зато стены сплошь покрывали похабные картинки с похабными же подписями.

— Эдак!

Анискин прошел вдоль двух стен, рассмотрел и прочел все новые рисунки и подписи, усмехнувшись одной из них, вернулся к дверям. Здесь он сел на высокий порог, расстегнул две пуговицы на рубашке и сладко зевнул — это оттого, что в комнате спали.

— Молодцы! — немного погодя громко сказал Анискин. — Просыпайтесь!

Двое из четырех парней перевернулись с боку на бок, один что-то пробормотал, другой тонко храпнул, но никто не проснулся. Тогда Анискин вынул из кармана коробку спичек, огромный носовой платок, а за ним нечто странное — ружейный патрон, прикрученный проволокой к деревянной ручке. Сопя и улыбаясь, участковый вынул из коробка спичку, подсунул ее под проволоку так, чтобы спичечная головка была на уровне дырки, прорезанной в патроне.

— Ах, ах! — шепотом прокудахтал Анискин. — Ах, ах!

Штука, похожая на пистолет, называлась поджигой, участковый ее недавно отобрал у мастерового мальчишки Витьки, чтобы — не дай бог! — не случилось несчастья. Поджигу Анискин обещал отдать Витькиной матери: «Пороть тебя надо, Витька, пороть!» — но забыл и теперь очень радовался этому.

— Хе-хе-ха! — хохотнул он. — Ху-ху-ху!

Анискин ширкнул по коробке спичек той стороной поджиги, где была спичечная головка, от страха зажмурив глаза, отвернулся, а руку с поджигой, подражая Витьке, вытянул в сторону. Полсекунды головка шипела, потом так бабахнуло, что Анискин стукнулся плечом о дверной косяк и вскрикнул:

— Матушки!

Комнату застлал едкий пороховой дым, стекла звенели, где-то гремело и шуршало, что-то рушилось и стонало — бог знает, что делалось! Когда же дым разошелся, то Анискин медленно и сладостно захохотал:

— Ах-хах, хах-хах...

Сбившись в угол комнаты, завернувшись в одеяла, четверо парней круглыми от страха глазами смотрели на участкового и на то, как синим бинтом тянется в открытую форточку пороховой дым. Потом один из них — жиденький самый и молодой — выпростал из-под одеяла дрожащую руку и спросил:

— Что это такое?

— Поджига! — ответил Анискин, сдвигая брови. — Сам не видишь, что поджига, а?.. Ну, валите по местам!

Лохматые парни вернулись на кровати, сели и повернулись к Анискину, который по-прежнему располагался на высоком пороге. Он был спокоен и тих, но в пальцах все еще держал поджигу и даже покачивал ею, как настоящим пистолетом.

— Ну, вот что, господа хорошие! — сказал Анискин. — Что вся деревня на жнивье, а вы спите — это мне не удивление. Что вся деревня вчера кино смотрела и в банях мылась, а вы водку жрали и помидоры воровали — мне это тоже не удивление... А новость мне то, что у завклуба аккордеон пропал. Вот это мне новость! — Анискин встал, прошелся перед испуганными парнями и непонятно усмехнулся. — Ну!

— Не брали мы аккордеон, — угрюмо сказал самый жидкий и молодой. — Не брали!

— И это я знаю! — охотно ответил Анискин. — Вам аккордеон, во-первых, потому не нужен, что душа у вас черная и к музыке не лежит, а во-вторых, потому, что вы только на мелку кражу годитесь... Вот ты вот, Сопыряев Автондил, встань-ка с койки... Встань, встань, кому говорят!

Сопыряев Автондил — парень лет девятнадцати, с прищуренными глазами и розовым шрамом на губе — неохотно поднялся с кровати, по-блатному закатил глаза, чтобы закричать, но Анискин молча схватил его за плечо, придавив огромной лапищей, отставил в сторону, как ненужную вещь, и в грозной тишине пальцами, ловкими, как у хирурга, пошарил под подушкой. Рука участкового всего на секунду скрылась, он жестом фокусника выхватил из-под подушки косынку и знаменем полыхнул ею в воздухе — сверкнули алые цветы и закорючки, прошелестел шелк и проплыл запах хороших духов.

— Учительши Малыгиной косынка! — тихо сказал Анискин. — Куплена в Томске за восемь рублей... А, Сопыряев Автондил?

В прежней грозной и подвижной тишине участковый вернулся на высокий порог, сел, вытянул ноги и несколько раз тяжело вздохнул: душно было ему в комнате, пропитанной запахом грязных тел.

— Меня, конечно, за это надо с работы свольнять, — прежним голосом сказал Анискин, — но теперь, как в деревне кража, я радуюсь... А почему я радуюсь, когда, наоборот, надо плакать? — набычив голову, спросил он и поднял палец. — Вот ответь мне на это вот ты, Лещинский Игорь.

— Не знаю! — ответил Лещинский, тот из четверых парней, что стоял позади других и даже делал попытку спрятаться за спину Сопыряева. — Не могу сказать, гражданин участковый уполномоченный.

— Сказать не можешь, а поди по тюрьмам сидел... — усмехнулся участковый. — Ну, коли ты такой бестолковый, то можешь не отвечать, а вот автоматическую ручку ты мне отдай... Ну, отдавай, отдавай, я ведь все равно обыск буду делать.

Когда Лещинский отдал автоматическую ручку, украденную им позавчера в клубе у тракторного бригадира дяди Ивана, участковый спрятал ее в карман, где уже лежала косынка, и похлопал ручищей по коленке.

— Теперь отвечаю, почему я радуюсь, когда в деревне кража, — сказал Анискин. — Я потому ей радуюсь, что под эту кражу могу у вас обыск сделать... Вот я у вас две вещи сразу нашел, так как в деревне уже пять месяцев никаких происшествиев не было, хотя вы каждый день по мелочам воруете, чтобы водку жрать...

Парни молчали, глядя в пол, и Анискин позволил себе неярко улыбнуться.

— Сегодня я у вас обыск делать не буду, так как уже все воровано конфисковал, — сказал он. — А вот поработать я вас заставлю... Вот ты, Власенко Юрий, возьми ты полено, что у печки лежит, вот тот столовый ножик, что на подоконнике, и отщипни-ка ты от полена четыре щепочки размером поболе... Ты иди, иди, приказ сполняй, Власенко Юрий, а не то я вспомню, как вы, все четверо, вчера на огороде у Потаповых помидоры спортили... Стервецы! — вдруг озверев, закричал Анискин. — Вы хоть когда огурцы и помидоры воруете, то хоть ботву не топчите! Жри, на всех хватит — так хоть не порть!

Закричав и озверев, Анискин сразу вспотел, задышал астматически и хрипло, словно в горле у него что-то застряло. От этого участковый побледнел и затих. Вот теперь только и услышалось в тишине, что на колхозной конторе уличный громкоговоритель наяривает какой-то заморский фокстрот, плещутся под яром в Оби ребятишки, а в колхозной кузнице бьет молотом в наковальню кузнец Юсупов, ремонтируя дергачи к жнейкам.

— Ну, давай, давай, Власенко Юрий, — сказал Анискин. — Бери полено... — Когда же Власенко столовым ножиком начал отщипывать от полена крупные щепочки, участковый распорядился: — Подходи по одному, бери по щепочке и начинай дружно скоблить стену, на которой подписи и матершинны рисунки. Ну!..

А когда минут через пятнадцать похабные рисунки и подписи со стены исчезли и четверо положили палочки в кучу, Анискин поднялся с порога, прошелся перед четырьмя, как перед строем, и прицыкнул зубом.

— Теперь отвечай на мои вопросы, — гневно приказал он. — Как вы вчера по-пьяному делу всю ночь по деревне шарились, так должны знать, кто после дождя возле клуба обретался. Ты отвечай, Сопыряев Автондил...

— После дождя? После дождя на улице были мы и Григорий Сторожевой, — ответил Сопыряев и от уважения к участковому деликатно кашлянул в кулак. — ...Мы и Григорий Сторожевой...

— У клуба отирался, гражданин участковый! — хлопотливо вмешался в разговор Лещинский. — Мы уже похиляли домой, раз водяры не достали, а он, гражданин участковый, руки на карман поставил и возле клуба ходит.

— Кого еще видели?

— Никого! — хором ответили парни, но среди их дружных голосов участковый не услышал голоса Юрия Власенко. Он, как всегда, стоял немножко в сторонке и поглядывал на Анискина голубыми глазами молодого, но не игрушечного тигренка. Власенко вообще резко отличался от своих товарищей, и Анискин тревожно подумал: «Ох, с этим парнем мне еще будет морока, ох, будет!»

— Ну, ладно! — сказал участковый. — Ну, ладно...

Анискин уже в тишине пошел к дверям, как Игорь Лещинский вдруг перегнулся, словно от удара под ложечку, подергался припадочно и на всю вонючую комнату завопил:

— Во, корешки, что делается! Мы думали, Сторожевой рекорды ставит, а он аккордеон увел.

Пока Лещинский вопил и кривлялся, участковый молча стоял у дверей, затем взялся за ручку и, не отпуская ее, замедленно обернулся.

— Вот за что я еще вас ненавижу, — сказал он, — так это за то, что вы работать сюда по своей охотке приехали, а сами тунеядцы! — Анискин тоскливо вздохнул. — Такие вы, что я... Я вот за эту деревню, которая за окном, с колчаковцами бился, в меня из обреза за власть кулаки стреляли, а вы мою деревню собой позорите...

Судорожно взмахнув рукой, Анискин вышел на крыльцо, подставил ветру с Оби лицо, несколько раз вдохнул пряный, увядающий аромат сена, береговой глины и просто воздуха, который в сентябре настаивался сам по себе. Все еще галдели ребятишки под яром, репродуктор проливал на всю длину улицы протяжный вальс, а вот кузнец Юсупов железом уже не гремел — кончил, верно, ковать очередной дергач. «Ну, так! — спокойно подумал участковый. — Гришка-то Сторожевой и после дождя возле клуба обретался! Вот это дела!»

Но Анискин еще несколько секунд постоял возле дома, так как родная деревня лежала вокруг него тихая и от этого ласковая. Виделось новое здание конторы с кумачовым лозунгом: «Товарищи! Наш колхоз идет вторым в районе по темпам уборки», — придуманным, конечно, парторгом Сергеем Тихоновичем; просматривалась голубая Обь, а главное — было тихо. Вся, ну, вот вся деревня ушла в поля убирать хлеб, а несколько парней, приехавших полгода назад из Томска работать в колхозе, сидели в затхлой и грязной комнате.

— Так! — вдруг громко сказал Анискин. — Эдак!

Грозно сведя брови на лбу, он легонько постучал согнутыми пальцами в окно.

— Господа хорошие, — сказал участковый еще громче, — выходь на улицу...

Через минуту четверо парней, застегивая рубахи и штаны, теснясь, появились на крыльце. Участковый внимательно оглядел их, широко улыбнулся и сказал:

— Марш на поля!.. Вот ты, Сопыряев Автондил, будешь старшим. Завтра Сопыряев мне доложит, как работали...

Четверо пошли по пыльной улице, и участковый следил за ними до тех пор, пока они не миновали магазин, клуб и колхозную контору. Он все улыбался и тихонечко покручивал головой. «С паршивой овцы хоть шерсти клок! — думал участковый. — Хоть нынче и хорошо дело идет, восемь рук — это тебе не баран начихал...» Потом он сказал вслух:

— Ну, теперь мне само время к продавщице Дуське наведаться...

4

К продавщице Прониной, то есть к магазину, в котором она торговала и жила, Анискин пришел действительно в удобное время — после двенадцати часов, когда она до шести вечера торговлю прекратила. У магазина было тихо, на дверях висели три амбарных замка; окна, изнутри задвинутые деревянными щитами, смотрели слепо. Поэтому участковый обошел магазин с парадного хода и приблизился к задней двери, возле которой в лопухах лежала ничейная собака Полкан, громоздились пустые ящики и валялись разноцветные бумажки.

— Полкан, вот ты есть Полкан! — сказал участковый собаке и негромко постучал в дверь. — Живой есть кто или нет?

На первый стук никто не ответил, тогда Анискин постучал погромче.

— Чего скребешься, входи! — раздался далекий, но явно злой голос. — Входи, кого еще черт принес!

Мимо уже не пустых, а полных решетчатых ящиков, мимо бочки с селедкой и мешков с сахаром; густо смазанных солидолом и обернутых бумагой кос, граблей, лопат и прочего металлического добра; мимо обвязанных веревками двух велосипедов и мотоцикла в деревянных планках Анискин прошел в комнату продавщицы Дуськи, в которой тоже было полутемно, так как продавщица отдыхала после работы и беспокойной ночи. Так что Дуську во мраке сразу увидеть было нельзя, и участковый различил только черное и движущееся.

— Здорово, здорово, Евдокея! — приветствовал он черное и движущееся. — Как живем-можем?

Все еще была темнота, и в ней Дуська ответила:

— А, это Анискин... Здорово, Анискин, проходи!

Скрипнули внутренние ставни, в комнату ворвался здоровенный кусок солнца, и участковый во всю ширь увидел маленькую комнату продавщицы, ее сундук, городское зеркало из трех половинок, зеркальный шкаф и саму Дуську — она в черной шелковой комбинации сидела на кровати, подняв руки, закалывала густые волосы. Шпильки Дуська держала в зубах и потому проговорила в нос:

— Ты, Анискин, если пришел, то не стой, а садись.

Участковый опустился на низенький стульчик с цветастым сиденьем, вытянул ноги, чтобы не торчали выше пуза, и прищуренными глазами с ног до головы оглядел продавщицу Дуську. Черная рубашка на ней была такая плотная, что трусы и бюстгальтер не просвечивали, сама Дуська под комбинацией была пухлявая и грудастая, а ноги имела одинаковой толщины, что в щиколотке, что возле коленей. На взгляд участкового продавщица выглядела хорошо, но он все-таки сурово сказал:

— Постеснялась бы страма, в рубашке-то!

— А мне не стыдно, — огрызнулась Дуська, вынимая из зубов последнюю шпильку. — Мало что комбинация двенадцать рублей стоит, мне платье перед каждым одевать — мозоли набьешь! Сейчас еще ничего, уборка, а в обычное время только приляжешь: «Дуська, открывай!» Хорошо бы еще, за водкой, а то вот вчерась приходит Сузгиниха — уксус у ней кончился, а сам пельмени захотел... Это летом-то, адиот! Вот она и прется в ночь-полночь.

Дуська от злости мгновенно сгреблась с кровати, просвистев под носом участкового шелковой комбинацией, сдернула все-таки с гвоздя ситцевый халат и накинула его на меловые неохватные плечи. Потом она боком села за маленький столик, закинула ногу на ногу и достала папиросу из пачки «Север». По-мужски чиркнув спичкой, Дуська хрипло спросила:

— Чего пришел, Анискин?

— А дело есть.

— Ну, я тогда тебе окно открою.

В три движения, словно в три прыжка, Дуська открыла окно, раздвинув алую занавеску, попутно что-то лишнее убрала со стола, подправила подушку на кровати, сделала еще что-то неуловимое и непонятное — вихрь, вихрь! Птичкой перепархивала Дуська с места на место, хотя была толста и, по слухам, больна сердцем. И когда Дуська опять села на место, Анискин еще раз посмотрел на нее ясными глазами: «Эх, хороша баба эта Дуська!» Потом он повозился на стульчике и сказал:

— Чего же ты, Евдокея, ребятишкам-то медяки недодаешь?

— Кому это? — вскричала Дуська и опять вскочила с места. — Ну, скажи, Анискин, кому я недодала медяк?

— А Фроське Негановой, — подумав, ответил участковый. — Этой три копейки, а вот Мишутке Ляпину — так целый пятак.

— Фроське, Мишутке?! — Дуська очумело глядела на участкового, халатик падал с ее покатых плеч. — Ты чего же это, Анискин, умом тронулся? — простонала она. — Ведь те три копейки и тот пятак — это когда было?.. Это же еще в июне, в покосы...

— Ну и что, что в покосы, — мирно ответил Анискин. — Недодано же, а!

— Ну, Анискин, ну, Анискин! — Дуська попятилась, села от огорчения на свою пышную кровать, руки бросила на колени и обиженно замигала. — Ну, Анискин, это слов не найти, какой ты есть злобный человек. Не зря твоя Глафира тоща, как стерлядь, — это все от тебя!

Дуська всплеснула руками — на этот раз не замедленно, а быстро, — крутанулась волчком по комнате, открыла рот на манер галчонка, чтобы густо закричать, но от возмущения слова у нее в горле встали колом, она села на кровать и, прищурившись, стала смотреть мимо Анискина злыми, как у голодной кошки, глазами. Губы у нее дрожали, кривились.

— Вот хорошо! — похвалил ее Анискин. — Молодца, Евдокея, что успокоилась!

Участковый задумчиво посмотрел на городское зеркало из трех половинок — ничего себе, огладил глазами зеркальный шкаф — какой блестящий, перевел глаза на кровать под никелем и с шариками — мягка, мягка! Все в Дуськиной комнатешке понравилось Анискину, и он согласно покивал головой, — дескать, давай, давай, Дуська, продолжай в том же духе...

— Я чего, Евдокея, на медяки память держу, — сказал Анискин, — а оттого, чтоб ты не забывалась. Так что ты не обижайся, а лучше в корень гляди... Я ведь тебя, Евдокея, за то уважаю, что ты против всех прежних продавщиц — человек не жадный, добрый. Ты и в долг дашь, и не обвешаешь, и хороший товар от народа не утаишь. Вот за это я тебя и уважаю.

— Ну, спасибо, Анискин! — насмешливо ответила Дуська, разводя руки.

— Вот и ругаешься ты всегда, а я на это внимание не держу. Ты от хорошего сердца ругаешься, Евдокея.

— Вот еще!

— Не вот еще, а так!

Они помолчали. Слабый ветер пробивался в раскрытое окно, светил меж домами кусок сиреневой Оби, которая текла слышно — шелестела под яром, поплескивала. И шелестел по-своему, разговаривал старый осокорь, что стоял на берегу и что у нижнего конца кроны имел уж желтые листки, подернутые красными жилками, покрытые ржавым налетом. Сентябрь был, настоящий нарымский сентябрь.

— Жизнь прожить, Евдокея, не поле перейти! — после молчания сказал Анискин. — Я твое положение понимаю, вхожу в него, так что ты меня извиняй, если какое слово не так скажу... — Участковый потянулся рукой к конторским счетам, что лежали на маленьком столике среди коробок с пудрами, одеколонами, губными помадами и всякими кремами. Он положил счеты на колени, шумно, сбросил костяшки направо и прежними мирными глазами посмотрел на Дуську. — Ты слушаешь меня, Евдокея?

— Но.

Притихнув, Дуська сидела среди кроватной мягкости покорно, поглядывая на участкового снизу и уже не держала руки под могучей грудью — лежали они по бокам, на пододеяльнике, большие, шершавые, с накрашенными ногтями, но от этого на вид еще более грубые и заскорузлые.

— Я, Евдокея, — тихо сказал Анискин, — и в то положение вхожу, что ты на одну небольшую зарплату живешь... Ты ведь шестьдесят два рубля получаешь? — спросил он. — А?

— Шестьдесят два...

— Ну, как же на эти деньги проживешь, если у тебя ни коровы, ни огорода, ни какой другой живности? — Анискин осторожно вздохнул, погладил рукой счеты. — На эти деньги без добавки прожить, Евдокея, невозможно, особливо если нет постоянного мужика. Кто придет в гости — поллитру ему поставь, закуску дай, потом опохмели... Ты на меня не держишь сердце за эти слова, Евдокея?

— Говори...

— Ты меня опять извиняй, Евдокея, но вот ты за июль месяц, по моим думкам, более тридцати рублей сверх зарплаты поимела. — Анискин выровнял счеты на коленях, диковинно толстым пальцем нашарил нужную ему костяшку, а Дуська, следя за его движениями,

выпрямилась и напружинила пухлые губы. Он быстро взглянул на нее и продолжил:

— Вот как ты, Евдокея, поверх зарплаты поимела тридцать рублей... Ну, во-первых, сказать, июль был такой месяц, что покосы кончались, а жнивье еще и не начиналось — это, значит, народ за водкой шел хорошо. А во-вторых, сказать, в июле геологи в баню приходили — это, значит, еще прибавка...

— Ты за тридцать рублей скажи, Анискин! — ответила Дуська. — Что июль — месяц хороший, всем понятно...

— Можно и сказать, Евдокея! — Анискин приблизил счеты к глазам. — За поллитру водки ты берешь три рубля, если продаешь ее не из магазину, а с квартиры. Это, Евдокея, правильно по той причине, что ты сверх нормы работать не должна. Тебя же в ночь-полночь будят... Вот ты и берешь за беспокойство сверх цены тринадцать копеек... Ну, а теперь считать зачнем.

Участковый прищурился, еще сильнее прежнего наморщил лоб и непонятно улыбнулся.

— Мы, Евдокея, по памяти считать зачнем, так как июль месяц я по твоей работе контроль наводил, — сказал он. — Ну, второго числа водку у тебя семеро геологов брали — это девяносто одна копейка. — Анискин звучно передвинул костяшки счетов. — Первое число я не прикидываю, потому что в этот день ты за товаром ездила... Ну, дальше! Третьего числа тракторна бригада Пятунина премиальны за косьбу получала — это, Евдокея, двенадцать бутылок, что составляет один рубль сорок шесть копеек... Пятого числа, как ты сама знаешь, усть-юльские в нашу деревню повалили. Я допоздна на лавочке сидел и ихних девятнадцать гавриков насчитал. Это, Евдокея...

— Хватит, Анискин! — тихо-тихо сказала Дуська. — Память у тебя... — Она привалилась спиной к подушке, косо усмехнулась, как бы незряче провела рукой по бледному лицу и повторила шепотом: — Память у тебя, Анискин.

Не отвечая ей, участковый привстал, отдуваясь от усилия, положил счеты на место, но садиться на стул обратно не стал, а выпрямился во весь рост — могучий, громоздкий. Долго, наверное, полминуты, он смотрел на Дуську рачьими глазами, потом непонятно усмехнулся и сказал:

— Тебе надо замуж выходить, Евдокея!

— Замуж выходить? — Дуська приподнялась, повела бровями, помедлила секундочку и, дернув губой, переспросила: — Замуж, говоришь, выходить, Анискин? А за кого?

Еще секунду Дуська молчала, открыв рот, — опять не хватало воздуха, и слова в горле встали комом, — потом, взмахнув полными руками, подскочила к участковому, ужалила его взглядом, но вдруг снова попятилась назад, к своему высокому сундуку — ну, совсем ошалела бабенка!

— За кого выходить, Анискин? — наконец оглушительно крикнула Дуська. — За колхозного бугая Черномора?

Ухмыляясь и подергивая плечами, она кинула литое тело к сундуку, с размаху открыла крышку и, внезапно тоненько взвизгнув, обеими руками выхватила из него синее и розовое, коричневое и зеленое, шуршащее и переливающееся, блестящее и тусклое.

— Замуж, говоришь, замуж, говоришь! — кричала Дуська, по-шахтерски работая в сундуке руками и плечами. — Замуж, говоришь...

На участкового, ушибая густым запахом нафталина, из сундука летели кофты и платья, зимние ботинки и туфли, рубашки и трусы, бюстгальтеры и чулки; потом полетело теплое плисовое пальтишко, шапочка из цигейки, чесанки, осеннее пальто из габардина, красное вельветовое платье, две пары резиновых бот и так далее... Кое-что из летящего в него Анискин ловил, укладывал на кровать, но кое-что валилось на пол непойманное, и Дуська по нему оглашенно приплясывала.

— Замуж, говоришь, замуж?

Когда в сундуке ничего не осталось, Дуська повернулась к Анискину и пошла, пошла на него — грудью, животом, глазами, бедрами.

— Замуж, говоришь? Я себя спрашиваю: за кого мне замуж выходить? — Дуська пхнула участкового грудью и животом, сбила-таки с неподвижности и, торжествуя, хохоча, перегнулась в пояснице — волосы распущены, как у русалки, глаза дикие, рот перекошен. — Замуж?

Торжествуя над Анискиным, Дуська попятилась, задела ногами за плисовое пальтишко и вдруг начала медленно валиться на кровать. Подумав, что она падает, запнувшись, Анискин кинулся было к ней, но поддержать не успел — женщина брякнулась лицом в подушку и мелко-мелко затряслась плечами.

— Охо-охо! — прорыдала Дуська. — Охо-хо!

— Евдокея! — тихо позвал Анискин. — А, Евдокея!

Дуська плакала. Халатик с плеч упал, когда еще кидалась к сундуку, волосы растрепались, голова провалом темнела на белизне подушки, а лежала она жалобно, по-детски сдвинув и перекосив ноги. Белые плечи Дуськи тряслись, как в лихорадке. Анискин на цыпочках, скрипя тонко половицами, прошел к стульчику, опустился на него, но ноги для удобства не вытянул — торчали коленками вровень с пузом.

Дуська понемногу успокаивалась: перестали вздрагивать плечи, затихли руки, спина сделалась плоской. Потом она и вся стала плоская — затихла.

— Все, Евдокея? — еще немножко подождав, спросил участковый. — Проплакалась?

— Проплакалась, — в подушку ответила Дуська.

— Ну, так подымайся...

И Дуська поднялась — показала незрячее от слез лицо, скрученные в сосульки волосы, мокрую на груди черную комбинацию.

— Ты не смотри на меня, Анискин, — криво улыбнулась она. — Я теперь страшная...

— А ты подчапурься, подчапурься, Евдокея.

Анискин отвернулся к окну, и пока Дуська причесывалась, намазывалась и накидывала халатик, смотрел на сиреневую Обь и на старый осокорь, что стоял одиноко на берегу. Осокорь шелестел жестяной листвой, в стволу был крепок и черен, но кору бороздили такие же глубокие морщины, как и лицо Анискина. Ничего удивительного в этом не имелось, так как осокорь был лет на двадцать старше участкового, а ведь только так говорится, что дерево крепче человека. На самом же деле, подумал Анискин, дерево человека мягче, крепче его только железо, так оно и есть железо бездушное...

— Ты подчапурилась, Евдокея? — спросил он.

— Готово, Анискин!

Дуська в халатике сидела на кровати, тихая.

— Я что ревела, Анискин? — с усмешкой спросила она, показывая глазами на пол, где горкой все еще лежали вещи. — Я то ревела, Анискин, что добро пропадает, а замуж... — Дуська засмеялась. — Это ведь со смеху умрешь, что никто замуж не берет... А ты знаешь, Анискин, почему... А потому, что вы, мужики, только на войне храбры. Как дело до баб доходит, ваш брат — трусливее зайца...

— А это почему? — повеселев, спросил Анискин. — Это как так?

— А вот так! — ответила Дуська и кокетливо повела бровями. — Чего мужики на мне жениться боятся? А оттого, что я вольно живу — народ возле меня завсегда вертится, на всю деревню песни реву... Вот они и боятся, а того понять не могут, что я самая верная жена и есть — я мужиков распрекрасно хорошо узнала и мне сласти от сласти искать не надо... Вот такие дела, товарищ Анискин!

Дуська поднялась, не глядя, комкая, начала собирать с пола вещи. Она разом зашвырнула их в сундук, со звоном закрыла крышку и села на нее.

— Мне крышка, и на крышке сижу! — лихо улыбнулась Дуська. — Вот таки дела, Анискин!

— На тебе Гришка Сторожевой хочет жениться, — просто сказал участковый. — Я теперь это доподлинно знаю...

— Откуда? — помолчав и сложив руки на груди, спросила Дуська. — Ты скажи, Анискин, откуда?

— А оттуда, что он у заведующего клубом аккордеон увел, — ответил Анискин и посмотрел на Дуську безмятежными глазами. — Вот я и вырешил: если он крупну кражу совершил, значит, жениться хочет...

Еще договаривая, участковый резво поднялся со стульчика, пошел хлопотливо к дверям, но возле них, конечно, остановился и стал спиной слушать Дуську. Она молча повозилась, потом усмехнулась и сказала:

— Он что, дурак — аккордеоны воровать?

— Выходит, что дурак! — спиной ответил участковый. — Рази умный человек станет тебя к заведующему приревновывать! — Анискин опять повернулся к Дуське и спросил: — Ну вот почему ты опять к этому завклубу возвернулась? Что он ручки целует и на музыке играет?

Дуська не ответила. Она медленно сползла с сундука, еще медленнее пошла к окошку, прильнув к наличнику плечом, посмотрела на улицу. По небу ползла голубая кудрявая тучка, приближалась к солнцу, и от нее на землю отражались тоже голубые кудрявые лучи. Они растрепанным пучком падали на реку, и в этом месте, где они подрагивали, вода была изумрудная.

Приглушенно вздохнув, Дуська полуотвернулась от окна, пошевелила полными, понежневшими губами. На ее лицо падал свет от реки, глаза продавщицы мягко голубели.

— Ишь ты! — вполголоса проговорил участковый. — Как в кино любовь-то... Ну, я пошел!

Анискин открыл дверь, просунул в нее половину пуза, переставил через порог ногу, но опять-таки не ушел — такой был этот Анискин, что всегда уходил не сразу.

— Евдокея, а Евдокея, — позвал он. — А ты не видала, кто еще возле клубу обретался, когда вы с этим фертом выходили?

— Окромя Гришки, никого, — вполголоса ответила Дуська. — Никого!

— Выходит, ты Гришку видела, а ферт не видел?

— Я завклубу глаза отводила.

— Ах, Евдокея, Евдокея! — прокудахтал Анискин. — Ах, ах!

Потом участковый из Дуськиной комнаты выбрался окончательно — снова прошел мимо сельповских богатств, магазинных запахов и выбрался на улицу, где ничейный пес Полкан в лопухах уже не лежал, а стоял, глядя в окно.

— Вот, Полкан, ты есть Полкан! — сказал Анискин, потрепывая пса за загривку. — Сейчас к тебе сама Евдокея выйдет. Она выйдет, Полкан, ты есть Полкан...

Опустив загривок Полкана, участковый заинтересованно прищурился. «Интересно, — подумал он, — шибко интересно, что все приметы на Гришке Сторожевом сходятся!»

После этого он энергично пошел домой обедать.

5

Пообедав, участковый, как всегда, улегся спать, чтобы не бродить по полуденной жаре; поспав же, выпил пять стаканов чаю, посоветовался с женой Глафирой насчет младшего сына Витьки, который шляется в утреннее время у клуба, и в часу этак в восьмом выбрался на улицу, на ходу одной рукой запихивая в карман газету «Правда», а другой застегивая пуговицы на воротнике рубахи. С тем и другим делом участковый справился удачно, улыбнулся сам себе и широко осмотрелся по сторонам.

Сентябрьская деревня была обычной: лежала на дороге тяжелая коричневая пыль, тихая и невредная для колес; шли по улице два древних старика с посошками — дед Крылов и дед Голдобин; мальчишка катил железное колесо от тележной ступицы; у палисадников краснели рябины, посверкивали катышки черемухи; домá за деревьями казались тихими, примолкшими, уменьшившимися оттого, что на окнах и крышах лежал отблеск розового солнца.

Участковый охотно пошел по пыльной дороге. По вечернему времени он дышал легко, к Оби поэтому не прижимался, чтобы веяло прохладой, а двигался прямой улицей и минут через пятнадцать оказался возле колхозной конторы. Голос председателя Ивана Ивановича слышался через открытое окно, и только тогда Анискин сообразил, что сегодня воскресенье. «Ах, ах, ах, — подумал он. — Это ведь страсть, как время быстро бежит! Вчера была суббота, сегодня — воскресенье, а завтра — завтра уже понедельник...»

— Так! — сказал вслух Анискин. — Эдак!..

Судя по голосам из окошка, председатель колхоза Иван Иванович с парторгом Сергеем Тихоновичем подводили итоги социалистического соревнования за неделю, так что и в кабинет председателя участковый вошел тихо, на пятках проследовал до центра и поздоровался:

— Будь здоров, Иван Иванович! Будь здоров, Сергей Тихонович!

— Здорово, здорово! — ответили они и опять склонились над бумагами. — Присаживайся, Федор Иванович.

Участковый опустился на дерматиновый диван, положил голову на спинку и принялся разглядывать плакаты, лозунги, картинки, грамоты и портреты, которые густо покрывали стены председательского кабинета. Большинство из них были скучны, неинтересны, но один лозунг и одна картинка у Анискина вызвали улыбку.

Лозунг был такой: «Хлебороб! Уберешь хлеб вовремя — поможешь Родине!» Вот что неизвестный человек написал на куске хорошей плотной бумаги, и участковый, непонятно улыбнувшись, подумал: «А вот ведь, если хлебороб не уберет хлеб вовремя, то с ним, как пить дать, надо беседу проводить». Так, по-анискинскому, и выходило... «Вот, товарищи, — думал он, — если хлебороб не уберет хлеб вовремя, значит, ему дождь, ранний снег или плохие машины помешали. Ежели же, товарищи, хлебороб потому не убрал хлеб, что не хотел помочь Родине, то ведь это такой хлебороб, с которым беспременно надо поговорить. Чего же он не хочет убрать хлеб вовремя? Если же хлебороб убрал хлеб вовремя, то чего же тут, товарищи, особенного, так как дураку понятно, что хлеб надо убирать вовремя...» Картина же изображала...

— Ты, Федор Иванович, если пришел, то не сиди с надутыми губами, — сказал председатель Иван Иванович. — Мы догадываемся, почему ты сопишь, но хоть ты и не член колхоза, для тебя решение общего собрания тоже закон...

— Он потому нацыкивает зубом, — добавил парторг Сергей Тихонович, — он потому сопит носом, что у заведующего клубом аккордеон украли. И вот уже идет восьмой час, а аккордеон не найден...

— Нет! — ответил участковый, решительно поднимаясь с дивана. — Нет, дороги товарищи, я не потому соплю, что до сего часа не нашел аккордеон.

— А отчего же?

— А я вот оттого, — садясь на стул рядом с парторгом, ответил Анискин, — что вы по молодости лет и неопытной глупости народ спаиваете!

Участковый взял из рук председателя листок тетрадной бумаги, вынул из кармана очки, надел их на кончик носа.

— Ну конечно же! — сердито вымолвил он. — Венька Моховой — три рубля, Павел Кустов — пять рублей, Григорий Сторожевой — обратно пять рублей, Варвара Кустова — три рубля... Ну и так дальше... Это чего же вы, товарищи начальство, народ спаиваете? — спросил Анискин, снимая очки и гневно глядя на парторга. — У вас что, ума не хватает сообразить, что ежели в воскресенье человек получает три рубля премии, то ему иного выхода нет, как валить к продавщице Дуське? На это, Иван Иванович и Сергей Тихонович, не надо техникумов кончать, чтобы скумекать: в воскресенье пятерка непременно поллитрой и закуской обернется. Так это почему же вы, партейные люди, народ спаиваете? — еще сердитее спросил Анискин, соединяя во взгляде председателя и пар-

торга. — Прошлый месяц одна драка приключилась, позапрошлый — две. Хлопочете, чтобы в этом месяце три было, а?

Председатель с парторгом, поглядывая друг на друга, молчали, и Анискин совсем вызверился:

— Нет, молоды товарищи руководители, так дело не пойдет! Вот как штрафану весь колхоз — запоете... Ишь что придумали! Ты, Иван Иванович, человеку премию дай, но не кажное воскресенье и не пятерку. Ты человеку сто рублей дай, да тогда дай, когда или уборка, или покосы, или посевная кончились. Тогда тебе, Иван Иванович, человек руку пожмет. Он эти сто рублей не пропьет, а толкову вещь купит... А!

Анискин пырснул носом, вернул тетрадный листок бумаги председателю и отвернулся к окошку — сердитый, как бугай осенью.

— Федор Иванович, — озабоченно сказал председатель, — по существу ты прав, но ведь все общее собрание за недельные премии проголосовало. А нарушать колхозную демократию...

— Вот она где у меня сидит, колхозная демократия! — прервал его Анискин и попилил ребром кисти по собственной шее. — С этой демократией на лодырей управы нет, а что касается голосования, так это надо поглядеть, — когда голосовали и кто голосовал... Вот ты мне скажи, Сергей Тихонович, каким по счету шел вопрос о недельных премиях?

— Последним, кажется...

— Не кажется, а последним!.. С твоей колхозной демократией мы в этот раз до первых петухов прозаседали! — Анискин косточками согнутых пальцев постучал по столу. — Так я тебе скажу: в три часа ночи народ хоть за кого проголосует. А во-вторых, сказать, кто больше всех за недельны премии кричал? — спросил он гневно. — За недельны премии громче всех пьянюги голосовали... Они вот техникумов не кончали, а живо смекнули, что это дело поллитрами пахнет...

Анискин поднялся, косолапя от возмущения, подошел к плакату «Хлебороб» и оказался вровень с ним головой, хотя «Хлебороб» висел высоко. Участковый потопал сандалиями по скрипучим половицам и, глядя на плакат, затих.

— Ишь ты! — после длинной паузы сказал председатель Иван Иванович. — Рациональное зерно имеется...

— Пожалуй, да, — мысляще откликнулся парторг.

Парторг посмотрел на председателя, председатель — на парторга, и оба примолкли. За открытыми настежь окнами покачивались рясные ветви черемухи, рябины стояли красные, словно охваченные огнем; в одно из окон заглядавала Обь, похожая теперь на сиреневую слюду, вправленную в раму. И, конечно, влетывали в контору голоса вечерней деревни: скрип колодезных вертушек, треск клубного громкоговорителя, молочный мык коров и визг купающихся ребятишек.

— Федор Иванович, а Федор Иванович, — вкрадчиво спросил председатель, — а чего же ты пришел такой злой?

— А того злой, — ответил участковый, — что мне сегодня все время приходится с худшими людьми в деревне разговаривать. Вот сейчас у этих лодырей был да еще попозже к некоторым другим пойду... А в контору я зашел то, что мне Гришка Сторожевой нужен.

— Скоро прибудет Гришка Сторожевой, — вздохнув, ответил парторг. — Он сегодня на «Беларуси»...

Действительно, когда участковый вышел на крыльцо конторы и посмотрел на восток, то возле прясел околицы уже поднимался столбочек пыли и зверем гудел трактор «Беларусь» — это ехал, конечно, Гришка Сторожевой, и Анискин, сойдя с крыльца, встал за уголок. Он широко расставил ноги, руки выложил на пузо — покручивать пальцами.

Взмахивая огромными колесами, как крыльями, «Беларусь» стремительно приближался, а за трактором, высоко подпрыгивая от скорости, летела бортовая тракторная тележка, до отказа набитая разноцветными бабами. Впрочем, это только издалека казалось, что бабы разноцветные. Когда «Беларусь», напоследок дико взревев и окутавшись дымом, остановился у конторы, то оказалось, что бабы густо запорошены коричневой пылью. Они веером ссыпались с тележки, и Маруська Шмелева заорала:

— Это чего же он, бабоньки, над народом изгаляется, все кишки вытряс!

Пока Маруська кричала, из кабины трактора выпрыгнули Гришка Сторожевой и тракторный бригадир дядя Иван. Гришка направился к конторе, дядя Иван — за ним, крича и взмахивая руками. На крыльце Гришка остановился и грубо схватил дядю Ивана за плечо.

— А не заставляй меня баб возить! — густым басом гаркнул он. — Я тебе не помело, понял?

Затем Гришка Сторожевой хотел войти в контору, чтобы ругаться и с председателем Иваном Ивановичем, но не успел — из-за угла выставился участковый Анискин. Он поманил тракториста пальцем, а сам, не оборачиваясь, двинулся вдоль улицы. Широкая спина участкового покачивалась, ноги оставляли на дороге слоновьи круглые следы.

— Анискин! — крикнул Гришка Сторожевой, но участковый ухом не повел. — Анискин!

Гришка зло сплюнул, растер плевок кирзовым сапогом и все-таки пошел за участковым.

От колхозной конторы до клуба было рукой подать, метров двести, и вскорости они остановились — Анискин возле афиши «Берегись автомобиля!», а Гришка Сторожевой — в пяти метрах от нее. На широком лице тракториста подрагивали мускулы, брови, опустившись, застилали глаза, а кулаки он держал на отлете, как гири. Одним словом, Гришка Сторожевой был таким, что Анискин ткнул пальцем в клубную афишу и весело сказал:

— Выходит, не автомобилей надо опасаться, а Гришку Сторожевого да его трактора...

— Ты меня чего позвал? — шепотом спросил Сторожевой. — Ты чего меня, Анискин, позвал да еще и издеваешься?..

Гришка Сторожевой ощерился молодыми зубами, как матерый волк, и Анискин улыбаться перестал — замер, но глаза у него начали понемножечку выкатываться. Глаза были серые, большие и холодные, как речные прозрачные камешки. Когда они выкатились и тоже замерли, из них потекло на Гришку что-то невидимое, но густое, пугающее. Оно текло да текло, а потом участковый, не шевельнув губами, выдохнул:

— А?!

Гришка стоял столбом, но голову еще держал.

— А?!

Участковый повернулся, подошел к клубному крылечку и сел на него. Семичасовой сеанс — для детей — фильма «Берегись автомобиля!» еще не кончился, за стенкой жужжал киноаппарат, ребятишки в клубе галдели и похохатывали, вокруг клуба шла неспешная жизнь. Проехал бесшумно на велосипеде по пыльной дороге учитель математики Молчанов, просеменила в сельповский магазин баба Сузгиниха, а в детских яслях, что располагались в ста метрах от клуба, вдруг со звоном открылось окно, выглянула толстая повариха тетка Мария, зевая, посмотрела на Анискина и перекрестила рот.

— А ведь ты, Гришка, — вдумчиво сказал Анискин, — за последнее время распустился... До того дело дошло, что ты на меня покрикиваешь. Это как так?

— Прости, дядя Анискин! — глухим басом попросил Гришка. — Тут с бабами, да тут еще... Прости, дядя Анискин!

Опустив голову, тракторист ковырнул носком сапога утрамбованную землю, руки сунул в карманы, чтобы не висели, и стал смотреть на жука, который пробирался по пыли к островку желтой травы. Каждая соломинка и каждый камешек жуку мешали, он суетно обегал их и добрался-таки до травы. Тогда Гришка Сторожевой поднял голову и, удивившись, спросил:

— Ты чего это, дядя Анискин, на мои сапоги глядишь?

— А вот то гляжу, — сухо ответил Анискин, — что таких сапог в деревне всего двое. Сорок пятый размер ты, Гришка, носишь, да я, когда грязюка наступает...

— И из этого что, дядя Анискин?

— А из этого то, Григорий Сторожевой, — поднимаясь с крыльца, ответил Анискин, — что у завклубом аккордеон увели... Вот ты и шагай за мной.

Анискин подошел к лазу через плетень, дождался, когда Гришка догонит, и показал желтый след кирзового сапога на узкой доске.

— Вот этот след, — сказал Анискин, — приляпан после дождя. Теперь опять гляди на то, что вот такая же желта глина живет возле клубных дверей — копали глубоко и глину на поверхность вынули. Что же из этого получается? — спросил участковый, и сам же ответил: — А то получается, что вор аккордеон через этот лаз увел... Так что давай, Григорий Сторожевой, ставь-ка ногу на дощечку...

— Ты чего это, дядя Анискин? — тихо сказал Гришка. — Чего это я ногу ставить буду?

— Ставь, ставь...

Пожимая плечами и косо улыбаясь, тракторист взошел на доску, прогнув ее, приставил ногу к следу.

— Ну и ну! — всплеснув руками, обрадовался участковый. — Глаз у меня — алмаз! След сорок пятого размеру... Ах, ах! — прокудахтал он. — Ах, ах!

Очень довольный собой, участковый махал руками и кудахтал, позабыв от радости о Гришке Сторожевом, трусцой побежал к клубным дверям, но тракторист бросился за ним, на ходу схватил за подол серой рубахи и угрюмо проговорил:

— Не брал я аккордеон.

Остановленный, Анискин сдал назад, повернулся к Гришке и вдруг посмотрел на него такими глубокими и задумчивыми глазами, при каких на лице участкового появлялось известное всей деревне выражение. Это было такое выражение, когда никак нельзя было понять, что думает и что хочет от человека участковый, когда в глазах Анискина вспыхивали яркие точки, привораживающие к себе точно так, как в лунную ночь привораживает одинокий светлячок. И это были такие глаза, которыми участковый глядел вглубь и насквозь, просвечивал, как на рентгене, и по спине человека прокатывался щекочущий холодок.

— Может быть, может быть, — замедленно сказал Анискин. — Может быть, не ты увел аккордеон, Григорий Сторожевой, а может быть, ты... Это дело я еще в точности не знаю, а вот... Ну-кось, пройдем к дверям, Григорий Сторожевой. Я и глину сличу и... Ну-кось, пройдем, Григорий Сторожевой!

— Я открыл дверь... — сказал Гришка. — А аккордеон не уводил.

В клубе все еще пулеметом стрекотал аппарат, шел еще фильм «Берегись автомобиля!», но ребятишки уже кричали освобожденно, как всегда бывает перед концом сеанса, и ждалось, что вот-вот распахнутся двери, повалит мелкая ребячья толпа. Да, время шло к девяти, и к клубу двигались по-воскресному нарядные пожилые колхозники, смеялись девчата и парни, где-то уже погуживала растрепанным голосом трехрядка.

— Завклубом говорит, — усмехнувшись сказал Анискин, — что дверь можно открыть простым потрясыванием... Нет, брат, шалишь! Трясти-то ее, конечно, надо, но и высокий рост нужен, чтобы надавить сверху. Крючок-то верховой... Вот я и вырешил, что только два человека в деревне дверь-то могут открыть — я да ты, Григорий Сторожевой... А!

— Не брал я аккордеон, дядя Анискин!

— А может, и брал! У меня ведь, Григорий Сторожевой, помимо двери, доказательства есть, — ответил участковый и сурово прицыкнул зубом. — Есть!

— Какие еще доказательства? — жалобно спросил Гришка, вынимая руки из карманов. — Это ведь что делается!

— Устные показания продавщицы Евдокии Мироновны Прониной! — официальным голосом ответил Анискин. — Она на следствии показала, что вы, Григорий Сторожевой, обретались у клуба во время дождя. Это раз! А во-вторых, вы при ней угрожали увести аккордеон...

— Врет она, врет! — окончательно испугавшись городского слога Анискина, закричал Гришка и замахал руками, словно открещиваясь. — Когда я мог говорить такое, если я с Дуськой и не разговариваю...

— Не разговариваешь? — вдруг удивленным шепотом перебил его Анискин и тоже взмахнул руками. — Это как так не разговариваешь?

Участковый на шаг отступил от тракториста, трижды поцыкал сразу всеми зубами и заложил руки за спину. Живот у него от этого, конечно, выпятился и рубаха на груди распахнулась, открыв седые длинные волосы.

— Эх, Григорий, Григорий Сторожевой, — горько сказал участковый. — Я тебя с пеленок знаю, уважение к тебе имею за ударную колхозную работу, вон стараюсь не думать, что ты у завклубом аккордеон увел, а ты мне врешь... Говоришь, что с Дуськой не разговариваешь!

— Не вру, дядя Анискин.

— Как это так не врешь, когда мне Евдокея сказала: «Мы с Гришкой Сторожевым поженихаться решили...» Эх, эх! — Он вяло махнул рукой. — Эх, эх!.. Ну, да ладно... Приходи завтра в девять часов вечера в кабинету — очну ставку с Прониной произведем... Эх!

Участковый словно нарочно не хотел смотреть на Гришку Сторожевого, который, притихнув, глядел на реку. Как давеча лицо продавщицы Дуськи, лицо парня освещали отблески голубых волн, губы подрагивали. Потом Сторожевой глубоко вздохнул и тихонько пошел в сторону, противоположную той, куда хотел направиться участковый.

Анискин шел да шел себе до тех пор, пока не оказался за клубным углом, из-за которого хорошо виделась улица. Здесь участковый остановился.

— Так! — сказал он. — Эдак!

Среди густой уже и шумной толпы к клубу величаво шли трое братьев Паньковых — впереди, как всегда, вышагивал Сенька, за ним — Борис и Володька; как всегда, братья были одеты одинаково и по-одинаковому грозно выпячивали груди и прищуривали черные монгольские глаза — крепкие, такие коренастые, что казались квадратными. Братья Паньковы клином врезались в группу парней на крыльце, расшвыряв их, протиснулись к кассовому окошку.

— Так! — повторил Анискин. — Эдак!

Братья Паньковы всего только прошли сквозь толпу, только, купив билеты, картинно остановились на крыльце, а молодежь притихла — гас смех в стайке девчат на ясельной завалинке, отвели велосипеды от клуба те пять-шесть парней, которые в кино идти не собирались, отошли от крыльца, опасливо посмотрев на братьев, парочки. И тихо стало у клуба, как на поминках, когда только садятся за стол.

— Ну, ладно! — пробурчал Анискин. — Пойду!

Участковый вышел на клубную площадку, видный всей толпе, героическим усилием нагнулся, почистив сандалии от пыли, распрямился и увидел то, что хотел, — спустившись с крыльца, братья Паньковы скромно стояли в толпе, но все равно вокруг них образовалась пустота. Вот в нее-то Анискин и вошел, выпуклыми рачьими глазами посмотрел на братьев, держа себя так, словно вокруг не стояли десятки людей, небрежным, обидным жестом поманил братьев к себе:

— Ну, подходите по одному, срамцы! И шагайте-ка за мной...

Анискин увел братьев Паньковых за клуб, привалившись спиной к оштукатуренной стене кинобудки, послушал, как еще стрекочет аппарат, как, собираясь бежать на улицу, оголтело кричат ребятишки и, непонятно улыбнувшись, принялся разглядывать братьев тихими, задумчивыми глазами — с ног до головы, вовнутрь и через, осмотрел старшего, Сеньку, потом среднего, Бориса, потом младшего, Володьку.

— Из клуба аккордеон увели, а я с вами возись! — задумчиво сказал он. — Тут Гришка Сторожевой еще...

Участковый мелодично засмеялся, когда, услышав имя тракториста, Сенька Паньков сжал кулаки, а младшие братья подались к нему и примкнули плечами. Ну, стеной стояли братья возле Анискина — квадратные, бугристые от мускулов под рубашками и с узкими черными глазами оттого, что узкоглазой хохотуньей, работящей и свойской участковому бабой была их мать Прасковья, вылившая братьев точной копией с себя. «Эх, Праскева, Праскева! — подумал Анискин. — Всех ты мер баба, отчего же у тебя ребята такие звероватые? Вот этого никогда не понять!»

— Ну, валите в кино! — сказал Анискин, так как аппарат за стенкой примолк, а из клуба с воем поперли ребятишки. — Валите в кино, братовья... Вот будет свободное время, я с вами разберусь...

Участковый отклеил спину от стены, разделив братьев пузом, прошел между ними и сразу же врезался в толпу выходящих из клуба ребятишек. Самые высокие из них были Анискину по сосок, он сверху пошарил глазами по детским головкам, выбрав одну — почернявее и покрупнее, — схватил мальчишонку за подол рубахи.

— Вот ты, Колька Сидоров, — сказал он. — Немедля бери ноги в руки да беги к продавщице тете Дусе. И спроси ты у нее, Колька Сидоров, кто в этом годе, кроме меня и Гришки Сторожевого, брал кирзовые сапоги сорок пятого размера... Повтори, Колька Сидоров.

Правильно повторив приказание участкового, Колька с тремя добровольно сопровождающими убежал в сельповский магазин, а участковый вернулся к крыльцу, чтобы посмотреть, как быстро входит в клуб народ. Он за ручку поздоровался с председателем сельсовета Коровиным, отдельно, без ручки, поприветствовал жену колхозного председателя, кивнул головой тракторному бригадиру дяде Ивану, директору восьмилетки и стал ждать, когда к нему подойдут жена Глафира и средний сын Федор.

— Повремените минутку! — попросил он их. — Дело есть.

Жена участкового Глафира была в шелковом платье и туфлях на полувысоком каблуке, голову повязала серой косынкой, а в руке держала чистый носовой платок. Средний же сын Федор, названный так в честь отца, был тракторист как тракторист, без особенных примет: черные брюки, рубашка с закатанными рукавами и брезентовые штиблеты. Лицом, как и мелковатой фигурой, Федор походил на мать.

— Не нашел аккордеон, — шепнул Анискин жене и среднему сыну. — Так что рано не ждите...

— Ладно! — ответила жена и пошла к клубу, но остановилась. Это все они, Анискины, были такие, что уходили не сразу.

— Ты когда найдешь его, аккордеон-то? — негромко, чтобы никто не слышал, спросила жена.

— Завтра, — ответил Анискин. — Я так думаю, что к вечеру. Часам к девяти.

Жена Глафира еще поднималась вразвалочку на клубное крыльцо, еще сын Федор только протягивал контролерше билет, а вдоль улицы прокатился стукоток босых ног — это возвращался Колька Сидоров с тремя товарищами. Запыхавшись, они подбежали к участковому. Колька с размаху ударился Анискину в живот — сразу не мог остановиться — и скороговоркой доложил:

— Она сказала, дядя Анискин, что никто не брал. Только ты да дядя Гриша.

— Так! — прищурился Анискин. — Эдак!

Он посмотрел на афишу «Берегись автомобиля!», увидел, что весь народ в двери уже вошел, и тишина приползла на маленькую клубную площадку. Потом брови у Анискина задрались на лоб, губы сделались лукавыми, а правую руку он легко положил на чернявую голову Кольки Сидорова.

— Ишь ты! — сказал участковый. — Ежели бы дело происходило в кино, то следователь непременно бы заохал: «Двадцать седьмая версия негодная...» А вот мы на это дело еще будем посмотреть. Очень даже еще будем посмотреть, Колька ты Сидоров, Анастасеи ты Сидоровой сын... — Энергичным шагом, держа руки за спиной, участковый двинулся по улице, Колька Сидоров с товарищами — за ним. Вскоре все пятеро исчезли за поворотом.

6

Понемногу темнело, висела над Обью крутая луна, и посвистывали в палисадниках ночные птицы, когда Анискин, побывав неизвестно еще где, поднимался на крыльцо больнички. Из всех людей в мире участковый, провоевавший четыре года на двух фронтах Отечественной войны и раненный еще в гражданскую, выше всего ценил врачей и потому на крыльцо поднимался осторожненько, стараясь при своем стодвадцатикилограммовом весе досками ни разу не скрипнуть.

— Ай! — постучав в дверь, промолвил он. — Ай, кто есть?

— Войдите, войдите.

При свете электрической лампочки в той комнатенке, которая называлась приемным покоем, сидел деревенский врач Яков Кириллович, держа книгу на вытянутой руке, читал, пошевеливая губами от напряжения. А когда Анис-

кин вежливо поздоровался, то Яков Кириллович только протяжно мыкнул и кивнул головой на стул: дескать, садись и молчи.

— Спасибо, Яков Кириллович!

В приемном покое висели плакаты с увеличенными мухами, цветными кишками, с призывами это не есть, это не пить, не курить и не ходить к бабам-знахаркам. Как и в колхозной конторе, каждый плакат и картинка Анискину были знакомы до мелочей, но над больничными плакатами участковый насмехаться не стал, а, сев на стул, повернулся к Якову Кирилловичу и, скромно улыбнувшись, спросил:

— Никак, Библию читаете, Яков Кириллович? Я как вошел, так сразу удивился. Чего это, думаю, Яков Кириллович на божественное потянулся?.. — После этих слов Анискин склонил голову набок и задумчиво продолжал: — Вот сколь я врачей ни знаю, все безбожники...

— Федор, — отрываясь от Библии и сердито мотая головой, перебил его Яков Кириллович. — Федор, я тебя сорок лет прошу не называть меня врачом... Вот и впредь запомни: я не врач, а фельдшер царского военного времени...

Яков Кириллович снова мотнул головой, как лошадь, что отбивается от паута, и, фыркнув, вернулся к прерванному чтению. Он, Яков Кириллович, был такой худой и длинный, что, осматривая больного, случалось, задирал на себе рубаху и говорил: «У вас, батенька мой, сломано вот это, седьмое ребро! Отчетливо видите?» И вправду, седьмое ребро на Якове Кирилловиче виднелось отчетливо, как на скелете...

— И впредь прошу не забывать, — повторил Яков Кириллович, углубляясь в Библию. — Не забывать, не забывать...

Приемный покой был мал, всегда одно окошко смотрело в ночь, но в комнатушке была такая пугающая чистота, что казалось, в приемном покое нет ни звука. Молчал и только поблескивал круглый — то ли чан, то ли кастрюля — предмет для ваты и бинтов, недвижно стояли два белых шкафа с разными инструментами, таилась в углу такая белая кушетка, что не только сесть, а подуть-то на нее было страшно.

— Врач не врач вы, Яков Кириллович, — после молчания сказал участковый, — но только знаете в сто раз больше другого врача: вы и по внутреннему, вы и по наружному и по всякому другому... Вас, Яков Кириллович, весь народ в деревне уважает, а только я в толк не возьму, чего вы это Библию читаете...

Яков Кириллович молчал, и Анискин ответа насчет Библии добиваться не стал, хотя был любопытен, как сорока. Вместо этого участковый начал внимательно разглядывать собственные ногти — большие выросли, и, надо сказать, даже очень большие, как у городской барышни. И, конечно, от дикой больничной чистоты казалось, что руки несвежие, грязные, словно у мальчишки весной.

— Вот интересно, — потом сказал Анискин, — врут эти часы или нет?

— Эти часы стоят! — сердито ответил Яков Кириллович. — А Библию, милый мой, я читаю потому, что многим писателям надо поучиться писать так, как писали авторы Библии... Впрочем, голубчик мой, — тут Яков Кириллович остановился и сардонически улыбнулся, — впрочем, что для тебя, Федор, блаженный Августин? Тебе Шерлок Холмс, Шерлок Холмс!

— Вот и из-за него-то, — тонко улыбнулся Анискин, — я и пришел... То есть из-за Шерлока Холмса...

После этих слов участкового Яков Кириллович Библию закрыл насовсем, встал во всю свою длину, сняв очки, посмотрел на Анискина такими глубоко запавшими глазами, что они казались сплошными с темными веками и потому огромными. Яков Кириллович всегда был серьезен, словно с утра до вечера делал операции, а тут и вовсе сделался каменным.

— Ага! — проговорил он. — Ты, милый мой, аккордеон не можешь найти!

— Не могу, Яков Кириллович! — облегченно признался Анискин и тоже встал. — Ниточка у меня есть, Яков Кириллович, но если я ошибку дам, то этот человек из-под моего авторитета навек выйдет и деревне от этого плохо сделается...

— Деревне?

— Ну, не всей деревне, Яков Кириллович, — торопливо ответил Анискин, — а многим... Да нет, Яков Кириллович...

Смешавшись, участковый плюхнулся толстым задом обратно на стул и снизу посмотрел на фельдшера точно так, как недавно на него самого смотрел Гришка Сторожевой. Яков Кириллович, однако, ничего этого не заметил, а индюшачьим шагом — подрагивая ногами — прошел по приемному покою, сграбастал участкового за плечи костлявыми пальцами, больно сдавил их и приказал:

— Выкладывай, Федор!

Анискин сначала поморщился от боли в плече, потом непонятно улыбнулся и ответил:

— Эти Шерлоки Холмсы, эти штукари из райотдела по подошве рост человека вырисовывают... Глянет штукарь через лупу на след и сразу: «Рост сто восемьдесят шесть!» Так вот вы мне скажите, Яков Кириллович, а обратный ход это штукарство имеет?

— Не понял, Федор! — ответил Яков Кириллович. — Слов у тебя много, а толку нет...

— Ну как же нет! — обиделся Анискин. — Вот я и спрашиваю, а по росту сапог можно определить?.. Вот если человек роста малень-

кого, но широкий, как обезьяна, у него может быть сапог сорок пятого размера?

— Видишь ли, Федор, — помолчав, сухо ответил Яков Кириллович, — я не знаю и, признаться, знать не хочу, что выделывают штукари, но мне известен человек, который при росте примерно сто шестьдесят пять сантиметров носит обувь сорок пятого размера... — Яков Кириллович иронически улыбнулся. — При теперешнем раннем развитии, милый мой, девочка в шестнадцать лет — барышня. Да-с! Позволь заметить, любезный, что ваша дражайшая доченька Зинаида хоть и рано созрела, но работать не хочет.

Яков Кириллович поднял палец и, как шпагой, помахал им в воздухе. Потом он наклонился и стал преспокойно наблюдать, как участковый Анискин, начиная с массивной шеи, медленно краснел. Вот краска с шеи перешла на скулы, со скул — на щеки, а потом, казалось, пропитала все лицо, и оно сделалось сплошь красным.

— Яков Кириллович, вы сказали... — пробормотал Анискин, — вы сказали...

— Я что сказал, то и сказал, любезнейший! Да-с!..

Еще секунды три постояв над участковым, Яков Кириллович сжалился над ним, выпрямился и сказал почти спокойно:

— Тот человек, который тебе нужен, Федор, ко мне приходил в четверг просить бюллетень... Бюллетень он не получил, но я его взвесил и измерил рост... Да-с! Я, милый мой, шестьдесят лет за весом и ростом аборигенов деревни слежу и делаю ра-а-азительные выводы. Ра-а-азительные!

— Какие же, Яков Кириллович! — льстиво спросил участковый. — Вы до выводов человек очень уважаемый, Яков Кириллович, так интересно, какой?

— Вывод, любезный, таков, что скоро русскому мужику жить негде будет. Не иначе-с! — ответил Яков Кириллович.

— Это как так?

— А вот так, что появились квартиранты, любезный мой! — гневно ответил Яков Кириллович. — А вот в прежние времена, когда я учился на фельдшера царского военного времени, русский мужик комнату у русского крестьянина не сымал. Да-с!

— Но!

— Вы не нокайте на меня, любезный, — совсем разъярился Яков Кириллович. — Я вас на тридцать лет старше, а возьмите себе за труд быть наблюдательным, коли вы бредите лаврами Шерлока Холмса. — Он начал загибать пальцы: — Комбайнер Прошин снимает комнату — снимает, тракторист Помозов снимает две комнаты — снимает, больной гипертонией Яблочкин с семьей снимает дом — снимает... Антисанитария? А-с? Я вас спрашиваю, милый мой!

— Она, — вкрадчиво ответил Анискин и торопливо добавил: — А ведь у меня к вам, Яков Кириллович, еще один вопросик...

— Нуте-с!

Анискин поднялся, приблизившись к Якову Кирилловичу, ласково и тихо посмотрел на его худую, нескладную фигуру, на тонкие руки в толстых склеротических венах, на такую сутулую спину, что она казалась горбатой, и ему вдруг стало так хорошо, как было когда-то, давным-давно, в далеком детстве, когда над лежанкой выздоравливающего от глотошной Федюньки Анискина наклонялось костистое лицо молодого Якова Кирилловича — человека странного тем, что он был «сосланный большевик», но дорогого и родного до слез... Сто лет, кажется, прошло с тех пор, но и через сто лет от Якова Кирилловича пахло так же, как в детстве: душно и сладко, тягуче и волнующе, — пахло каплями, которые Федюнька любил до смерти и которые назывались, как он узнал позже, диковинно: «Капли датского короля».

— Вы, если можете, Яков Кириллович, — сказал Анискин, — дайте и мне как-нибудь Библию почитать... Любопытно... А вопрос у меня, Яков Кириллович, обременительный для вас, трудный.

— Говори, говори, экий ты болтун, Федор!

— Сейчас скажу...

Анискин шагнул в сторону от Якова Кирилловича, пожмурился на яркую лампочку, озабоченно поцыкав зубом, сел вдруг на кушетку, к которой раньше и прикоснуться боялся.

— Нашему брату-милиционеру, Яков Кириллович, — негромко сказал он, — работать тяжело стало. Просто так тяжело, Яков Кириллович, что хоть стой, хоть падай...

— А-а-а-а, батенька, а-а-а-а! — радостно протянул Яков Кириллович. — А-а-а, дражайший мой! А-а-а! — Яков Кириллович неожиданно мягко улыбнулся и сказал: — Ну, в чем твоя нужда, Федор? Ты, милый мой, и раньше был неплох, что же тебя тревожит теперь?.. Говори, Федор.

— Нужда у меня такая! — просто ответил участковый. — Я сегодня, когда про аккордеон услышал, было стал грешить на Леньку Колотовкина. Конечно, он пять лет воровством и хулиганством не займается, но мне все равно его алиби надо... Тут загвоздка в том, Яков Кириллович, что возле клубных дверей есть еще и след от кирзы сорокового размера. А это сапог Леньки Колотовкина.

— Чего же ты от меня хочешь, Федор?

— Видите ли, Яков Кириллович, если я сам к Леньке за алиби пойду, я его могу обидеть...

— Отлично, Федор!

Яков Кириллович встал, положил в карман пачку папирос — фельдшер в возрасте восьмидесяти шести лет курил, — накинул на костлявые плечи белый полотняный пиджак и взял в руки тоненькую пижонскую тросточку.

— Грядем, Федор! — сказал он. — У матери Леонида Колотовкина грыжа белой линии. Таким образом, я никаких подозрений не вызову... Шагай за мной, Федор!

Они вышли на улицу, где уже вызвездило чистое небо, висел тот же крутой, но еще увеличившийся месяц, и по светлой дороге, пересеченной лунными полосами от досок палисадников, двинулись к дому Леньки Колотовкина. Костлявый Яков Кириллович по привычке ходить по деревням пешком двигался быстро, легкомысленной тросточкой постукивал по земле весело, но Анискин от него не отставал. У дома Леньки Колотовкина, который был в кино, Анискин сел на лавочку, а Яков Кириллович ушел в дом.

Ни одна собака в деревне на фельдшера не лаяла, у всех калиток он знал, как открываются запоры, потому Яков Кириллович во двор проник мгновенно, в дом — еще быстрее, и стук его палочки затих. Оставшись в тишине и лунном сиянии, участковый уперся спиной в горотьбу, раза два-три вобрал в легкие сладкий ночной воздух и шевелиться перестал. Многопудовой глыбой сидел он на скамеечке, в темноте похожий на несколько сложенных в кучу мешков.

Звезды светили ярко. Добрый десяток их Анискин знал хорошо, умел определять по звездам время и погоду, так что ему не скучно было наедине с таким простором и такой величественностью, от которой кружилась голова. По хвосту Чумацкого Воза можно было полагать, что неделю еще — не меньше! — простоят сушь и безветрие, а также понять, что, называя Большую Медведицу Чумацким Возом, участковый Анискин выдавал свое происхождение: он был потомком тех украинских крестьян, которых Екатерина Вторая за строптивость ссылала в Сибирь, где они обрусели, перемешались с русскими, остяками и татарами, но хранили еще слова и некоторые обычаи своей теплой и далекой родины.

— Отлично, Федор! — выходя из дома Леньки Колотовкина, сказал Яков Кириллович. — Леонид с десяти вечера до шести утра был дома... Ты почему молчишь? Думаешь, я нарушил твою конспирацию... Ну, милый мой, насчет конспирации я тебе могу сказать...

— Я потому молчу, Яков Кириллович, — ласково ответил Анискин, — что у меня теперь совесть в три раза чище, чем полчаса тому... Ведь мне теперь, Яков Кириллович, по деревне легкой ногой бегается. А за Леньку Колотовкина я шибко радый: он моим ребятам — сродный брат. Вы ведь знаете, Яков Кириллович, что моя Глафира и Ленькина мать — родные сестры...

— Еще бы... И ту и другую принимал!

7

После одиннадцати часов, когда уже давно кончилось кино и в затемнениях — на скамейках и просто так, на ногах, — виделись тихие парочки, белый от лунного света Анискин, глядя только и только прямо перед собой, проследовал к клубу. Здесь он остановился, подышал свежим воздухом и тихонько постучал в то окошко, за которым скрывался пустой от аккордеона шкаф.

— Геннадий Николаевич, — позвал он, — выдьте-ка на час...

Заведующий клубом вышел не сразу — сначала за окнами раздался мужественный кашель, потом его голос пропел: «Хотят ли русские войны...» — и уж затем погас свет. Через секундочку Геннадий Николаевич вышел на крыльцо, приглядываясь к лунной ночи после света, поднял голову, а руки трагически сложил на груди.

— Кто потревожил артиста? — пышным басом спросил он. — Кто, отзовись из мрака?

— Это я вас потревожил, Геннадий Николаевич, — ответил Анискин и мелко-мелко засмеялся. — Сегодня тоже выпили, Геннадий Николаевич? То-то я в щелочку смотрю: поллитрия на столе, а Евдокии Мироновны нету?.. Не пришла?

Геннадий Николаевич по-прежнему величественно молчал, потом отрешенно встряхнул головой, на прямых ногах спустился с крыльца и подшагал к участковому — щупленький, узенький, но прямой. Он сверкнул на Анискина глазами и отставил правую ногу.

— Да, артист пьян! — жутким голосом произнес заведующий. — А почему? — вдруг живо спросил он. — Почему?

— А потому, что аккордеон увели и Евдокия Мироновна не пожаловали, — быстренько ответил Анискин. — А еще потому, Геннадий Николаевич, что вы от огорчения всю поллитрочку выпили. Я в окошко-то взглянул — там и на донышке нету...

— О толпа, толпа! Что тебе надо от несчастного артиста, участковый уполномоченный?

— А мне то надо, — неожиданно сердито ответил Анискин, — что я хотел от вас помощи, чтобы найти аккордеон... Сам я балалайки от дуды не отличу — так что на вас надеялся.

— Найти аккордеон? — Геннадий Николаевич покачнулся, потеряв равновесие, трагические руки с груди снял и от этого довольно осмысленно взглянул на участкового. — Найти аккордеон!

Затем в ясной тишине и безветрии ночи произошли невиданные вещи: на глазах изумленного Анискина заведующий выхватил из кармана бутылочку с какой-то дрянью, вырвав пробку, поднес ее к носу, несколько раз понюхав и отчаянно замотав головой, чихнул так сильно, что по узкому телу прошла дрожь. От этой дрожи Геннадий Николаевич потешно подпрыгнул на месте, опустился на землю и окончательно поразил Анискина тем, что на резвых ногах вдруг мгновенно удрал за клуб.

— Ах, ах! — только и прокудахтал Анискин. — Ах, ах!

Не прошло и минуты, как заведующий стремглав выскочил из-за угла, с дрожащим воем пронесся по клубной площадке и, раскинув руки крестом, стал вихляться из стороны в сторону. Так как с Геннадия Николаевича стекали водопадные потоки воды и так как он был мокрым до пояса, то Анискин мгновенно сообразил, что Геннадий Николаевич нырнул головой в бочку, которая стояла в противопожарных целях за углом клуба. А так как от заведующего пахнуло еще и лягушачьей сыростью — вода в бочке прокисла от жары, — то участковый выпучил глаза и схватился руками за живот: хохотать.

Хохотал участковый минуты две. В это время Геннадий Николаевич приплясывал, чтобы сбить с себя воду, зеленую ряску и головастиков, доплясался до того, что потерял дыхание и, запыхавшись, остановился. Как раз к этому времени Анискин отпустил живот, икая, проговорил:

— Ох, я беспременно умру, ох, я до затрева дня не доживу... Ох, у меня в грудях схватило...

Участковый неверными шагами подошел к крыльцу, уцепился за перила и повис на них мешок мешком.

— Ой, да что вы это произвели с собой, Геннадий Николаевич? — стонал Анискин. — Ой, да чего же это вы сделали?.. В той ведь бочке скоро лягушки выведутся...

— Простите нижайше, Федор Иванович, — почти трезвым голосом сказал заведующий. — Миль пардон, но артист должен уметь в любую минуту привести себя в порядок. Так что вы говорили про аккордеон, Федор Иваныч?

Перестав окончательно хохотать, участковый подошел к заведующему, с искренним уважением посмотрел на его мокрые и зеленоватые одежды и сказал:

— Я так полагаю, Геннадий Николаевич, что вор среди ночи на аккордеоне хоть раз да пискнет. Во-первых, сказать, вор молодой, во-вторых, аккордеон перламутровый, а в-третьих, Геннадий Николаевич, как вы сами говорите, два регистра... Так что идите за мной и помогите своим замечательным слухом...

— Я готов! — ответил заведующий. — За вами и за аккордеоном хоть на край света...

Однако они пошли не на край света и даже не на край деревни. Участковый сперва метров двести отшагал по той улице, на которой стоял клуб, затем свернул в коротенький переулок, сплошь заросший белыми от луны лопухами и вредными для коров вехами: из переулка двинулся к той маленькой горушке, где росли прямые березы, а чуть подальше стояли вразнотык почерневшие кресты — как и полагалось, деревенское кладбище находилось на возвышенности, но на самый пупок участковый не пошел, а остановился ниже крестов.

— Тут-то мы и сядем, — негромко сказал он. — Шестнадцать домов видать и слыхать, Геннадий Николаевич...

Действительно, с уклона кладбищенской горушки просматривался порядочный кусок деревни, просторные ограды шестнадцати домов и несколько бань. Все это в лунном свете виделось хорошо, ясно, но все-таки на дома, бани и огороды долго глядеть было трудно, так как выше их, вздымаясь к небу, как море, серебряная, но с золотой лунной полоской посередине, лежала Обь — два километра от берега к берегу. Полнеба, рясно усыпанного звездами, занимала великая река да еще и тянулась к ковшу Чумацкого Воза ласковым, нежным, фосфоресцирующим сиянием. И так же ярко, как звезды на небе, горели на реке огоньки уходящего за излучину Оби парохода «Пролетарий», который в сентябре в деревне останавливался через раз. Пароход уходил беззвучно, светила тихо луна, чернел на берегу старый осокорь, и казалось, что тишина звучит низкой гитарной струной.

— Федор Иванович, а Федор Иванович, — шепотом позвал заведующий, и от этого его голос сделался простым, человеческим. — Федор Иванович, хочется встать и снять шляпу...

Шляпы у заведующего не было, не было под мокрой рубахой, распахнутой на груди, и майки, потому участковый осторожно передохнул, повозился немножко, устраивая голову на мягкой траве, и притих так же, как строго тихи были за его спиной небо, звезды и покосившиеся кресты, похожие на маленькие часовенки и на стрелы, что молча и ожидающе смотрят в ночное небо.

— Два года я здесь живу, — прошептал заведующий, — а в первый раз... Каждый вечер, каждый вечер, о, боже! И это вместо того, чтобы слушать тишину вечности...

— Вы не тишину вечности слушайте, а аккордеон, — ответил Анискин, по-хорошему улыбнувшись. — Притихнем, Геннадий Николаевич!

Тишина была тесно населена звуками: скрипнул сонный, отчего-то проснувшийся кузнечик, покатился с горушки камешек, очевидно, стронутый жуком, проскрипела на Оби уключина, плеснула волна под глинистым яром, тревожно

мыкнула корова, и вдруг гулко пронесся над рекой и березами, над крестами и горушкой больной голос ночной птицы, похожий на плач ребенка в пустом вокзальном зале. Птичий крик пробежал накатом, отразившись в березах, повторился, а потом, как всегда бывает дремучей таежной ночью, наступила такая тишина, в которой слышалось, как в собственной груди тревожно ударяет в ребра сердце.

— Ой-о-о-о-ой! — вздохнул Геннадий Николаевич. — Боже, боже!

Анискин молчал. Он знал, что больной и страшный голос принадлежит забавной серенькой пичужке с веселыми желтыми ободками под глазами, что замычала корова Чернушка, которой через два-три дня телиться, помнил, что на лодке едет дядя Игнат — проверять бакены на Оби, но все равно почувствовал, как за воротник пробираются пупырчатые пальцы. То ли оттого, что Геннадий Николаевич, словно распятый, лежал на земле в тоске и похмелье, то ли оттого, что за спиной глядели в небо черные стрелы и на могильной ограде сидела жестяная сова, холод прополз по спине, обернулся на грудь и вошел в нее медленно, как стальное лезвие ножа... Показалось, что на горушке прошелестели шаги, раздалась трава, острая лопата вонзилась в сладко-сырую землю... Свист ветра, голубой снег, заячьи следы на нем, как дорога, весенний разлив Оби, липкий сок на березе, грибной дождь, когда слышно, как с крыш падают тяжелые, как дробинки, капли: кап-кап... «Кап!» — вдруг явственно послышалось Анискину, и он вздрогнул...

— С вас, Геннадий Николаевич, вода капает! — глухим, ослепшим шепотом вымолвил Анискин и неумело улыбнулся. — Еще не обсохли...

— Тише-е-е-е! — шепотом ответил Геннадий Николаевич. — Слежу за музыкальными инструментами...

Анискин поежился, помотал головой и тоже прислушался: где-то в середине шестнадцати домов, то ли у Анисимовых, то ли у Мурзиных, раздавался посторонний ночи звук.

— Это у Матюши Мурзина приемник на батареях, — сказал Анискин. — Вот сроду так: включит, взбодрится на кровать и слушает...

— Большой симфонический оркестр, — прошептал заведующий, — увертюра к «Онегину»...

И опять поползла, поползла тишина. Прошло еще, наверное, полчаса, по звездам было не меньше, чем двенадцать, когда за крайним левым домом отчетливо вспыхнул перебористый гармонный лад. Анискин вспорхнул, насторожился, но и сам понял, что это пел не аккордеон, — гармошка отчетливо выговаривала первую фразу, а потом протяжно запела «Подмосковные вечера».

— Комбайнер Заремба, — презрительно прошептал Геннадий Николаевич, — по слуху, черт бы его побрал...

Может быть, действительно гармонист играл по слуху, но «Подмосковные вечера» над деревней лились тихохонько и славно, за Лехой Зарембой непременно шли стайкой молчаливые девчата, и участковый стал в лад песне подергивать губой; кладбище за спиной притихло, стушевалось, с шелестом крыльев и недовольным пофыркиванием сова улетела куда-то за березы, наверное, в кедрачи. А «Подмосковные вечера» неторопливо прошли мимо домов, завернули в переулок, усилившись на повороте, стали утишиваться и утишиваться, пока не ушли совсем. Это Лешка Заремба свел девчат под яр — сидеть на бревнах.

— Ноты нужны деревне, ноты! — серьезно сказал Геннадий Николаевич. — Без нот деревня пропала...

Время потекло медленно. Участковый неслышно лег на спину, заложив руки за голову, закрыл глаза. Сперва он лежал просто так, свободно, но потом в голову поползли разные мысли. Вспомнилось, что надо посылать в райотдел протокол по ящуру — стой у каждого парохода, чтобы пассажиры, выходя гулять на берег, совали подметки в специальную жидкость; что в райотдел надо бы позвонить; живые они там, а может быть, всех рассовали уполномоченными на уборку; и что тот же райотдел вот уже полгода требовал, чтобы Анискин в деревне создал народную дружину по поддержанию общественного порядка и дисциплины.

Когда у Анискина в личной беседе потребовали создать дружину в первый раз, он, конечно, удивился и спросил: «А я чем буду заниматься? Дружина будет поддерживать общественный порядок, а я?.. Ну, я эти разговорчики раскусил! Вы в райотделе спите и во сне видите, чтобы меня на пенсию сослать... Конечно, ежели человек протоколы каждый день не пишет и шоферов в трубочку дышать не заставляет, а так знает, какой пьяный, а какой нет, то...» Во второй раз, на письменный циркуляр о дружинах, Анискин просто не ответил, в третий раз наколол письмо на гвоздик в уборной, а вот теперь, лежа на траве возле кладбища, участковый еще раз вспомнил о дружинах и вдруг сладостно, длинно улыбнулся. «Ну, Федор Анискин, — подумал он восторженно, — ну, ты, Федор Анискин, такая голова, что просто — голова...» Радуясь открытию, участковый про себя закудахтал и неожиданно подумал, что в этом самом райотделе, с которым он вечно спорил и схватывался, есть много хороших, толковых ребят. «Зря я их иногда костерю», — подумал он и, суетливо оперевшись о землю руками, начал подниматься, так как вдруг заметил, что, тоже приподнявшись и скло-

нив шею, заведующий выставил в сторону деревни большое хрящеватое ухо.

— Он! — звенящим шепотом проговорил Геннадий Николаевич. — Мой аккордеон... О, боже!

— В каком доме? — громко спросил Анискин. — В каком?

— Фа верхнего регистра... Мой, мой аккордеон!

Поняв наконец Анискина, Геннадий Николаевич вскочил, протянул руку в сторону левых домов и дрожащим голосом ответил:

— Точно где, не знаю, но где-то в огородах... О Федор Иванович, Федор Иванович!

— Шестьдесят лет Федор Иванович, — ответил участковый и, не поглядев на дома, легкой припрыжкой начал спускаться с горушки. Спуск был значительный: Анискин сперва благополучно удерживался, скользя сандалиями по влажной траве, потом не удержался и смешной рысью, подрагивая, как студень, побежал. Прямо перед участковым темнел тальниковый плетень, и участковый в него въехал пузом.

— Так твою перетак! — выругался он, выдирая из плетня подол рубахи. — Понастроят заборов, загородок...

Но когда Геннадий Николаевич бегом спустился с горушки и схватил участкового за рукав, Анискин мирно улыбнулся и сказал:

— Теперь вот что, Геннадий Николаевич! На горушке мы с вами, как последние дураки, не сидели, аккордеона не слышали, и вообще мы с вами вечером не встречались... Поняли, а? Еще раз говорю: поняли, а?

— Понял!

— Вот... Завтра вечером, когда стемнеет, получите аккордеон...

Анискин погрозил заведующему толстым пальцем, застегнул на вороте все пуговицы и величественной раскачкой пошел домой. Лешка Заремба под яром наигрывал девчатам «У незнакомого поселка, на безымянной высоте»; Чумацкий Воз, заметно повернувшись, глядел в Обь, от деревьев из палисадников уже тянулись по земле длинные-предлинные тени — это луна шла к кедрачам. Участковый бесшумно проник в свой дом, у порога снял сандалии, ступая на желтые пятки, начал продвигаться к цветастому пологу, за которым стояла его кровать.

За пологом Анискин разделся до трусов, почесал волосатую грудь и медленно стал опускаться на пружинную кровать — боялся скрипнуть. Это ему удалось: Анискин медленно выдохнул воздух, со спины сразу же перевернулся на бок и сунул руку под щеку, но тут послышался шепотливый голос жены:

— Нашел?

— Но.

После этого участковый мгновенно уснул.

8

Проснувшись в пять часов, Анискин, как всегда, несколько минут полежал в постели, поутреннему прицыкивая зубом, потом поднялся и в одних трусах подошел к часам-ходикам. Зевая и потягиваясь, участковый ухватился за цепочку часов, взбодрил гирю повыше и, выпучивая глаза, оглядел комнату, которая в доме называлась горенкой. Постель жены Глафиры уже была аккуратно застелена, пол вымыт и дышал легким парком, газеты и книги на клеенке стола лежали стопочкой.

— Так! — сурово сказал Анискин. — Эдак!

Громко постукивая по полу босыми пятками и нарочно громко сопя, Анискин подошел к той комнате, в которой спали средний сын Федор и младшая дочь Зинаида, распахнув ситцевую занавеску, заглянул в нее. Смотрел он недолго, затем непонятно улыбнулся и оглушительно хлопнул ладонью по дощатой перегородке.

— Вставать! — крикнул участковый. — Вставать!

После этого Анискин прямиком вышел на двор, кивнув жене Глафире, остановился возле дворового колодца с деревянной вертушкой, отполированной веревкой и руками. Участковый одной рукой снял бадью с края колодца, другой, придерживая вертушку, небрежно бросил бадью в зево сруба. Дико взвизгнув, вертушка завертелась, бадья пошла вниз, а участковый сухо улыбнулся: нравился ему звонкий голос колодца.

— Глафира, давай! — вытащив бадью, крикнул он. — Где ты там копаешься?

— А нигде!

Глафира взяла тяжелую бадью, Анискин нагнулся, растопырив руки, и Глафира, покачивая головой, вылила на него с размаху всю бадью. Вода в глубоком колодце была ледяной, от брызг Глафира попятилась и поежилась, но Анискин воду принял без голоса, не пошевельнулся, а, дав воде стечь, командно крикнул:

— Полотенце!

Вытершись и немного постояв, чтобы голое тело подышало воздухом, Анискин широким шагом поднялся на крыльцо, скрылся в доме, а когда вскоре появился, то на нем был не вчерашний наряд, а чуточку другой: рубаха была та же, но брюки поновее. Он фыркнул, помотал головой и осмотрелся. Было, наверное, уже половина шестого: солнце уже всходило за обскими кедрачами, и лучи катились по деревне. На улице и меж домами, похожий на марлевые полосы, стлался туман, и коровы, которых гнал на пастбище пастух Сидор, шагали по пояс в молочной дымке. Раздавалось мычание, гремели боталы, щелкал Сидоров бич, и кричал на коров звонким голосом подпасок Колька.

Выждав, когда стадо уйдет в переулок и и шум утишится, участковый спустился с крыльца, сердито покосившись на Глафиру, которая возилась возле уличной плиты, сел за стол, вкопанный в землю. Он поставил локти на столешницу, опустил на ладони подбородок и стал с милицейским прищуром смотреть на дверь дома.

Дверь спервоначалу была тиха, недвижна, но минутой спустя она быстро отворилась, и на крыльцо выбежал средний сын участкового Федор. По-особенному взглянув на отца, он поздоровался с матерью, спустился с крылечка и проделал все то же, что делал Анискин: достал воду из колодца, попросил мать вылить бадью на худые плечи, дать полотенце. Федор целиком подражал отцу, но участковый несколько раз недовольно цыкнул зубом: сын Федор ежился от воды и в ожидании воды полотенцем растирался вяло и смотрел вообще сонно.

— Шляются до утра... — пробормотал Анискин. — До трех часов...

Затем участковый сызнова стал смотреть на дверь — она опять несколько минут была немой и неподвижной, потом начала медленно-медленно, словно сама собой, открываться. Секунду-две за дверью никого не было, а уж затем появился светленький кусок материи и светленький локон — это выходила на свет божий семнадцатилетняя дочь участкового Зинаида. Она медленно-медленно, как пароход из-за мыса, выплыла на крыльцо и, застив глаза от солнца, остановилась. Дочь была в туфельках, юбка клешиком вилась вокруг ног, белел мысочек меж грудями, а на носике лежала пудра, так как Зинаида мылась не у колодца, а дома. То-то она и возюкалась пятнадцать минут!

— Так! — сказал Анискин. — Эдак!

Постно опустив загнутые рыжие ресницы, Зинаида подошла к отцу, слабым голоском неразборчиво — то ли «салют», то ли «приветик» — поздоровалась с ним и бочком, кусочком своей светленькой юбочки села на краешек скамьи. Мало того, Зинаида заглянула под стол, где росли лопухи, валялись щепочки, и ноги поставила аккуратно, меж лопухами и щепочками. Потом Зинаида подняла светлые большие глаза и, прищурившись, осмотрелась.

Дочь участкового увидела печку посередине двора и мать, которая хлопотала возле печи, колодезный сруб и ветхий забор, черную от времени дверь и такой же амбарчик, жирную свинью, похрюкивающую в лопухах, и рыжего петуха с преданными ему курицами, потом увидела тоже черный от времени, но большой дом Анискиных, покосившееся крылечко. Все это увидела Зинаида, на все посмотрела, но в ее глазах ничего не отразилось — ни презрения, ни недовольства, ни скуки, ни радости, ни гнева.

Ну вот совершенно пустыми остались глаза Зинаиды, когда она осмотрела родной дом и двор.

— Кхек! — приглушенно крякнул Анискин.

— Готов завтрак! — быстро сказала от плиты жена Глафира и, как всегда, беззвучно, но быстро поволокла к столу чугун с картофельным супом, огурцы и помидоры, открытую банку с консервами «мелкий частик», толстое сало и конфеты-подушечки с прилипшими на них сахаринками. Все это Глафира в три ходки поставила на стол, где уже имелись чашки, ложки, тарелки, подумав мгновение, снова ушла в дом и вернулась с зеленой тарелкой, на которой с одной стороны лежали желтые куски масла, а с другой — фиолетовые ломти какого-то повидла. Потом она разлила суп по чашкам.

— Снедайте! — сказала Глафира и, сложив руки на груди, столбом встала обочь стола — прислуживать мужу, среднему сыну Федору и младшей дочери Зинаиде. — Снедайте!

Дернув нижней губой, Анискин взял алюминиевую ложку, повернув ее так и эдак, рассмотрел на свет, сдул с ложки незаметные пылинки и медленно опустил ее в чашку с супом.

— Снедайте, снедайте, — тихо сказал участковый, — чего сидите.

Поднимая глаза от супа, Анискин видел, что Федор ест не быстро, не тихо, а средне, что Глафира по-прежнему столбом стоит возле стола и с тихой лаской глядит на них, а вот дочь Зинаида супа не ест. Тоненькими, прозрачными пальчиками она отщипнула от булки пшеничного хлеба кусочек, поднесла к губам, как семечко, закинула кусочек в рот и медленно-медленно пожевала. Что она жевала и как жевала, Зинаида, конечно, не знала, так как смотрела поверх головы отца в даль непонятную, в даль далекую. Личико у нее было прозрачное, носик прозрачный, а груди под кофточкой горой, а плечи — как у зрелой бабы, а ноги под столом — хоть гончарный круг верти.

— Вкусный суп! — сказал Анискин, очищая тарелку и нарочно макая в остатки супа кусок хлеба. — Такой вкусный суп, что язык проглотишь!

Отодвинув тарелку, участковый ласково-ласково посмотрел на дочь, потом на жену, потом — бегло — на среднего сына Федора.

— Глафира, а Глафира, — негромко позвал он. — Ты как считаешь, Яков Кириллович умный человек?

— Ну еще бы! — ответила жена. — Доктор же... Газеты все читат!

— Вот я тоже так кумекаю, — ответил участковый и медленно, как на шарнирах, повернулся к дочери. — Зинаида, а Зинаида?

— Я тебя слушаю, папа!

— Во-во, слушай, слушай! — Участковый положил руки на пузо, покрутил пальцами и мирно продолжал: — Никакую зиму ты к экзаменам готовиться не будешь, ни в какую библиотеку для виду работать не пойдешь, ни на какие вторые экзамены в Томск весной не поедешь...

— Анискин, — перебила Глафира, — Анискин...

— А ты, мать, помолчи! — не поворачивая головы, остановил ее участковый. — Ты мне, мать, тоже счас пригодишься... Так вот, родно мое дитятко, сымай-ка юбчоночку клешем да отваливай работать в колхоз... А ты, мать, — Анискин повернулся к жене, — а ты, мать, кончай-ка тунеядцев сладко кормить, они, мать, суп не едят... А ну, уноси со стола масло, когда сало есть... Тащи к ядрене-фене концервы, когда рыба есть! — Задохнувшись от гнева, Анискин вскочил, замахал руками, как ветряная мельница, передохнув два раза, сел на место и свистящим шепотом закончил: — Повидлу, повидлу — с глаз долой!

Когда Глафира с тусклым выражением на лице унесла все лишнее со стола, Анискин положил руки на освободившееся место, поглядел на притихших дочь и сына, набычив голову, сказал:

— Федор, вали на работу, как съешь суп, а Зинаида — сиди...

После того как Федор, взяв промасленную кепку, тихонечко ушел со двора, участковый встал, прошелся по жухлой траве и, остановившись, огляделся. Река была такой, какой бывает река на восходе шестичасового солнца; деревья в палисаднике на утреннем ветерке листьями пошевеливали жестянно, розовые блики, пошевеливаясь, как живые, бродили по двору. Радостно и ало было в мире, хорошо дышалось распахнутой груди, мягко стояли ноги на не успевшей остыть за ночь земле, но Анискин не улыбнулся, не подумал о том, что только утром, на прохладе и легком воздухе, ему самая хорошая жизнь.

— Сойди с моих глаз, Зинаида! — горько и тихо сказал участковый. — Меня совесть берет, когда я с разными лодырями спорюсь, меня совесть берет, когда Яков Кириллович про тебя разными намеками говорит... Я у него вчерась был, так со стыда сгорел... Сойди с моих глаз, Зинаида, и если ты завтра же в колхозе не будешь работать, и если я еще раз угляжу, как у тебя по утреннему времени из кофточки груди торчат, да если я еще раз от тебя услышу про молодо поколенье, то уходи из моего дому... А теперь вали переодевайся.

Зинаида медленно подошла к крыльцу, поднялась на две ступеньки и остановилась. Она была Анискиной и поэтому уходила не сразу. Вот она и обернулась к отцу, длинно посмотрела на него и пожала плечами. Потом она ушла в дом, а Глафира, все это время стоящая в стороне, наоборот, приблизилась к мужу, и Анискин голову опустил. Он неподвижно стоял до тех пор, пока Глафира осторожно не взяла его за плечо.

— Ты чего новы брюки поднадел? — спросила она. — В район, что ли?

— Да нет! — тихо ответил Анискин. — Не в район...

— А кого же?

— Перед народом буду выступать.

Они помолчали, и Глафира спросила:

— Чай, видно, не будешь уж пить?

— Но!

— Значит, пошел?

— Пошел.

9

Сначала Анискин зачем-то сходил в свой кабинет, пробыл там не меньше получаса, хотя вышел из него с пустыми руками; потом, поглядев на солнце, отправился к колхозной конторе — время приближалось к семи часам, и председатель Иван Иванович должен был уже составлять распорядок жизни на день.

Так оно и оказалось. Иван Иванович, прижимая щекой трубку телефона к уху, а руками что-то подписывая, сидел за столом в шумном окружении бригадиров, трактористов, доярок, командированного на уборку из района и бездельников, которые на корточках располагались возле стен и курили коротенькие окурки. Усмехнувшись давнему наблюдению, что лодыри всегда курят коротенькие цигарки, Анискин сел на диван.

— Кха-кха! — покашлял участковый, чтобы обозначить свое появление. — Кха-кха!

— Здравствуйте, Федор Иванович, — из кучи бригадиров ответил председатель и продолжал кричать в трубку: — Озимых — сто шестьдесят два, яровых — двадцать весемь, канав — два метра!..

Пока Иван Иванович кричал в трубку, бригадиры, трактористы и доярки из уважения к районному начальству помалкивали, но когда председатель облегченно положил трубку на рычаг, окружение загалдело и завопило. Кто-то противным от старательности голосом требовал установить на ферме ночное дежурство, доярка Игумнева — баба никчемная — кричала насчет фартуков, тракторный бригадир дядя Иван старался насчет горючего, шофер Павел Косой выкрикивал про автомобильную резину. Одним словом, большой был шум вок-

руг председателя Ивана Ивановича, и участковый, не терпевший бестолочи, сердито поморщился и начал рассматривать ту картинку, которую не успел рассмотреть вчера. Он так и эдак поворачивал голову, вникал во все тонкости и, конечно, прицыкивал зубом. «Молодой, молодой еще Иван Иванович, — сухо думал участковый. — И с людьми не умеет говорить по раздельности и всех под одну гребенку стрижет!»

Но когда в конторе совсем утихло, когда бригадиры, доярки и трактористы уехали на поля и ушли на фермы и в конторе остались только председатель Иван Иванович, парторг Сергей Тихонович и уполномоченный из района, участковый с дивана слез и подошел к председательскому столу.

— Иван Иванович, — вежливо сказал он. — Каждый, конечно, понимает, что уборка — дело сезонное, но штукари из райотдела пристали ко мне как банный лист. Подай им народну дружину — и вся недолга...

Анискин к столу подошел осторожно и деликатно, говорил ровным и спокойным голосом, ничего от Ивана Ивановича не требовал, и председатель вдруг расстегнул на вороте клетчатой рубахи две пуговицы и от этого вздохнул облегченно, как лошадь, с которой сняли седло. Иван Иванович увидел и понял, что на дворе всего седьмой час, что много дел уже сделано и что можно вытереть пот с черного от загара лица. И он вытер пот, и улыбнулся, и вдруг, кашлянув по-анискински, важно посмотрел на районного представителя.

— Какие же меры вы собираетесь принять, Федор Иванович, для создания дружины? — спросил Иван Иванович.

— А такие меры, что создам дружину! — ответил Анискин и тоже посмотрел на районного представителя. — Есть мнение, Иван Иванович, такую дружину создать, чтобы на весь район...

После этого Анискин сел на стул возле председательского стола и насовсем повернулся к районному представителю. Увидев это, председатель замигал обоими глазами, парторг скривился, словно у него болел зуб, но участковый и бровью не повел.

— Юрий Венедиктович, — вкрадчиво сказал Анискин. — Я вас, конечно, уважаю за то, что вы председатель ДОСААФа, но вопросик к вам имеется...

— Пожалуйста, товарищ участковый, — довольно бойко ответил уполномоченный, но глазами вильнул. — Со временем у меня плохо, товарищ Анискин, но... спрашивайте.

Однако участковый не торопился. Он сначала посмотрел за окошко, где под тихой машиной ползал на карачках шофер Павел Косой, потом послушал, как затихающе стрекочет у околицы трактор «Беларусь», увозивший женщин на поля, и уж затем коротко взглянул на районного уполномоченного — на длинные ноги в серых брюках, на толстый узел галстука и на черные блестящие волосы.

— Времени у вас, Юрий Венедиктович, конечно, нет! — протяжно сказал Анискин. — Откуда же у вас будет время, ежели у вас, Юрий Венедиктович, четыре раза на год отпуск? Вы ведь, гражданин хороший, один раз в год на южные курорты ездите, да три раза на наши, на северные — посевная, покос и уборка... Это как так?

Секунды три в кабинете стояла тишина. Потом уполномоченный чуточку приподнялся со стула, бледнея красивым лицом, замер, а затем стремительно вскочил.

— Я сообщу о вашем поведении в райком! — суетливо выкрикнул он. — Я поставлю вопрос на райкоме! Вы не лично меня подвергаете клевете, а райком, его решения... Я немедленно еду в район!

— Поезжайте, поезжайте, — насмешливо ответил Анискин. — Как вы уедете, у нас одним бездельником меньше станет... А? — тоже вскричал участковый и пружинисто встал. — Вы на меня, Юрий Венедиктович, страхолюдными глазами не смотрите. Я на своем веку таких уполномоченных видел, какие вам и во сне не приснятся. Я в партии с двадцатого года... Ишь как он на меня смотрит, ишь как смотрит...

Анискин прошелся по кабинету, на секунду прижался разгоряченным лбом к оконному стеклу, потом вернулся к столу и поспокойнее сказал:

— ...Сегодня ночью вы, Юрий Венедиктович, ночевали у Панки Волошиной... А?! — выкрикнул Анискин, так как уполномоченный опять начал подниматься. — А?! Я сам видел, как вы входили в дом Панки Волошиной, когда во втором часу ночи возвертался с... из одного места возвертался... А?!

После этого Анискин сел и нарочно замолчал. Вот молчал он — и баста, хотя председатель Иван Иванович не знал, куда руки положить, как сидеть, а парторг Сергей Тихонович, пятнами покраснев, смотрел в пол. Растерянными были парторг с председателем, и Анискин подумал: «Не закаленный, не закаленный еще народ. Каждого представителя боятся, характер слабый... Молоды, молоды еще!»

— Чего-то из «Сельхозтехники» не звонят? — пробормотал Иван Иванович. — Обещали же...

— Вот так, вот так, Юрий Венедиктович, — наконец смилостивился участковый. — Я как с ней по отдельности разобрался, то сам вижу, что Панка Волошина — баба неплохая,

но вы уж райком в деревне не позорьте... Что наши мужики зачнут делать, если вы, человек женатый да из району, по бабам ходите? Вы уж ежели приехали, то сидите себе на месте... — Он сухо улыбнулся. — Сидите себе на месте и читайте инструкции... Вам без этого дела — погибель! Вот наш председатель Иван Иванович сельхозтехникум кончил, парторг Сергей Тихонович — совпартшколу... А вы чего кончали? — Участковый прищурился. — Из райкома комсомола вас по возрасту попросили, вот вы и обретаетесь в ДОСААФе. Чего вы в хлеборобском деле понимаете? Так и сидите себе спокойно...

Анискин взял с председательского стола пресс-папье, поставив его, покачал, словно промокал, и сам себе улыбался — гневно, отъединенно.

— Ишь как он на меня смотрел! — пробормотал участковый. — Где только научился так смотреть...

А за окнами уж наступила тишина. Ушел на поле трактор «Беларусь», завел наконец машину и уехал на ней за грузом шофер Павел Косой, и теперь только рясные ветви черемухи да красные рябины негромко пошевеливались на ветерке — от них тоже шуму в кабинете было мало.

— До свидания, Юрий Венедиктович, — во второй раз смилостивился участковый. — До свидания, дорогой товарищ...

— До свидания!

Районный представитель сначала к дверям пошел задом, потом боком, затем резко повернулся и чуть не побежал, но, сдержав себя, пошел спокойно, хотя дверь прикрыл нервно — окна в кабинете заунывно пропели, а на столике-тумбочке зазвенели переходящие спортивные кубки. И опять наступила тишина — молча сидел председатель Иван Иванович, замер парторг, бесшумно поигрывал прозрачным пластмассовым пресс-папье сам участковый.

— Чего ты сегодня такой злой? — наконец спросил Иван Иванович. — Не нашел аккордеон, что ли?

— Нашел, — спокойно ответил участковый. — Нашел, Иван Иванович, а вот того понять не могу, чего ты этого бабника жалеешь? Он тебе разве не мешает?

— Еще как мешает! — сердито ответил Иван Иванович. — Припрется в кабинет, сядет и смотрит. Вот веришь, Федор Иванович, я под чужими глазами работать не могу — все из рук валится...

— Чего же ты его жалеешь?

— Человек все-таки... А потом... — Председатель озабоченно почесал небритый подбородок. — А потом, Федор Иванович, он хоть в нашем деле ни хрена и не понимает, а дело в райкоме может так изложить, что самое хорошее мероприятие плохим окажется. Говорить-то он мастак! Вон как на тебя окрысился: «Вы подвергаете клевете не меня, а райком, его решения!..» Сразу политику клеить начал!

— Политику он клеить не будет! — засмеялся Анискин. — И мешать тебе больше не будет... Сейчас пришел в заезжу и трясется, как лист... Он ведь такой трус, что не приведи господи... — Участковый сделал паузу и серьезно добавил: — Тут одна смешна сторона есть... Ведь ты учти, Иван Иванович, что к нам этого хлыща посылают, так это тебе похвала...

— Ну уж! — засмеялся председатель.

— Не «ну уж», а похвала! — еще серьезнее ответил участковый. — Когда дела в нашем колхозе плохо шли, то райком к нам толкового мужика присылал — тот мог и посоветовать... А теперь мы сами хорошо работаем, так и досаафовского штукаря можно прислать... Вот это нам лестно, Иван Иванович да Сергей Тихонович...

Они задумчиво молчали до тех пор, пока не зазвонил телефон, наверное, из «Сельхозтехники», и Анискин торопливо встал.

— Иван Иванович, ты мне вечером «газик» дай. Мне в три места съездить надо, а ты уж отъездишься. Лады?

— Возьми «газик», Федор Иванович, — хватаясь за трубку, ответил председатель. — Без шофера?

— Без шофера, Иван Иванович...

10

До двенадцати часов Анискин время провел обычно: после посещения колхозной конторы долго и неохотно писал что-то в своем кабинете, потом прочел несколько статей в позавчерашней газете «Правда», выписал несколько строчек на клочок серой оберточной бумаги, убил трех особенно нахальных тараканов и уж после этого из кабинета ушел. Так что между десятью и одиннадцатью часами участковый тихим шагом ходил возле молокотоварной фермы и делал вид, что ему интересен племенной бык Черномор, который не только стоял в крепкой загородке, но и был цепями привязан к двум столбам. Подивившись минут пять на Черномора, участковый побродил меж кучами навоза и бревнами; посмотрев на небо и определив, что двенадцать часов исполнилось, стал внимательно глядеть на широкие двери фермы. «Ах, жизнь, жизнь! — думал он. — Что это такое — жизнь, сам черт не знает...»

В двенадцать с четвертью из дверей фермы вышла доярка Прасковья Михайловна Панькова, застив глаза ладонью от солнца, посмотрела туда и сюда, крупно вздохнула и пошла узенькой тропочкой, что вела к деревне. Как и на всех

доярках колхоза, на ней был серый халат, голову повязывала когда-то белая, а теперь от трухи и пыли серая косынка, на ногах разношенно похлопывали резиновые сапоги. Прасковье Михайловне было за пятьдесят лет, морщины на лице лежали глубокие, и руки были доярочьи — крупные, потрескавшиеся, с больными, набухшими венами.

Увидев Прасковью Михайловну, участковый с бревна встал, подумав немного и склонив голову, пошел за ней. Он скоро нагнал ее, но, до тех пор пока была видна ферма, шагал молча. Затем же, когда тропинка вильнула и спряталась в тальниках, Анискин приблизился к Паньковой шагов на пять и весело крикнул:

— Праскева, ты, никак, в деревню? Погодь меня — вместях пойдем!

Прасковья Михайловна обернулась, узнав Анискина, тоже весело заулыбалась, а когда он совсем приблизился, крепко и лихо пожала ему руку.

— Здорово, Феденька! — сказала она и показала тридцать два молодых белых зуба. — Нет на тебя удержу — все толстеешь, черт!

— Толстею, толстею, Праскева! — ответил Анискин, смеясь. — Да и ты не худешь. Когда на танцульки бегала, то тебя в талии пальцами можно было перехватить, а теперь рази только двоим мужикам.

— А как же! — еще веселее пропела Прасковья Михайловна. — Не то что твоя Глафира! Ни здесь, ни здесь... Как ты с ней живешь-то, Феденька?

— А мне мяса много не надо, Праскева! — хохотал Анискин. — Я сам мясной... Мне много не надо!

Он хохотал и веселился оттого, что таких женщин, как Панькова, уважал здорово, разговаривать с ними любил до удивительности и всегда думал, что, если бы все женщины были такие, как Прасковья Михайловна, то на земле давно бы наступил обещанный рай. Как и большинство деревенских жителей, участковый полагал, что жизнь мужика зависит от бабы, что ею он силен и крепок.

Прасковья Михайловна Панькова была как раз такой женщиной, какой, по разумению Анискина, должны были быть все прочие. В колхозе она работала ударно и лихо, за доярочные дела имела орден Ленина, на собраниях председателю Ивану Ивановичу спуску не давала, в обхождении с мужиками была веселой, но гордой, с пустяшными бабами не сплетничала и не водилась, под рабочим серым халатом блюла себя в чистоте, а дом содержала, как игрушку. Вот почему участковый Анискин с Паньковой охотно шутил, смеялся и хохотал даже.

— Ну пошли, пошли, Праскева! — весело предложил Анискин. — Чего тут стоять, когда кругом кусты и на нас плохое подумать могут. Не дай бог, еще набежит Глафира, так выдерет твои черны-то глазенки. Ох, выдерет!

Смеялся Анискин, предлагал женщине идти, а сам помигивал растерянно, подергивал нижней губой, стоял на месте, не двигаясь, и уж тоскливо прицыкивал зубом. Ну, не было человека в деревне, которого бы он уважал больше, чем Прасковью Михайловну, разве только Якова Кирилловича...

— Ты чего, Федор, маешься? — спросила Панькова и перестала смеяться. — Ты на меня так смотришь, словно у меня что дома случилось. Может, с Виталием что?

— Нет, нет, — ответил Анискин. — Живой-здоровый твой Виталий...

Ивовые кусты росли вокруг них, пробивалось сквозь переплетенные прутья солнце, паутины покачивались в воздухе, высокая трава росла по сторонам тропинки — хорошо было, покойно. И свистела где-то, пела-попевала пташка малиновка. Участковый Анискин склонил голову, большие серые глаза уставил в землю, так как не всегда — ох, далеко не всегда! — мог он прямо глядеть в чужие глаза.

— С Зинаидой у меня плохо, Праскева, — печально сказал Анискин. — Твои вот парни работящие, в колхозе старательные, а моя — хоть ложись да помирай... С утра в туфельки подчапурится, носик припомадит, юбчонку покороче наденет — и пошла... Работать не хочет, супа не ест.

— Теперь многи девки такие! — тоже вздохнула Панькова. — Трех доярок на ферме не хватает, а они ходят руки в боки...

— Вот и моя такая же! Деревенские парни ей не по сердцу, на них фыркает... Ты веришь, Праскева, пятого дня смотрю: возле этого ферта из ДОСААФа хвостом вращат.

— Неужто?

— Сам видал... — ответил Анискин и понурил голову. — Я этого пьянюгу и лодыря за обеденный стол не посажу, а она для него голу кофточку надевает...

Покачивались ивовые кусты, в просвете меж ними белела стенами длинная ферма, а слева шла крутая загогулина Оби с лодкой и буксирным пароходом, что вел пять громадных барж. Буксир копошился на реке уж больше часу, и надо было полагать, что скроется за излучиной еще через час — так была велика Обь, и так тихо вел баржи с лесом трудяга-буксир.

— С парнями тоже нелегко! — вздохнув, сказала Панькова. — С ними тоже нелегко, Федор!

— А что? — после паузы спросил участковый.

— Злы каки-то растут да обособленны. — Прасковья Михайловна отступила шаг назад, отломила вершинку от засохшего тальника,

бесцельно подержала в руке. — Каки-то не так растут, Федор, как я мечтала...

Тихо сделалось среди тальниковых кустов. Прасковья Михайловна помахивала прутиком, Анискин глядел по-прежнему в землю, тальники двигались на ветре, пересекая вершинками большое расплывшееся солнце. Малиновка примолкла.

— Ты, Праскева, шибко не пугайся, — сказал Анискин, — большой беды не будет, но это ведь твои ребята у завклуба утащили аккордеон... У каждого своя беда, Праскева!

Вот теперь сделалось так тихо, что только по-мышиному скрипели тальники, только тяжело и хрипло дышала Прасковья Михайловна, сдирая медленной рукой с головы платок. Он сначала не поддавался — держался за пышные густые волосы, потом же с головы упал и повис длинно в руке женщины.

— Их Гришка Сторожевой побил за то, что всю деревню мордуют, — продолжал участковый, — так они порешили его под монастырь подвести. Думали, я за аккордеон Гришку схвачу...

Прасковья Михайловна молчала. Потом выпустила из левой руки ненужный прутик, платок, наоборот, подняла к груди и взялась за него так крепко, словно в нем было все, в этом платке.

— Чего же, Анискин, — сказала она, — это дело так и должно быть... Сам знаешь, какой у меня Виталий, сам знаешь, что смолоду все дни на ферме — вот и упустила ребят... — Она вдруг криво улыбнулась. — Это ведь не зря, Федор, про меня в областной газете писали: «Она надоила эшалон молока». Вот пока я доила его, ребята и выросли злыднями...

— Они в колхозе хорошо работают...

— Не успокаивай, Федор, чего там, — махнула платком Прасковья Михайловна. — Когда жалеют, не люблю... Где аккордеон-то? Ты уж взял его?

— Нет еще... Он в бане.

— Эх, баня, баня! — совсем неслышно вздохнула Панькова. — Говорила же Виталию перед войной: не строй баню далеко от дома, в ней ребятишки баловаться будут. А он построил... Он всегда характерный был... Ну чего же, идем, Федор...

Молча и тихо они прошли задами деревни к дому Паньковых, перелезли через ивовый плетень, не останавливаясь, так как Прасковья Михайловна шагала от горя ходко, подошли к черной от дыма бане. И только тут женщина дала себе передышку — остановилась, надела на голову платок и вдруг гордо задрала ее.

— Ну, Анискин, — четко сказала она. — Вот тебе — баня, вот тебе — дверь в баню, а вот тебе — я, мать... Бери аккордеон! Паньковы если грешат, то за грех отвечают... И в тюрьме люди живут!

Ничего не сказав, участковый вошел в баню, пробыл там мгновение и вырос на пороге толстой и сопящей фигурой. В левой руке он держал тяжелый аккордеон в чехле, а правой отирал со лба черное пятно сажи. Потом участковый отнес аккордеон шага на три, поставил его в густые лопухи, выпрямился и строго сказал:

— Хоть ты главная в доме, Прасковья, хоть и женщина, а мне все одно надо с Виталием словечком перекинуться... Он не любит, когда поверх его головы решения принимаются.

— Пошли в дом, Анискин!

Но участковый в дом сразу не пошел — он несколько раз сердито огляделся, убедившись, что на соседних огородах и за плетнем нет никого, зловеще цыкнул зубом и только тогда, подняв из лопухов аккордеон, понес его к дому. С высоко поднятой головой и прямыми плечами Прасковья Михайловна поднялась на крыльцо, открыла дверь в сени и сказала:

— Милости просим, Федор Иванович! Проходи, не бойся половичок-то замазать.

Участковый все-таки выскреб ноги о специальную щеточку у порога, отряхнул пыль со штанин и вошел в дом, состоящий из одной большой комнаты и комнатушки, отгороженной белыми, чисто выстроганными досками. Дом, конечно, был невелик, но сверкал такой чистотой и порядком, что, поставив у порога аккордеон, участковый дальше пошел на цыпочках, чтобы пожать руку мужу Паньковой.

— Здорово, здорово, Виталя! — весело проговорил он. — Ну и рука же у тебя — ровно клещи...

Да, другой такой сильной руки, как у Виталия Панькова, в деревне не было; не было ни у кого и таких широких плеч, такой буйно кудрявой головы и таких, как у Виталия, серых шальных глаз. Все хорошо было у Виталия по пояс, а вот ниже ничего не было. Квадратным обрубком Виталий Паньков был всунут в мягкие овчины, вложенные в углубление на высоком столе, а вокруг него — в разных видах лежали ивовые прутья, из которых Виталий плел корзины.

— Здорово, Федор Иваныч! — веселым басишком ответил Виталий и, качнувшись, показал на стул. — Садись, друже!

В ослепительно-белой рубахе, загорелый, так как Прасковья Михайловна с сыновьями каждый день выносила его на солнце, сытый и сероглазый, Виталий был так красив, что Анискин только крякнул, сел на стул и попытался положить ногу на ногу. Это ему не удалось. Виталий попытку участкового, конечно, заметил, и они дружно засмеялись.

— Ну, ты боровом стал, Федор! — сказал Виталий. — Ну, раскормился!

— А чего! — подхватил Анискин. — Как ты всегда говоришь: «Порядок в танковых частях!» Хотя я тебе скажу, Виталя, что народа капризней, чем танкисты, я в войну не встречал.

— А техника, техника, Федор друг Иваныч! — захохотал Виталий. — Техника, она какого человека любит...

Прасковья Михайловна стояла в дверях, исподлобья смотрела на них, потом она опять сняла с головы платок, прямым шагом подошла к мужу и ткнулась своим плечом в его плечо. Постояв секундочку в такой позе, Прасковья Михайловна оторвалась от мужа и пошла к участковому, но он опередил ее: вскочив с места, Анискин торопливо проговорил:

— А я ведь к вам попить зашел! Тащусь с аккордеоном, который в березняках нашел, так весь припарился и пить захотел!

После этих слов Анискин на Прасковью Михайловну взглянул так, что она осеклась, мигнула глазами жалобно и замерла. Участковый же продолжал смотреть на нее мягкими, глубокими глазами — вовнутрь и через смотрел, в печенку и в селезенку, потом глаза от женщины отвел, усмехнувшись непонятно, взял со стола готовую корзинку и стал вертеть ее в руках — так и эдак, эдак и так.

— Но-но! — восхищенно сказал участковый. — Это профессорски бабы с ног собьются... Ведь в Томске, Виталя, палку в собаку кинешь, а угодишь в профессорску жену...

Корзинка на самом деле была отличной — сплетенная из мелких разноцветных прутьев, она придавала Анискину легкомысленный, фатоватый вид, но он улыбнуться себе не позволил, а строго потребовал:

— Так ты мне дай, Праскева, водички попить. Все ссохлось внутри-то... А насчет аккордеона вот что! Я его до вечера у вас оставлю, ладно? — попросил он. — Чего мне с этим аккордеоном через всю деревню таскаться.

— Ты все же слушай, Федор Иванович, какого человека техника любит, — оживленно сказал Виталий. — Танкова техника, Федор брат Иваныч...

11

В восьмом часу, когда солнце резво садилось и тени всполохами бежали по деревне, а на жатве близился конец рабочего дня, участковый пришел к колхозной конторе, крикнув председателю в окно, что забирает «газик», поймал выброшенные через окно же ключи, посапывая, пошел к машине и, оглянувшись — много ли народа видит, как он забирается в «газик», — сердито взгромоздился за руль.

— Ишь вы! — крикнул он ребятишкам, которые валандались у конторы. — Нет по грибы ходить...

На машине Анискин ездить любил и умел, потому скорость с места взял хорошую, развернулся в переулке чертом и, распугивая куриц и ленивых гусей, понесся по той улице, на которой стоял сельповский магазин. Возле него участковый остановился и высунулся из кабины.

— Евдокея, а Евдокея! — покричал он. — Выдь-ка на час.

Когда недовольная Дуська в белом халате выглянула из дверей, Анискин на нее с приятностью пощурился, похлопал рукой по гладкому рулю и строго сказал:

— Ты, Евдокея, будь к девяти часам в моем кабинете. Я тебе с Григорием Сторожевым буду очну ставку делать...

— Еще что! — закричала Дуська. — Что еще за очны ставки?..

Однако участковый ее дослушивать не стал, громко хрустнул передачей, поддал машине газу и умчался, развевая пыль. Он в секунду вылетел за околицу, крутанул руль влево и тут скорость машины умерил, чтобы над рекой ехать неторопко, чтобы видеть всю землю. «Куда мне торопиться, — умиротворенно подумал он, — когда аккордеон нашелся? Дуська веселая, а Иван Иванович один сидит в кабинете. Посидит-посидит да, может, что хорошее придумает...»

Дорога шла яром над излучиной Оби, обочь росли веселые цыганистые березки, тянулись поля скошенной в валки пшеницы, подсыхающей и потому духовитой; потом пошел синий молодой кедрач, усыпанный шишками. На середине кедрача на шум машины вышли ребятишки с мешочками, увидев, что она легковая, прыснули в стороны, а Анискин улыбнулся. Затем опять пошли березы — покрупнее, потолще и погуще, потом березы начали редеть и редели до тех пор, пока не исчезли. Вот тогда-то «газик» и выскочил на такой простор, от которого захватывало дух.

От кромки яра до Оби было метров двадцать пять, река лежала слева, а справа наподобие реки уходили в бесконечность желтые поля. Это по нарымским местам была редкость, но поля пшеницы, ржи и ячменя занимали огромное пространство, а там, где они все-таки кончались, тоже было ровное место — знаменитые Васюганские болота, которые и поля, и березы, и кедрачи отгораживали от мира неприступной трясиной. А над полями, над болотами, над простором висел прозрачный месяц.

Еще неторопливее поехал участковый — поглядывал вольно, улыбался без заторможенности, руки на руле держал для виду, так как машина и сама катилась по двум колеям на стан, что скрывался возле крупных зародов

соломы. Под ними сидели женщины, рядом похаживали ребятишки; шли к стану два комбайнера — ужинать и отдыхать перед ночной работой. И четыре грузовых машины стояли у стана — четыре шофера да еще четыре стажера-разгрузчика... Человек двадцать народу отиралось у стана, и Анискин к нему подкатил весело, резко притормознув, шутя сделал вид, что хочет машиной налететь на баб, которые с копешек посыпались горохом. Потом участковый вылез из машины, похлопывая себя по бокам, как после купания, подошел к середке стана и проговорил:

— Здорово-здорово, бабоньки, здорово-здорово, мужики, здорово-здорово, огольцы!

Анискину ответили дружно, весело, и он приметил за второй кучей соломы еще несколько парней и мужиков — это была тракторная бригада дяди Ивана, которая пахала вслед за комбайнами. В общем, много народу было у стана, и участковый прямиком пошел к бригадиру полеводческой бригады Петру Артемьевичу, который сидел за столом, то есть за доской, прибитой к двум кольям. Петр Артемьевич пил из бутылки молоко, задрав голову так, словно смотрел на месяц через подзорную трубу.

— Петра Артемьевич, — сказал Анискин, — двух Паньковых я вижу, а третий где?

— Третий под зародом, — шепеляво ответил полеводческий бригадир. — Он, Федор Иванович, такой завидный парень, что как свободна минуточка — так спать! — Петр Артемьевич дососал молоко и задумчиво добавил: — Я так думаю, что он потому хорошо и работает, что завсегда высыпается... А вот я, Федор Иванович, сроду в недосыпе. Вот ты человек разумный, давай считать, сколь я в сутки сплю...

— Ты сам сосчитай! — ответил участковый и неторопливо пошел к крайнему зароду, возле которого действительно, привалившись боком к соломе, спал старший Паньков. Семен. Глаза у парня были прижмурены, рот открыт, и нижняя губа закруглена мягко, по-мальчишечьи. Но лежали на соломе тяжелые кулаки, равномерно дышала выпуклая грудь, подергивался на виске тугой мускул.

— Вставай! — сказал участковый и сандалием потрогал сапог Семена. — Эй, вставай!

Семен поворочался и помычал, перевернувшись на другой бок, пошлепал губами, и Анискин вдруг непонятно улыбнулся, присев возле Семена на корточки, посмотрел на него милицейскими глазами.

— Аккордеон-то в бане под полком лежит, — проговорил Анискин. — Семен, а Семен, ты аккордеон-то под полок положил. Смотри, а то Анискин найдет!

Паньков крепко свел брови, еще сильнее прижмурил веки, пробурчал:

— Лодка-то, лодка...

— Не лодка, — быстро сказал Анискин, — а не спрятал ли ты аккордеон под полок, Семен? Ты слышишь про аккордеон-то?..

— Слышу, — ответил Семен и открыл глаза.

— Аккордеон-то под полком лежит, — тихо произнес участковый. — Ты его зачем, Семен, под полок-то спрятал?

Глаза Семена сначала смотрели вяло и безжизненно, затем зрачки сузились так, словно парень глядел на солнце, а белки засинели. Секунду Семен со страхом в глазах лежал неподвижно, потом ресницы вздрогнули, в глазах мелькнуло такое, что участковый подумал: «Ох, уж эти мне Паньковы! Что Праскева, что Виталя — одна сатана!»

— Твоя взяла, Анискин! — сказал Семен, и в его голосе прозвучало облегчение. — Пляши теперь Анискин!

Не опираясь о землю руками, Семен гибко поднялся, тряхнул такими же буйными кудрями, как у отца, и, отставив одну ногу, встал перед Анискиным во весь рост. Серый комбинезон хорошо облегал его квадратную фигуру, плотно стояли на земле сапоги сорок пятого размера. И Анискин вдруг тоненько присвистнул:

— Эти сапоги-то ведь вот чьи!

Да, только сейчас участковый вспомнил, что с фронта Виталя Паньков приехал при сапогах. Привез с фронта Виталя и ноги, а их ему начали обрезать в Томске только тогда, когда пошли по ногам синие сквозные пятна. Обрезали ноги Виталию и не раз и не два, а три раза и только тем и спасли его жизнь, что обкорнали без остаточка.

— Вот сапоги-то чьи! — повторил Анискин и длинно цыкнул зубом. — А я-то голову дурил!

Участковый отступил от Семена на три шага, встал так же ровно, как парень, и посмотрел на месяц, на резное облачко, что плыло над полями и Обью, и на алое, тревожное небо на востоке. Большой был Анискин, величественный, и не было к нему пути, чтобы приблизиться, встать рядом, заговорить. Минуту так стоял участковый и думал: «Матерь родная, жизнь-то, она вот какая! Может, я и с Зинаидой не так, как надо, разговаривал, может, и с теми бездельниками не так ведусь! Не может же быть, что все в них плохое, ой, не может быть! И того не может быть, что я кругом прав, а моя родна дочь кругом виновата... Жизнь, жизнь!» Еще минуту помолчал Анискин, а потом холодно произнес:

— Ну-ка, подними, Паньков, голову. Подними да расскажи-ка, как ты отцову честь блюдешь. Расскажи-ка, а! А?! Расскажи, как ты блюдешь семейную честь.

И сник, разобрался по частям Семен Паньков — побледнело лицо, завяли руки, отставленная в сторону нога сама приползла к другой ноге. За его спиной шумел веселый стан, по-

громыхивал трактор, навзрыд смеялись девчата с мальчишками.

— Мы Гришку Сторожевого у клуба караулили, — зябкими словами сказал Семен, — а он все от клуба не отходил... На открытом месте его одолеть трудно... Потом он стал в дверь колотиться, открыл, но в клуб не пошел... Мы его догнать не поспели...

— Ну!

— Тогда я в дверь вошел и... Я хотел сначала накрыть Дуську и завклуба, чтобы Гришке позор сделать.

— Так! — сказал Анискин. — Эдак!

Сняв руки с пуза, участковый подошел к Семену, цыкнув зубом, приказал:

— Зови братьев!

Когда Семен черепашьим шагом ушел за братьями, участковый приблизился к концу зарода, завернул за уголок и вынул из кармана тот клочок бумаги, на который что-то списывал с газеты. Шевеля губами, Анискин несколько раз прочел его, затем бумажку порвал и клочки спрятал в солому. Опять сложив руки на пузе, участковый стал глядеть, как братья Паньковы, перешептываясь, приближались. Когда же они подошли, Анискин на них только бегло посмотрел и спросил:

— Все поняли?

— Все! — ответил за братьев Семен. — Арестовывай меня, Анискин, я один виноватый!

Участковый не ответил. Дав бровями знак, чтобы братья шли за ним, Анискин валко двинулся к стану, обогнув на ходу женщин и девчат, что прохлаждались на соломе, вышел опять на центр и здесь встал столбом. Покрутив из стороны в сторону головой, он нашел выпученными глазами бригадира полеводов и поманил его пальцем.

— Петр Артемьевич, подь-ка сюда!

В тишине, которая наступила средь стана после того, как участковый выбрался на центр, полеводческий бригадир подошел к Анискину, без удивления посмотрел на него и приятственно улыбнулся — радовался тому, что случилось хоть какое-нибудь развлечение.

— Я слушаю, товарищ Анискин!

— Вот что, Петра Артемьевич, — веско сказал участковый, — передай народу, чтобы поближе к середке подгребался...

Отступив немного в сторонку, Анискин стал внимательно смотреть, как среди криков бригадира: «На собранию, на собранию!» — люди подходили к центру: подползли на коленках, чтобы не подниматься с соломы, женщины и девчата, припрыгали ребятишки, притащился с палкой в руках дед Крылов и сел на пенек, приставив руку к уху; из-за второго зарода вышли трактористы с бригадиром дядей Иваном и стали плотной шеренгой — Гришка Сторожевой меж ними.

Спервоначала на стане было шумно и весело, потом люди затихли, так как участковый стоял неподвижно и все покручивал пальцами на животе, а за его спиной необычно молчали братья Паньковы, тихие и мрачные. Странным было все это, и на стане сделалось тихо.

— Ну вот! — удовлетворенно сказал участковый. — Ну вот и угомонились!

Картина перед его выпученными глазами действительно была привлекательная: в свете заходящего солнца — высовывался из-за горизонта только алый краешек — покойно сидели на соломе женщины и девчата в разноцветных юбках и кофтах, дремали за зародами два самоходных комбайна, три трактора «Беларусь» и один «ЧТЗ»; держась друг за дружку руками, стояли трактористы, отдельно от них — комбайнеры; лежали на земле, положив головы на руки, ребятишки, и сидел на старом пеньке дед Крылов. И за всем этим разноцветьем, за всей этой живой жизнью виднелась половинка Оби и половинка бескрайнего луга, который где-то, конечно, переходил в болото, но был громадным.

— Кто у вас на собраниях протокола пишет? — тихо спросил Анискин. — Ай отзовись!

— Я! — сказала Люська Матвеева и приподнялась с соломы. — Я, дядя Анискин, обычно веду протоколы.

Участковый улыбнулся.

— Вот и веди, Людмила, коль ты десятилетку закончила, а вот в колхозе работать не гнушаешься...

После того как Людмила Матвеева взяла карандаш и бумагу, Анискин сурово прокашлялся, свел брови на переносице и ровным голосом сказал:

— Партия и правительство, товарищи, обращают все больше и больше внимания на работу органов советской милиции. — Сделав передышку, участковый набрал в грудь воздуха и совсем выкатил глаза. — Партия и правительство, товарищи, обращают наше внимание также на то, что задачей органов милиции являются не только методы пресечения и карания, а также, товарищи, и воспитательная работа. — Он во второй раз передохнул и сказал легче: — Партия и правительство, товарищи, такое большое внимание уделяют работе органов милиции, что вот даже и День милиционера установили... Ране, товарищи, дни танкистов, шахтеров, железнодорожников были, а теперь вот и наш день есть...

Анискин снял руки с пуза, выдохнул лишний воздух, что был в легких, и широко расставил ноги.

— Теперь, товарищи, я проговорю за то, — сказал участковый, — что в нашем обществе есть такие люди, которые нам мешают жить. Вот возьмем, к примеру, братьев Паньковых. —

Он посмотрел за спину и ткнул пальцем в братьев. — Возьмем, к примеру, братьев Паньковых... Они, конечно, в колхозе работают хорошо, ударно, но вот на улице и в клубе от них прохода нет... Нет от них прохода! — сердито повторил участковый и помахал все тем же пальцем. — Человек приоделся, после работы идет в клуб, а тут шасть — братовья Паньковы! То они тебя грязью замажут, то с дороги столкнут, то еще что выкамурят... Что я, неправду говорю, товарищи?

— Правду! — зло сказала Маруська Шмелева, баба бойкая и шалавая. — Намедни надела ново платье, по воскресенью хорошо причесалась, иду дорогой, а Борька Паньков от двух других отстал и говорит: «Ты куда прешься? Кто на тебя в клубе поглядит? Дура, говорит, ты, и платье у тебя, говорит, дурацкое...»

— Это еще что! — визгливым голосом вмешалась Сузгиниха, которая на стане варила обеды и ужины. — Это еще что, Феденька! Моего Степашку... он вот стоит и от стыда горюет... Они ить его избили, Феденька... Он за той, что протокола́ пишет, то есть за Люсенькой Матвеевой, ходил с серьезными намереньями, а Володька Паньков его в кустах пымал и... обои глаза подбил, и рука ночью ныла...

— И матерятся где попадя! — сказала в тишине толстая и медленная Ефросинья Смирнова. — Сидишь дома с семейством, а они под окна придут, чтоб свои хулиганские планы строить, и матерятся за каждым словом. А вот третьеводни...

— А вот третьеводни! — вдруг закричала обычно спокойная и добрая Клавдия Морозова. — А вот третьеводни, Анискин, они всю ночь по деревне шарашились и спать не давали. Мы на краю деревни живем, так всю ночь не спали.

И закричали бабы, закричали девчата, завизжали, обрадовавшись шуму, ребятишки, сердито застучал палкой о землю старый дед Крылов, глядящий на братьев Паньковых страшными до ужаса глазами. Большой шум произошел на стане, и Анискин, привстав на цыпочки, оглушительно крикнул:

— Ша, народ!

Когда же шум водоворотом прошелестел и утих, участковый в наступившей тишине сказал:

— А ну, братовья Паньковы, примите-ка головы от земли и поглядите в глаза народу. Посмотрите-ка на такое собрание, какое не надо просить выступить, а, наоборот, утишивать надо... Ну, вздымите, братовья Паньковы, глаза на народ.

Но братья Паньковы не подняли глаза на людей — стояли каждый по отдельности, стояли в лучах заходящего солнца, и оно розово отражалось на их бледных лицах.

— Нет у вас силов поднять глаза на народ, — сказал Анискин. — Вы так народу поперек горла встали, что его теперь боитесь... Вас теперь не только Гришка Сторожевой, а все другие мордовать станут, если вы к прежнему возвернетесь... Правда, Леонид Грохотов? — поворачиваясь к одному из трактористов, спросил Анискин. — А, не хочешь отвечать, стыдно за то, что три брата всю деревню мордовали... Тоже в землю смотрите, товарищи трактористы, товарищи комбайнеры? В каждом по шесть пудов весу, а трусили... — На слове «вес» Анискин улыбнулся глазами, снял руки́ с пуза и широко повел ими перед людьми. — Вот так, дорогие мои товарищи...

Участковый замолк, и через секунду в тишине раздался глухой стук — это дед Крылов громыхнул по земле березовой палкой с резиновым наконечником. Он попыта́лся с пенька встать, но по столетней старости сделать этого с ходу не мог и остался в сидячем положении.

— А ты знашь, Федюк, — сказал он участковому, — ты знашь, касатик, как с такеми мужаки в старину стражались? . . Вот ты эстого, Федюк, не знашь...

— Нет, знаю, — просторно улыбнувшись, ответил участковый. — Мужики всем миром с хулиганами боролись, и вот мы сейчас тоже смешное дело произведем. — Анискин непонятно улыбнулся, повернул голову к Людмиле Матвеевой, которая не выпускала из рук карандаш и бумагу. — Людмила, пиши! — приказал ей участковый. — Пиши, Людмила, протокола о том, что вот решением общего собрания мы решили создать народну дружину по поддержанию в деревне спокойствия и порядка... Какие обязанности есть у дружинников, я потом по инструкции разобъясню, а теперь прошу поднять руки, кто за, а кто против... Все за? Вот и пиши, Людмила, что дружина нарисована...

Сделав еще одну небольшую паузу, Анискин простодушно улыбнулся.

— Аккордеон я нашел, граждане... Какато сволочь в березняки бросила... Я так думаю, что непременно кто чужой, не деревенский... Ну, вот и все собрание!

Когда народ загалдел и ребятишки побежали в разные стороны, когда трактористы пошли к тракторам, а комбайнеры — к комбайнам, участковый повернулся к братьям Паньковым, прощупав их глазами до печенок и селезенок, шепотом сказал:

— Я до тех времен про аккордеон буду молчать, пока вы штукарить не станете... Но если на вас вот такое народно слово не подействовало, сгинете! Под суд отдам за аккордеон... А теперь сойдите с моих глаз, страмники!

На горизонте от солнца осталась уж совсем узенькая кромочка, месяц, наоборот, набирал

силу, и потому по полю и реке катились разноцветные лучи, бордовые и розовые. К вечеру, к вечеру шло дело, и потому поглядывал на восток, где над деревней висело темно-голубое небо, тракторист Гришка Сторожевой.

— Ты разве забыл, Гришка, что тебе надо на очну ставку с Евдокией? — сказал Анискин. — Так что разберись, женитесь вы или обратно не женитесь. А то людей смех берет...

ПАНКА ВОЛОШИНА

Рассказ

1

Панку Волошину бабы били дважды: года три назад на пасху, а летошний год оттаскали за волосы просто так, без всякого праздника.

Начала это дело Маруська Шевелева, чей Сенька каждую субботу после бани норовил вроде бы смотаться на дежурство, а на самом деле до утра пролеживал у Панки под пышными пологами. Маруська захватила его на коровьем реву, еще тепленького и пахнущего самогонкой; ткнув в раму для начала кулаком вполсилы, она негромко крикнула: «Ты тута, изменщик!» Сенька, конечно, выскочил в другое окошко, и Маруська на полную силу вскричала: «Уби-и-и-вают!»

Одной Маруське с Панкой справиться было невмочь, она до тех пор голосила под окошками, пока не прибежали на крик Фенька Голубева и Лизавета Сморогдина, чьи мужики в свое время тоже зоревали в Панкиной избе. Они еще только вбегали в ограду, а Маруська уже начала березовым поленом выставлять окна.

Тут Панка, конечно, сама вышла на крыльцо, увидев силу баб, проговорила негромко:

— Ах, Сенька, Сенька!

А Сенька уже улепетывал огородами, согнувшись, как солдат под бомбежкой. Ну и началась драка, и неизвестно, чем бы она закончилась, если бы во дворе не появился участковый уполномоченный Анискин. Встав столбом, он тяжело посопел от слоновьей полноты, сложил руки на пузе и принялся покручивать пальцами, ничего не говоря.

— Анискин! — первой спохватилась Маруська. — Бабы, бережись!

Драка затихла к радости испуганных Панкиных куриц и трехногого пса Шарика — куры закудахтали, а пес вылез из конуры и осторожно пошел к хозяйке.

— Чего стали? — спросил Анискин. — Дрались бы дальше, а я бы посмотрел. Мне кина не надо, когда бабы дерутся!

Все покручивая пальцами на пузе, Анискин неторопливо огляделся — всходило уж солнце над Обью и кедрачами, клокотали голуби на стрехе, живой свет лился от реки.

— Ц-ц-ц-ц! — сказал Анискин. — Народ по воскресенью отдыхает, а они, дуры, дерутся. Тьфу! — Анискин сплюнул, посмотрел, как плевок разбился о землю, и добавил: — Ты телеса-то прикрой, Панка! Ежели кофту порвали, это не означат, что ты должна телешом быть... Это у тебя кто ночевал? Сенька?

— Сенька...

— Так это он огородами бег! Ну, трус...

Анискин сел на крыльцо, распахнул на груди рубаху, вытаращив глаза по-рачьи, посмотрел на тех баб, что били Панку. Он так на них смотрел, словно это были не люди, а деревяшки какие-нибудь.

— Вот почему, — строго спросил Анискин, — от умных и тихих баб мужики к Панке не бегают? Язык сглотнули? Ну, тогда я вам сам скажу! Вы мужиков обратно в баб сделали. Это ведь страх, как Сенька огородами бег! У вас мужик несчастный, запуганный — вот какие вы есть холеры!

Панкин пес Шарик вильнул обрубком хвоста и трехного подошел к Анискину. Участковый погладил собаку по кудлатой голове, вытащил из шерсти репей и, посмотрев его на свет, сердито отбросил в сторону.

— Все трое кыш домой! — негромко сказал он. — Вот с каждой отдельно разберусь...

Когда бабы осторожно ушли, Панка прикрыла плечи остатками кофты, вздохнула, прошла по двору и села рядом с Анискиным, который искоса смотрел на нее.

— Ц-ц-ц-у! — огорчился Анискин. — Это ведь подумать!

Плечи у Панки были белые, как меловая гора за Обью, сама она была узкая и длинная, как остяцкий обласок, но для удивления — при больших и высоких грудях. Странной у Панки была кожа лица: она светилась.

— Ты думаешь, мне тут с тобой сидеть — одно удовольствие? — строго спросил Анискин.

— Я, Федор Иванович, жду, когда вы заговорите!

Опытный Анискин прикинул, что через часок левый Панкин глаз прикроется от синяка, правый же будет немного смотреть на свет божий; Панка и так была узкоглаза, как бурятка, а тут совсем ничего не останется, хоть от

смеха помирай. Но Анискин не улыбнулся, на Панку смотрел сурово и спросил наконец:

— Отчего это, Панка, к тебе мужики липнут?

— А кто их знает, Федор Иванович!

Панка спокойными, медленными движениями укутывала остатками кофты меловые свои плечи, от старательности зубы у нее обнажились — ровные и блестящие. Даже в изодранной кофте, с синяками Панка казалась опрятной и чистенькой, словно и не было драки. Отчего это так, Анискин понять не мог, но он еще раньше примечал, что на Панке любая ситцевая кофточка выглядит, как крепдешиновая или маркизетовая.

— Ну ладно, теперь помолчи! — сказал Анискин, хотя Панка молчала и даже тихо улыбалась. — Теперь я сам должен подумать, что мне с тобой произвесть, Панка!

Как всегда по утрам, солнце по небу перемещалось быстро — всего пять минут сидел участковый на Панкином крыльце, а солнце уже перепрыгнуло через трубу дома, село на березу и посверкивало; коровы уже позванивали боталами, и было, значит, минут пятнадцать седьмого. «Вот бабы — черти! — весело подумал Анискин. — Это ж нада в таку рань шум учинить!»

— А ведь ты, Панка, виновата! — звучно сказал он.

— Все может быть, Федор Иванович!

— Так... Ну, теперь опять помолчи!

Анискин сыто ухмыльнулся. Он по причине толщины был вообще медленный в словах и движениях, а по утреннему времени жил еще медленнее. Анискин расцепил руки на пузе, уперся ладонями в доски крыльца и медленно, точно его поддомкрачивали, повернулся к Панке, так как ему надоело косить на нее глаза — голова на шее у Анискина не крутилась, да и не было ее, шеи-то. Повернувшись, он трижды кашлянул и сказал с придыханием:

— А?

— Я вас, Федор Иванович, слушаю...

Тогда Анискин скривил нижнюю губу, а глаза заузил — улыбнулся.

— Чудная ты, Панка! — сказал он. — Какой толк мне с тобой говорить и на тебя кричать, если ты не отбиваешься и страху не чувствуешь? Это как так?

— У меня, Федор Иванович, страху нет! — сказала Панка. — Ты сам посуди: кого мне бояться? Ребятишек у меня нет, мужика нет, дом колхозный, из скотины — один Шарик, да и тот трехногий... Ну за кого мне бояться, Федор Иванович!

— Ну, помолчи, помолчи!

Пузо Анискина лежало на коленях, в расстегнутый ворот рубахи высовывались седые звероватые волосы, дышал он с присвистом, а вот Панка сидела длинная и узкая, и Анискин вдруг рассердился.

— Конечно, тебе бояться нечего, — сказал он. — Такая, как ты, и в тюрьме мужика найдет...

— В тюрьме, Федор Иванович, мужиков порошком поят, чтобы они о бабах не мечтали.

Анискин улыбнулся — большое удивление производила на него Панка. Вправду, ни страху, ни печали не было на ее лице, открытыми еще глазами она любопытно и добро смотрела на все то, что было вокруг, — на веселое солнце, на трехногого Шарика, на деревню, которая по-воскресному просыпалась поздно, на Анискина. Панка сладко поеживалась под теплым солнцем, щурилась и походила на зимнего кота, что привалился к теплой печке.

— А ну, Панка, расскажи, почему у тебя постоянного мужика нет? — спросил Анискин, садясь в прежнее положение и закрывая глаза. — Ежели ты мне это объяснишь, то тебе большое облегчение будет... Давай докладывай!.. Ну!

Панка молчала, и Анискин открыл глаза:

— А?

— Федор Иванович, — радостно сказала Панка, — вот ты скажи, почему мне с тобой разговаривать весело?

— Докладывай, докладывай!

— У меня, Федор Иванович, потому постоянного мужика нет, что они у меня все в большие люди выходят... Вот так и знай: если я возьму какого мужика хоть на год, то он непременно в бригадиры выйдет или повыше.

— А потом чего?

— В бригадирах меня мужик бросает.

— А вот это через чего получается?

— Через мою неверность, Федор Иванович...

У Анискина хоть и были закрыты глаза, а он все равно увидел, как Панка улыбнулась добрыми губами и как потерлась щекой о собственное плечо. Это у нее была такая привычка.

— Я, Федор Иванович, мужику, как он в бригадиры выйдет, сейчас же неверность делаю...

— Помолчи, помолчи...

— Молчу, Федор Иванович!

Солнце набрало такую силу, что пробивалось сквозь сомкнутые веки, но Анискин глаза не открывал, не двигался, а только посапывал, сообразив, что Панка говорит правду... Гришка Стамесов, прожив у нее чуть меньше года, подался на выучку в город, Гошка Кашлев вышел в заместители председателя, а Василий Огнев ходил в мастерах на шпалзаводе.

— Ты какие газеты выписываешь, Панка? — спросил Анискин.

— «Сельскую жизнь» и «Комсомольскую правду», Федор Иванович.

— А в доярках какой год ходишь?

— Это, Федор Иванович, точно сказать нельзя... Я поди лет десяти начала коров-то доить. Война же была, Федор Иванович!

— Ну, молчи, молчи...

Всего седьмой час шел, а Анискину уже было жарко — попадая в легкие, теплый воздух распирал грудь, колом становился в гортани. Не было житья Анискину в жаркие дни, одно спасение имелось — поменьше двигаться. Потому он, не шевелясь, сказал:

— Ты, может, дура, Панка!

— Это, Федор Иванович, надо подумать...

Такой дикости Анискин в жизни не видал. Панка ласково потерлась щекой о собственное плечо, опростала друг от друга губы, заплывающими глазами посмотрела на веселое солнце. Прежняя тихость и ласковость были в Панке, довольство всем, что видит и слышит. «Она, может быть, чокнутая!» — вдруг решил Анискин, заглядывая ей в лицо.

— А?

Пахло от Панки вчерашней самогонкой, одеколоном и пудрой, а поверх всего лежал тягучий, сладкий и по-ночному томный запах ситцевых подушек, сушеного сена и свежего холста.

— Федор Иванович, а Федор Иванович, — радостно сказала Панка, — не должно быть, что я дура... Я в кино все понимаю. Когда с бабами домой иду, то им картину объясняю.

— И в газетах все понимаешь?

— Отдельные слова не разбираю, Федор Иванович, но если до конца прочту, то хоть ночью спроси, наизусть перескажу...

От этой Панки можно было со смеху помереть — левый глаз у нее напрочь закрывался, правый отливал семью цветами, как радуга, но кожа лица как светилась, так и продолжала светиться.

— От тебя, Панка, можно со смеху сгинуть!

— Смейтесь, Федор Иванович, смейтесь!

Ухмыляясь, Анискин полез в карман широченных парусиновых штанов, достал лохматый от времени кошелек, а из него вынул пятак, протянул Панке:

— Приложи к глазу-то!

— Зря, Федор Иванович! От синяков только царские пятаки помогают: в них меди много... — Однако пятак Панка взяла и, тихо смеясь, приложила к глазу. — Вот у меня какие буркалы!

— Ну ладно, ладно!

Оперевшись руками о крыльцо, Анискин поднялся, надув щеки, потрепал по загривку Шарика: «Ах ты, пес, три ноги!» Добрый, веселый был Анискин, отдувался не так тяжело и шумно, как всегда, и походил на восточного бога, но бога доброго. Передразнивая Панку, он прищурил глаз:

— Теперь ты мне пятак должна! Смотри, отдай!.. Ну ладно, пойду по делам... Какая-то сволочь из кузни листовую сталь украла! Это непременно Венька Моховой...

Анискин уже повернулся, чтобы идти к воротам, но заметил, что Панка, приподнявшись, смотрит на него удивленно и вопросительно.

— А?! — обернулся Анискин.

— Я, Федор Иванович, на вас удивляюсь! — протяжно сказала Панка. — Шибко удивляюсь!

— Это с чего?

— Очень вы храбрый человек, вот с чего я удивляюсь! И ничего-то вы не боитесь, и, наверное, на фронте ты, Федор Иванович, был герой!

— Ну уж герой...

— Герой, герой! — быстро сказала Панка, благоговейно прикрывая правый глаз. — За вашу скромность вся деревня говорит, Федор Иванович!.. Вот вы усмехаетесь, а народ вас очень уважает за то, что в сельпо ничего по блату не берете, хотя продавщица Дуська вас боится... Очень вы хороший человек!

— Ну, ну...

— Хороший, хороший! — Панка села, покошачьи огладившись щекой о собственное плечо, сомкнула в нежности большие и длинные губы. — Я, Федор Иванович, раньше думала, что вы человек угрюмый, а ты, оказывается, очень хороший! Вот десять минут со мной ты поговорил, и я уже знаю, что ты добрый...

— Добрый?

— Добрый, добрый...

Анискин задумчиво стоял. Смешливо было ему, лениво-дремно, и не хотелось двигаться. Все это, конечно, происходило из-за того, что уж начиналась жара.

— Болтаешь ты, как мельница-крупорушка! — сурово сказал он.

— Не болтаю я, Федор Иванович! Седни какой день?

— Ну, воскресенье...

— Во! — Панка всплеснула руками и вся зарделась от радости. — Во! Воскресенье, а вы работаете... Начальства ты, Федор Иванович, над собой не знаешь, а работаешь. Это оттого, что вы совестливый человек!

Анискин непонятно усмехнулся.

— Трещишь, как сорока! — сердито сказал он. — Совестливый, совестливый... А какая тут совесть, если листовая сталь пропала! Хе-хе! У тебя левый глаз, Панка, напрочь прикрылся!

— Шут с ним, Федор Иванович! Вы бы лучше не ходили в кузню при такой жаре... Может, вас кваском напоить?

Панка стремглав вскочила, но Анискин повелительно остановил ее:

— Некогда мне с тобой! Сроду с бабами так долго не болтал!

Повернувшись окончательно к воротам, Анискин пошел так величественно, словно каждый свой шаг ценил на вес золота, отворив калитку, вышел на улицу, застегнув одну пуговицу на рубашке, заложил руки за спину.

— До свидания, Федор Иванович! — крикнула Панка вслед.

— Ну, ну...

2

Как и предполагал участковый, три полосы из кузницы увел Венька Моховой, которому они были нужны для оковки саней. Провозился, однако, Анискин с упрямым мужичонкой часа два, до невозможности упрел, охрип, и когда вышел на большую деревенскую улицу, то ветру с реки так обрадовался, что засмеялся тоненько-тоненько. Вот тут-то он и уразумел, что день живет по-настоящему воскресный: шли в хороших пиджаках парни; поплевывая шелухой кедровых орехов, шатались девки; ходил по берегу реки для прогулки директор восьмилетней школы — руки за спиной, очки на кончике носа, из всех карманов торчат газеты.

От прохладного ветерка и воскресенья сам собой сделался довольным Анискин; пройдя немного, он посидел задумчиво на лавке старика Трифонова, отдыхая, подумал о том, о сем, потом посмотрел, как плывут в небе сизые паутинки, как дружелюбно синеет река на горизонте, как прозрачна и светла в ней вода, и вдруг ему стало жалко себя. Откуда это пришло, понять было нельзя, но при виде седых волос из распахнутой рубахи, живота, толстых ног, он подумал: «Ах ты мать честная, разъедакая!» Томясь, Анискин поднялся, помычал и пошел дальше — куда, не поймешь, зачем, не поймешь! Шалавый был он какой-то, но когда прошагал еще метров триста, то понял, куда вели его ноги — к дому Панки Волошиной. «Ах, — обрадовался Анискин, — все дело! Во-первых, гонит самогонку, во-вторых, учиняет драки, в-третьих...»

— Панка! — с улицы позвал Анискин. — А ну выдь на час!

Он ждал, что Панка появится на крыльце, но блажная баба высунулась в окно, да так далеко, долговязая, что чуть не вывалилась. На ней сидела уже другая кофта; левый глаз она перевязала чистеньким бинтиком, а волосы кандибобером замотала вокруг головы. Увидев Анискина, она радостно замахала руками.

— Заходи, Федор Иванович, я сама выйти не могу, у меня пол недомыт.

— Нет, ты выдь на двор!

— Тогда погодите, Федор Иванóвич!

Анискин сел на крылечко, прислонился спиной к балясине. Черт знает, как было хорошо на Панкином дворе! Шарик, что о трех ногах, опять примостился возле Анискина, куры квохтали, приблудный поросенок от жары лежал трупом в лопухах. Двор Панка подмела, травка была свежей, чистой, а из сеней пахло завлекательно: пережаренным зерном. «Ох, штрафану я ее!» — подумал Анискин, зная, зачем пережаривают зерно, — от него брага на цвет делалась темной, а вкусом походила на городское пиво. «Ох, штрафану!» — решил он.

Панка не выходила, гремела в доме тазами и ведрами, шебаршила тряпкой по полу, топотала босыми ногами. По звукам слышалось, что работает бабенка отчаянно. Потом в доме тихо сделалось, приглушенно, как в яме для картошки, но она опять не выходила. «Вот штрафану!» — подумал Анискин. И еще минут пять прошло — она опять не выходила. Тогда Анискин жестоко засопел, злой, как кабан, повалил скрипящими половицами в дом. Это сроду такого не бывало, что на его зов не отзывались...

— Панка!

Бабу словно помелом смахнуло. Анискин без стука заглянул в маленькую горенку — нету ее; раздвинул рукой ситцевую занавеску в кухню — опять нету! Это, по милицейскому разумению Анискина, должно было означать два случая — или в окно сиганула, или от страху затаилась в подполье.

— Ну, Панка...

— Я тут, Федор Иванович...

Держа обеими руками четвертную бутыль, глядя на нее с опаской живым глазом, Панка медленно выползала из глубокого подполья.

— Кваску для вас достала, Федор Иванович! Ведь знаю, как ты уморился с этим Венькой-шалапутом... Сейчас, сейчас, Федор Иванович!

Раздувая юбкой воздух, Панка пронеслась в кухоньку, приволокла большую эмалированную кружку, с размаху налила в нее квасу и понесла Анискину. Кружку Панка держала на вытянутых руках, шагала на цыпочках, а когда приблизилась, то лицо у нее сделалось такое, точно перед ней не Анискин был, а на самом деле восточный бог.

— Попей, Федор Иванович!

Он начал пить, а с Панкой происходило такое, словно она тоже пила. Анискин сделает глоток, Панка — тоже, Анискин отдуется от сладости — Панка отдуется. И пока он пил, по нежной ее шее двигался маленький живчик.

— Вот хорошо, Федор Иванович, вот как хорошо!

Панка живо унесла в кухню бутыль и кружку, порхая, вернулась и запрыгнула на табуретку.

— Садись и ты, Федор Иванович! Здесь прохладнее, чем на дворе...

— Ну, ну!

Панкина комнатенка цвела ситцевыми материями: и тут занавеска, и там занавеска, и всю печку прикрывает занавеска, и на окнах занавески, веселые, как дрозды; на полу лежат домотканые дорожки, кровать торчала под потолок, хоть по лестнице на нее вздымайся, а от гераней в комнате было темно, как в саду. Анискин оглядел все это, поморщился и сел, так как к нему пришло странное чувство: он себя чувствовал в комнате так, как бывало в детстве, когда забирался с головой под теплый и запашистый тулуп.

— Ну, так! — сказал Анискин. — Ну, вот так!

— Слушаю, Федор Иванович!

— Слушаю, слушаю! А ты не слушай, а думай... Почему же ты, Панка, как мужика в бригадиры выведешь, тут ему и неверность делаешь? Вот ты мне это скажи!

— Счас, Федор Иванович!

Панка потерлась щекой о плечо, затихла. Она сидела на табуретке с ногами и походила яркостью кофты на занавески и коврики свои; такая она была, Панка, что нельзя было ее снять с табуретки и пересадить на другое место. Подумав, она опять потерлась щекой о плечо, встрепенулась и радостно ойкнула:

— Ой, поняла, Федор Иванович!

— Ну, докладай!

— Я, Федор Иванович, потому мужику неверность делаю, что ему дальше идти некуда...

— Это почему еще?

— Тут, Федор Иванович, не знаю... До этого места, про которое сказала, я додумала, а дальше себе самой непонятно.

Анискин от удивления хмыкнул, сцепил руки на пузе и почувствовал такую веселость, от которой ему захотелось не то расхохотаться, не то сделать глупость. Ах, как хорошо было участковому Анискину! Поглядел на ситцевые занавески — эх, какие все веселые! Потрогал ногой коврик — эх, какой важный! Вдохнул комнатные запахи — ну, как в детстве под тулупом.

— Ой, Федор Иванович, — протяжно и благоговейно сказала Панка, — ой, какой вы серьезный, просто страх на вас смотреть!

— Ты... молчи...

— Не могу я, Федор Иванович, молчать! — Панка вместе с табуреткой подъехала к Анискину, всплеснув руками, начала изумленно и восторженно смотреть на него широко раскрытым глазом. Как на чудо, как на небывалость какую, смотрела она на Анискина и шепотом сказала:

— Ой, какой вы завлекательный!

— Тю, сдурела баба!

— Не сдурела, не сдурела... Я на тебя, Федор Иванович, шибко удивляюсь! Вот вы такой строгий, а вас все уважают!

— Ну, ну...

— Вас за храбрость и справедливость уважают! — вдруг солидным голосом заговорила Панка, — Народ, он, Федор Иванович, правду всегда чувствует. Вот с кем ни поговорю, все в один голос: «Анискин — человек справедливый!» За то вас и любят, Федор Иванович! Без вас деревня пропала бы...

— Это как так — пропала!

— Без тебя, Федор Иванович, народ баловаться будет. Еще шибче начнут самогонку варить, хулиганить, стальны листы из кузни воровать. А от уважения к вам, Федор Иванович, народ безобразит меньше. Тебя, Федор Иванович, в деревне все любят!

— Так! Погоди...

Огромной лапищей Анискин отодвинул от себя Панку, повернул за плечо лицом к себе, бесцеремонный, страшный, стал смотреть в ее заплывший глаз и на губы, разомкнутые добротой.

— Так, так!

Доверчиво, как подсолнух за солнцем, поворачивалась в его руке Панка — не охнула, не испугалась, сама помогла повернуть себя к свету, отдаваясь руке Анискина, помягчела тонким плечом.

— Ну, так!

Голову сымай с Анискина, пулю ему в лоб — ничего не врала Панка! Вся она была правда: с ног до головы правда, и от кофты до глубины правда.

— Тебя, Панка, били мало! — отпуская ее, медленно сказал Анискин. — Ты не баба, а дите малое!

— Это правда, Федор Иванович, еще молодая я...

Безмятежная и счастливая сидела на табуретке Панка, опустив голову на плечо, потрогала пальцами оборку на кофте, пошевелила нежными губами, но ничего не сказала, а только искоса, по-родному посмотрела на Анискина. Потом Панка летуче вздохнула.

— Очень понимаете вы человека, Федор Иванович! — ласково сказала она. — Ровно сквозь него глядите... Вам бы, Федор Иванович, в район переехать! Большую пользу вы могли бы принесть.

— Складно врешь, Панка!

— Я, Федор Иванович, сроду не вру... Почему у меня мужики в бригадиры выходят или повыше? Это оттого, Федор Иванович, что я в

мужике всю его силу вижу. Сама не знаю, какая пружина во мне срабатывает, но еще ни разу промашки не было... Я очень на баб сердитая!

— Это ты обязательно скажи: почему?

— Редкая баба, Федор Иванович, в мужике силу понимает, а ведь плохого мужика нет, есть баба плохая... Для меня мужики, Федор Иванович, словно икона, я на них молюсь!

— Ну, Панка, ну, Панка...

— Нет такого мужика, Федор Иванович, который бы через меня в бригадиры не вышел! Вот ты усмехаешься, а походи ко мне с недельку, сам поймешь, что тебе место в районе. Ты ведь зря гинешь в деревне, Федор Иванович!

Тьфу ты черт! В голове у Анискина кругалем ходило, золотистые точечки мелькали в глазах; от смеха над Панкой и удивления пузо перекатывалось под рубахой. Казалось ему, что слова Панки обволакивают, убаюкивают, как в детстве убаюкивал голос матери.

— Толстый я очень! — вдруг пожаловался Анискин и чуть не прикусил кончик языка: ничего он про это говорить не хотел. — Ну и ну!

— Толстый! — Панка всплеснула руками и тоненько рассмеялась. — Толстый!

Панка встала с табуретки, попятилась, села на стол, чтобы из отдаления взглянуть на человека, который жалуется на полноту.

— Вы очень даже симпатичненький, Федор Иванович! — нежно сказала она. — Вы очень даже миленький, только, наверное, ничего про любовь не знаете!

Спрыгнув со стола, Панка опять села на табуретку, поставив руки на колени, положила на них круглый подбородок. Как подружка подружке, как сестра сестре, Панка заглянула в глаза Анискину.

— Те мужики, которые долго живут с бабами, ничего про любовь не знают! Да разве, Федор Иванович, за красоту любят? Фигушки! Я вот того люблю, кто для меня, как икона...

Анискин глупо улыбнулся. Странная вещь творилась с ним: казалось ему, что вот он вроде есть, а вроде бы его нету. В разбитые окна дома, взрыхлив ситцевые занавески, влетел ветерок с реки — что такое, непонятно; цвели подушки и коврики, пахло квасом и бабой, нежное и говорящее сидело напротив него. Что, почему, откуда, опять непонятно! И не было за стенами дома деревни, не было реки, не было ничего — пустота.

— Ну, ну! — насильственно промычал Анискин.

— Про любовь мало кто знает, Федор Иванович, — задумчиво говорила Панка. — Ко мне, Федор Иванович, Пирожков из ДОСААФа ходит, как в деревню приезжает, но я его не люблю. Он, Федор Иванович, красивый, всегда в хорошем костюме и одеколоном «Шипр» намазанный. Я к нему, Федор Иванович, прикоснуться боюсь — такой он чистенький да красивый. Вот и не получается у нас любовь!

— Пирожков — дурак! — сердито сказал Анискин.

— Ой, Федор Иванович, ваша неправдочка! Если бы он дураком был, я бы с ним обошлась! Он, наоборот, очень даже шибко грамотный!

— Ну, ладно! — сурово сказал Анискин. — Мне теперь вопрос ясный! Ты, Панка, теперь молчи...

— Молчу, молчу, Федор Иванович!

Анискин поелозил по табуретке и почувствовал, что подниматься не хочется. И ноги сделались тяжелы, как чугунные, и тело освинцовилось, и в голове тоненько попискивало: «Пи-рож-ков! Про лю-бовь... как ико-на...» Ситцевость эта, коврики эти, запах этот, Панка эта...

— Бедненький! — трепетно сказала Панка. — На тебе лица нет, Федор Иванович!

Проливая из глаза нежность и жалость, Панка осторожно, словно по жердочке, подошла к Анискину, положила длинные пальцы на его локоть.

— Бедненький мой! — вздохнула она. — Вот до чего довели человека! То стальны листы прут, то самогонку варят, то дерутся... Не переживай, Федор Иванович, плюй на все! Бедненький ты мой!

Панкины пальцы поползли по руке Анискина, поднявшись до плеча, остановились, горячие и подрагивающие.

— Плюй на все, Федор Иванович, миленький! У тебя все в жизни ладно! Жена у тебя хорошая, ребятишки хорошие, зарплата большая, народ тебя любит... Ну, чего тебе заботиться, миленький!

Анискин наконец поднялся с табуретки, пятясь от жгучести Панкиных пальцев и ее голоса, наткнулся спиной на острый дверной косяк...

— Беги домой, Федор Иванович, — говорила по-родному Панка. — Полежи, отдохни, поспи... А захочешь, ко мне приходи, очень уж мне тебя жалко. Ой, как мне тебя жалко! Миленький ты мой!

В единственном Панкином глазе рождалась большая прозрачная слеза — все ширилась и ширилась, стала овальной, потом вытянулась на ножке и упала, покатилась по светящейся коже щеки.

— Миленький ты мой!

Анискин вышиб спиной дверь, от тряски упало и покатилось с грохотом цинковое ведро, с визгом бросился к крыльцу трехногий Шарик.

— Ну, ну! — пробормотал Анискин, сопя и отдуваясь. — Ну, ну!

Панка, схлестнув руки на груди, стояла на крыльце.

— Ой, не упади, Федор Иванович, ой, побережись, миленький!

— Ну, язва! — тихо сказал Анискин. — Ах, язва!

Нижняя губа у него выпятилась, подбородок задрался, пузо подтянулось.

— Ах, язва! — совсем громко повторил Анискин. — Это ведь что делается...

ЛУНА НАД ОБЬЮ

Рассказ

В субботу, после бани, кузнец Юсупов пришел к участковому уполномоченному Анискину. Руки кузнеца, привыкшие к клещам и молоту, на свободе болтались, и он их прятал за спину.

— Так что будь здоров, товарищ Анискин! — поздоровался кузнец и покашлял. — Если, к примеру сказать, ветра не будет, то завтра большая жара прибежит. Сегодня калил листову сталь, так шип мягкий — это к жаре...

— Каротель жру! — ответил Анискин. — Врачи прописали: мясо не ешь, рыбу не ешь, масло не ешь... Это рази жизнь? — вдруг рассердился участковый и рачьими глазами посмотрел на кузнеца.

Солнце не то садилось, не то еще пыталось удержаться на белесом июльском небе: никакие лучи по горизонту не бродили, так что время казалось неопределенным — то ли три часа дня, то ли шесть вечера. Анискин посмотрел на солнце, на старый осокорь возле дома, время, конечно, не определил и подумал рассерженно: «И когда это люди успевают в бани ходить!» После этого он бросил морковку на землю.

Они молчали, наблюдая за рыжим петухом. Он боком-боком, словно не по делу, подходил к огрызку морковки. Смотрел петух в сторону, в чужую ограду, а подошедши к морковке, замер, нагнав на глаза пленку. Хитрый был петух, бросовый, расторопный только насчет чужих куриц, и Анискин сердито свел брови, но поздно — в ту же секунду петух подскочил, изогнувшись, клюнул морковку, взлетел на выщипанных крыльях и — ни морковки, ни петуха... Анискин дернул губой и сказал:

— В суп!

— Все может быть! — подумав, согласился кузнец. — Я ведь к тебе по делу, Анискин.

— Ко мне без делу народ не ходит! Давай, докладай.

На крутой излучине Оби серебряной рыбой барахтался уходящий пароход «Пролетарий», березы и сосны на берегу стояли в немости, солнца в небе по-прежнему не было — растеклось, расплавилось оно по белесому куполу. Стояла на месте — не текла, не струилась — река Обь.

— Струмент и запчасти пропадают! — стеснительным шепотом сказал кузнец. — Уж не скажу за шестеренки, вчерась целу ось стебанули. Так дело пойдет, мне вскорости в кузне только картохи варить останется...

— Так! Вот так!

Повернувшись, участковый посмотрел на кузнеца насквозь и вовнутрь, приподняв одну бровь, смерил его взглядом с ног до головы, улыбнулся непонятно и, сложив руки на громадном пузе, стал покручивать пальцами.

— Докладай! — недовольно сказал он. — Воруют с умом или без ума?

— Тут как сказать, тут если, к примеру...

— Не разговаривай, докладай!

— Кто ворует, тот человек, конечно, не глупой, ежели рассуждать. Вот тут какая история...

Запутавшись, кузнец сбросил руки с коленей, взмахнув ими, сбился — непривычны были его руки к свободе от клещей и молота, мешали кузнецу.

— История, история, — передразнил Анискин. — Это тебе не молотом махать, а докладать... Теперь опять молчи и отвечай. Из чего воровано, ты машину можешь сладить? А?

— Каку машину?

— Любу!

— Никаку машину я из ворованного сладить не могу! — вдруг весело сказал Юсупов. — Да каку машину, господи, сладить можно, если берут что попадя...

Кузнец опять взмахнул руками, стал даже подниматься с места, радуясь тому, что понял Анискина, но участковый посмотрел на него строго.

— Если сел, то сиди! Руками не маши.

Слоноподобен, громоздок, как русская печь, был участковый уполномоченный Анискин, от жару красен лицом, словно перезревший помидор; думая, он сдвигал пышные брови, глаза по-рачьи таращил, и кузнец Юсупов почувствовал, как страх заползает в его грудь. Страшно было оттого, что рачьи глаза участкового глядели вглубь и насквозь. И кузнец перестал дышать, и виновато спрятал глаза, и тихо-тихо сказал:

— А вчерась прихожу в кузню, горн еще теплый.

Как только он произнес эти слова, Анискин быстро повернулся к кузнецу и отрывисто вскрикнул:

— А?!

После этого участковый занял прежнее положение, улыбнулся непонятно и сделался таким спокойным, точно никаких событий не происходило. Он ласкающим взглядом посмотрел на серебряную загогулину Оби, увидел, что солнце все-таки опадает на сиреневую черточку горизонта, что по реке тащится лодка-завозня, над кедрачами проступает прозрачная льдинка месяца.

— Вот что, Юсупов, — медленно сказал Анискин. — Ты теперь вали себе домой... Домой, говорю, вали, так как мне вопрос ясный...

Кузнец поднялся с лавки, затолкал руки за спину, глядя на Анискина исподлобья, стал пятиться задом к калитке. Как на нечистую силу, как на бабу-ворожею смотрел Юсупов на участкового Анискина, и казалось, вот-вот поднимет кузнец руки и осенит себя крестным знамением: «Свят, свят!»

— До свиданья, до свиданья, дорогой! — махал рукой участковый.

Когда кузнец окончательно ушел, Анискин, выпучивая глаза и отдуваясь, стал выстукивать пальцами марш. Тарабанил он громко и четко, как нанятый, потарабанив минут пять, подмигнул сам себе и встал. Послушав тишину, Анискин подергал губами, застегнул все пуговицы на рубахе и спиной прислонился к бревенчатой стене.

Затем он минуты две шарил ногами по раскаленной земле, наконец нашел сандалии и сам себе улыбнулся.

Минут через сорок участковый остановился возле домика с покосившимися воротами, немного подумав, приник глазом к щелочке меж досками. Хозяйки дома Алефтины Прокофьевой в ограде он не увидел, да и увидеть не ожидал, так как она с утра на ближних покосах копнила сено. Зато во дворе находился ее сын Виталька — парень лет шестнадцати. Он сидел на тесовом крылечке и, низко склонив голову, скреб железом о железо. Над длинным носом парня мотался белый чуб, оттопыривались крупные мальчишеские губы.

— Механик! — шепотом сказал Анискин.

Минуты три участковый стоял неподвижно, разглядывая двор и Витальку, — двор был чисто подметен, летняя плита выбелена, лебеда и лопухи скошены, а оба сарайчика и стайка подлатаны новыми досками. Все это, конечно, произвел Виталька, так как Алефтина и молоток в руках держать не умела. Анискин хмыкнул, отстранился от щелки и почесал указательным пальцем нос.

— Холера! — сказал он.

Анискин сел на скамейку возле ворот, расставил ноги, расстегнув три пуговицы на рубахе, повернул лицо к реке, хотя она по-прежнему прохладой не дышала; стеклянной, расплавленной казалась Обь, и смурно, тяжко сделалось Анискину. Стояли перед глазами яркие заплаты тесин на старом заборе Прокофьевых, вился белесый Витальки чубчик. Анискин снова тяжело вздохнул и так почмокал губами, словно раздавил на зубах терпкий стебелек полынь-травы.

— Язва! — выругался Анискин.

Вжикало железо об железо на дворе, сам по себе кряхтел старый дом, попискивало в горле у Анискина. «Жизнь! — думал он. — Река течет, солнце светит, комар летит. Жизнь!» Анискин косился левым глазом на старый прокофьевский домишко и вспоминал, что недавно — господи, совсем недавно! — хвалился дом на всю улицу белизной стройных ворот, вздыбленной крышей, широкими окнами в синих наличниках. А теперь...

Минут десять просидел Анискин на лавочке Виталькиного дома, потом тихонечко прицыкнул зубом, поднялся и неохотно, точно сам себя вел за шиворот, зашагал к воротам.

— Хозяева, а хозяева, — после молчания негромко позвал он. — Кто есть живой?

Сквозь вжиканье железа Виталька голос участкового не расслышал, и потому Анискин сам открыл маленькую калиточку, полез в нее, пыхтя и причмокивая.

— Ну, здорово, Виталька! — негромко произнес участковый.

Железо вжикать перестало; приподняв голову, Виталька увидел участкового, и произошло такое, от чего Анискин открыл рот: Витальки на крылечке вдруг не стало. Вот сидел он и вжикал железом об железо, а вот — его нету. От такого чуда Анискин тонко присвистнул.

— Ну, петух! Спортсмен! — покачав головой, сказал он. — Бегун!

Анискин сел на крылечко, положил подбородок на руки и протяжно зевнул — хорошо было на прокофьевском дворе. Занятая колхозными делами, Алефтина куриц, свиней, гусей и прочую живность вывела, бабскими бирюльками заборы не запакостила, чистоту блюла, и от этого душе было просторно. Поэтому Анискин еще раз зевнул и подумал: «Аккуратная баба Алефтина, хоть и без мужика живет. И Виталька пацан хороший — ишь как убег».

— Подожду! — сонно пробормотал Анискин. — Мне — чего!

Виталька возвращался, видимо, босиком, так как стука ботинок не слышалось, но участковый уловил натруженное сопенье. Это парнишечка так притомился, убегая. Потом в дверях стайки показался белесый чубчик и край синей рубахи, неосторожно выставленные Виталькой, когда он выглядывал, сидит ли еще участковый или ушел.

— Знает кошка, чье мясо съела! — негромко сказал Анискин. — Знает! Бегун, спорт-

смен... Сопреешь в стайке-то. От тепла навоз горит и сам тепло дает...

Подбородок Анискина по-прежнему лежал на руках, потому слова он произносил невнятно, жевано, но тон был добродушный и сонный — слышалось по голосу участкового, что сидеть на крылечке он собрался долго. В стайке громко запыхтели, что-то грохнуло, и Виталька боком выдвинулся на свет.

— Бегашь ничего, ударно! — сказал Анискин. — Если капусту испоганил, мать тебя за это по головке не погладит.

— Я другой стороной бежал, — сорванным голосом ответил Виталька. — Картохами...

— Ну, ну! Иди сюда.

Глядя в землю и жалко поводя шеей, Виталька приближался к Анискину на манер кролика, замордованного глазищами змея-удава. Вот сделал три шага, четыре, вот поднял голову и дальше пошел так, словно двигался по тонкому тросу, висящему над землей. Вспотевший лоб у парнишки был большой, как у недельного телка, и Анискин непонятно улыбнулся.

— Спортсмен! — сказал он. — Ты рубаху-то не жуй, рубаха денег стоит... Садись рядом со мной, отдышись и нос вытри...

Отвернувшись от Витальки, участковый опять положил подбородок на руки и закрыл глаза. Сладко ему было, прохладно от тени на крылечке, но мысли приходили грустные. Он думал о том, что дерево — непрочная штука, коли за тридцать — сорок лет дома оседают в землю, а ворота скашиваются. «Кирпич, конечно, прочней, — размышлял Анискин. — Если бы на Черной речке брать глину, то кирпичом хоть завались, но председатель по молодости лет не понимает... Эх, председатель, председатель!» О кирпичах и председателе Анискин думал минут пять, потом, не поворачиваясь к Витальке, сказал:

— Тебе, Виталька, воровать нельзя: у тебя вся правда на морде написана! — Участковый еще минуту подумал, вздохнул и медленно поднял голову с рук. — Ну, ладно! — сказал он. — Теперь ты меня туда веди, где железо и разные шестеренки.

— Ой! — вздохнул Виталька. — Куда это?

— Веди, веди!

И пошел Виталька впереди Анискина к сараю, и открыл дверь, и прошептал ватными губами:

— Сюда...

Анискин вошел в темный сарай, остановился, пригляделся, ничего не поняв и не разобрав, начал шарить рукой сзади себя. Он нащупал чурбачок, сел на него и внезапно тонко ойкнул.

— Матушки! — пробормотал он. — Родненькие!

В сарае стояла машина, похожая одновременно на велосипед, жнейку, стрекозу и паука. Анискин почувствовал, что голова у него кружится, а машина уже мерещилась висящей в воздухе, хотя она и не висела; еще через секунду все сходства пропали, и машина походила только на стрекозу, и от нее на лицо повеяло ветром, нанесло прохладой. Анискин зажмурился и отчаянно повторил:

— Матушки!

Когда же он снова открыл глаза, то машина опять стояла на земле, ударяя в глаза четырьмя загнутыми лопастями, яркими фанерными хвостами и лихо выгнутым стеклом из плексигласа. Две автомобильные фары бросали розовый отблеск, и от этой розовости машина казалась вся алой.

— Что такое? — спросил Анискин. — Что, спрашиваю?!

— Геликоптер.

Розовые отблески по-прежнему били в лицо участковому: он стал отвертываться от них и отвернулся бы, если бы не понял, что это отражается в фарах солнце, которое, уже склонившись к закату, пробивалось розовыми лучами в щели сарая. Поняв это, Анискин от розовых бликов уклоняться не стал, потряс головой и хрипло пробасил:

— Что же это делается? Матушки!

Посмотрев на машину, Анискин прикрыл глаза и таким образом «прикрыл» пять или шесть тайных милицейских дел. Ничего не видел он и, конечно, не заметил, как Виталька подошел к нему, как вытянул дрожащую руку и положил на плечо участкового.

— Дядя Анискин! — жалобно прошептал Виталька.

— Анискин, Анискин, Анискин, — как эхо, повторил участковый. — Эх, Анискин, Анискин!

Именно на участкового смотрели со странной машины фары от колхозного грузовика, плексиглас от председателевой моторки, подмигивал белой свечкой мотор от милицейского мотоцикла, а позади смеялся аккумулятор от старой колхозной трехтонки. Сердце заходилось у участкового, когда видел он белый чубчик и светлые мальчишечьи глаза.

— Сядь, не дыши, молчи! — вяло сказал Анискин. — Сиди как сидишь!

Горестно, как на последний осенний пароход, что уносит по Оби музыку и теплое шипенье пара, глядел Анискин на мотор. Что из того, что снял его Виталька со списанного мотоцикла? Все равно целый месяц участковый не мог сунуть носа в райотдел, а когда все-таки совал по неотложной надобности, то от стыда другим участковым в глаза не смотрел.

Три месяца рыскал Анискин по деревне в поисках аккумулятора, фар и плексигласа, у

себя в кабинете от досады перебил всех тараканов, но ничего не нашел, а только перессорился с добрым десятком мужиков, запятнав их напраслинными обвинениями. С ног до головы припозорился Анискин на этих загадочных делах, а вот оно... что... Стоит посередь сарая чучело не чучело, машина не машина и светит Анискину в глаза автомобильными фарами. Сидит рядом парнишенка Виталька и уже без всякого страха лупает глазищами, стараясь понять, чего это участковый вздыхает, чего уронил он голову на грудь. Эх, жизнь-копейка!

— Дядя Анискин, — позвал Виталька. — Дядя Анискин!

— Ну, что «дядя Анискин»! Дурак твой дядя Анискин. — Участковый заглянул парнишке в лицо, поцыкал зубом и опять уронил голову на грудь. Молчал он, наверное, минуту, потом тихо-тихо сказал: — Ведь отчего я все это найти не мог? А оттого, что такую машину и во сне не придумать. Я что искал? Мотор взяли — на лодку-моторку, фары — опять же на лодку-моторку. Я всех рыбаков в муку ввел с этим делом. Дружков в подозренье имел. Эх, жизнь, жизнь!

— Арестуй меня, дядя Анискин! — тонко сказал Виталька. — Вяжи меня — я во всем виноватый!

— Вяжи?

Усмехаясь, Анискин поудобнее устроился на чурбачке, стал глядеть на Витальку машину. Он почувствовал к себе горькую жалость и вяло подумал: «Свольнять меня надо с работы! На пенсию меня надо, сукиного кота!»

— Ты в каком классе? — тихо спросил Анискин.

— В десятый перешел.

— Английский изучаешь или немецкий?

— Английский.

Казалось, в фарах зажглась маленькая лампочка и колола лучиками в глаза Анискина, а вторая фара — подмигивала. Поэтому Анискин на месте больше сидеть не смог, поднялся и пошел по сарайчику, сам не зная зачем, сам не зная почему. Он потрогал носком сандалии землю — сухая и твердая, пощупал пальцами гвоздь, вбитый в стену, — теплый и шершавый, поднял с верстака несколько книг. Светло было в сарайчике, но участковый прищурился, когда читал заголовки: «Теория крыла», «Математический анализ», «Кибернетические системы», «Сопротивление материалов».

— Дела! — сказал Анискин.

Он перелистнул книгу с названием «Теория крыла», приблизил страницу к лицу, секунды две-три смотрел на незнакомые значки и буквы, но голова пошла кругалем, в глазах зарябило, хотелось гладить себя по затылку и чесать нос. Свободы хотелось, вольного воздуха, простора.

— Виталька ты, Виталька! — тихо повторил Анискин. — Я ведь никогда бы не поймал тебя, если бы про горн не услышал. Тут я сразу скумекал, что это дело неразумного мальчишенки. Никакой мужик не станет в кузне озоровать, ежели состоит при воровстве.

— Шестерню на вал насаживал, — колупая землю ботинком, ответил Виталька. — Без кузни нельзя...

— Виталька ты, Виталька!

Во все глаза смотрел Анискин на парнишку — вовнутрь, насквозь и по поверхности, — прикидывал так и эдак, но ничего особенного не видел: тоненькая шея, мальчишечий кадык, пухлые губы, светлые от честности глаза. «Мальчишка как мальчишка, а вот поди же ты... Захочет, может по-английски заговорить!» — вдруг подумал Анискин и неожиданно для себя спросил:

— Полетит?

— Должна полететь! — тихо ответил Виталька. — Считана.

Опять повернулся Анискин к машине, теперь смотрел на нее спокойными глазами. Он разглядел четыре лопасти, клеенные из разноцветного дерева, пропеллер меж фанерными хвостами, велосипедное сиденье и разноцветные маковки рычажков. И пахло тоже основательно — бензином, краской и машинным маслом.

«Полетит машина, — подумал Анискин, — возьмет себе и полетит! Затрещит мотор, закрутятся клееные лопасти, замельтешит малюсенький пропеллер на хвосте; сядет Виталька Прокофьев на велосипедное сиденье, чего-то нажмет, чего-то подкрутит и — полетел, полетел! Машина поднимется над кедрачами, просвистит над деревней, повиснет стрекозой над Обью. Высоко-высоко повиснет машина над рекой, и Виталька Прокофьев увидит всю Обь, и старый осокорь, и разрушенную мельницу, и молодые березы над покосившимися крестами деревенского кладбища...»

Так запечалился участковый уполномоченный Анискин, что застилала глаза влажная пелена. Ослеп он и, шатаясь, вернулся на чурбачок, шепча про себя: «На пенсию меня пора, на пенсию!» А что еще делать с человеком, который смотрит на шестнадцатилетнего мальца и ничего в нем не понимает?

— Эхма, жизнь, жизнь!

Вспомнил Анискин, что в прошлом году его не записали в кружок английского языка, а на политзанятиях майор говорил: «Кое-кому этот материал можно пропустить!» Понятно теперь это «кое-кому», понятно. На пенсию, на пенсию пора! Сдаст Анискин наган и удостоверение, фуражку и милицейскую шинель, вернется домой и скажет: «Вот я! Примай, Глафира!» Белых куриц разводить — вот чем займется Анис-

кин. Таких белых курц, каких недавно привезли в совхоз Тельмана...

— Как белые курицы называются? — досадливо спросил он Витальку. — Те, что в «Тельмане»?

— Легорн, — ответил Виталька.

«Легорн»! Язык свертывается в трубочку, дыхания не хватает, когда произносишь такие слова, а парнишенка так и чешет: «Легорн, легорн!» Все они знают, эти молодые да ранние — отпечатки пальцев берут, анализы разводят, версии разрабатывают, фотографируют, проявляют, следы линеечкой меряют, в лупы смотрят. Молодые, ученые! Найдет такой молодой да ученый человеческий волос, глянет на него сквозь стекло и: «Рост сто восемьдесят шесть, на один глаз косой, левая нога короче правой...» Конечно же — у такого мотор от мотоцикла не уведешь...

— Арифметика! — вслух сказал Анискин. — Химия!

— Лопасти собирал на синтетическом клее... — протяжно ответил Виталька.

Клей у них синтетический, системы кибернетические, матрасы поролоновые, стекла плексигласовые, по-английски кумекают. Нет, нет, курц разводить, как в совхозе Тельмана. Каждый день — яйцо, петухи — спокойные, грязи курицы боятся, потому что...

— Как белые курицы называются? — крикнул Анискин.

— Легорн!

Мать твою перемать! Стоит Виталька перед Анискиным, носом хлюпает, штаны держатся на одной пуговице, губы распустил, передние зубы кривые, а ведь вот... Лопасти, винты, моторы, сиденья — все как полагается. И полетит.

— Молчи! Не разговаривай! — прикрикнул Анискин.

— Я молчу, дядя Анискин!

В последний раз посмотрел участковый на машину — долго и спокойно, просто и буднично, оценивающе и критически. Теперь он увидел, что машина покрашена неровно, фанерные хвосты со щелями, под мотором — лужица масла, а на левой фаре змеевидная трещина. Подтеки клея на лопастях приметил участковый, обратил внимание на то, что кособочит машина на трех колесах.

— Бензин есть? — спросил он негромко.

— Есть.

Анискин застегнул все пуговицы на рубахе, расчесал пятерней волосы, криволапо ставя ноги, пошел к дверям сарая. Потухающие солнечные лучи все еще проникали в щели, и когда участковый шел, они то вспыхивали, то гасли на его широкой спине. Возле дверей Анискин остановился, не повертываясь к Витальке, сказал:

— Полетишь в воскресенье!

Анискин открыл дверь, сопя и прицыкивая зубом, выбрался во двор, плюнул на траву и скорым шагом пошел на улицу. Он не остановился до тех пор, пока не оказался на берегу реки. Здесь он выпрямился, заложил руки за спину, могучий, громоздкий.

— Ишь ты! — шепотом сказал он реке.

Солнце совсем ушло за горизонт, только несколько крутых лучей еще шкодничали над розовой кромкой, небо было темно-сиреневым, а над головой Анискина, клонясь к старому осокорю, висела прозрачная луна. Анискин поднял голову и смотрел на нее до тех пор, пока в глазах не замельтешили разноцветные точечки.

— Эхма! — вздохнул участковый. — Жизнь!

Мерцая миллионами лун, холодная и толстая, текла в берегах Обь; текла и текла, неизвестно куда, неизвестно зачем; поблескивал жесткими свинцовыми листочками старый осокорь, шелестел тоже неизвестно зачем, неизвестно о чем. И были у луны глаза и рот, а зачем были, почему были — неизвестно!

— Жизнь! Жизнь! — шептал Анискин. — Мать-матушка!

А кто-то знал, куда текла река, отчего у луны были глаза и рот, о чем шептался с луной старый осокорь. И кто-то знал, отчего растут березы на обском взгорке, где дыбятся редкие почерневшие кресты, среди которых будет лежать Анискин, когда последняя луна посмотрит на него последними глазами. Посмотрит и уйдет навсегда...

ТРИ ЗИМНИХ ДНЯ

Повесть

Глава первая

1

После ноябрьских праздников дочь участкового уполномоченного Анискина Зинаида слегла в постель. Температура была невысокой, но девушка молча лежала под одеялом, ежилась от озноба. «Да» и «нет» она произносила так тихо, что приходилось низко нагибаться к ней.

На четвертый день пришел фельдшер Яков Кириллович. Он около часа пробыл в комнате

Зинаиды, выйдя, сел на первый попавшийся стул и зябко потер руку об руку.

— Почта-то опаздывает! — сказал Яков Кириллович. — Пятый день нет почты-то...

— Аэродром замело, — ответил Анискин, — не идут самолеты.

Хотя и шел одиннадцатый час утра, в горенке все было желтым от света тусклой электрической лампочки, на оконных стеклах лежал синий морозный узор, от печки-голландки струился волнистый теплый воздух. И тоже желтыми были лица участкового Анискина и его жены Глафиры, так как лежали на них желтые непрочные тени.

— Не могу поставить диагноз! — сердито сказал фельдшер Яков Кириллович. — Девочка похудела, пастозна, откровенно немобильна, но суть не ухватывается. Вот так-то, братец мой Анискин! Подождем день-два...

В кухне, надевая черную шубу на хорьковом меху, фельдшер Яков Кириллович сердито щурился, морщился болезненно, а перед самым уходом протянул Глафире серенькую бумажку. «Железо, железо!» — пробормотал он и, помахивая тросточкой, вышел. Было слышно, как Яков Кириллович резкими шагами двигался по сенцам, потом по крыльцу. Когда сердитые шаги Якова Кирилловича затихли, участковый Анискин посмотрел на жену, она — на него.

— Ничего вроде опасного нет! — задумчиво сказал Анискин. — Когда Яков Кириллович дает серый рецепт, то ничего опасного нет...

На ногах участкового были огромные валенки, одет он был в куртку из коричневого вельвета и стеганые брюки. От этого Анискин казался много толще, чем на самом деле, но, несмотря на теплые одежды, дышал ровно, легко и двигался проворно, как всегда в зимнее время. И лежал на щеках Анискина молодой зимний румянец.

— А ведь я пойду! — сказал он. — Вон уж скоро одиннадцать.

Участковый снял с вешалки форменный милицейский шарф, два раза обмотнув его вокруг шеи, концы забросил за спину, потом напялил на голову лохматую шапку из собачины и стал натягивать белый полушубок, на котором погон не было, но на плечах имелись поперечные полоски для них. Поверх полушубка Анискин наложил широкий ремень и, сопя, затянул его. После всего этого он вздохнул так облегченно, как вздыхает ребенок, которого мама собирает гулять и уже выставила одетого за дверь.

— Я пошел! — сказал Анискин. — Давай рецепт-то.

Однако он сразу не ушел, а еще несколько минут постоял у порога, искоса глядя на жену — неподвижный, тихий, в своем белом широком полушубке похожий на снежную бабу. Глафира тоже молчала, и ее сложенные на груди руки тихонечко пошевеливались.

— Ты уж не перебирай картошку-то, — приглушенно сказал участковый. — Посиди с Зинаидой-то.

После этого Анискин вышел на крыльцо и неспешно огляделся.

Шла середина ноября, снега начали выпадать всего три недели назад, но пошли густо и часто, и потому с деревней уже произошло то, что происходило в прошлые годы к концу месяца: деревня, на взгляд, сделалась небольшой и низенькой. Висело над ней близкое серое небо, дома, заметенные снегом, уменьшились в размерах, а край обского яра приблизился к домам, так как не было за ним зеленой пространственности воды.

И везде, куда бы ни смотрел участковый, лежал легкий, пушистый и свежий снег. Ни вмятинки, ни точечки сажи не было на том пространстве, которое охватывал глаз, и казалось, что добрый, чистоплотный и заботливый человек нарочно укутал стылую землю, озябшие дома, голые деревья этим мягким снегом, нежной этой пеленой. А Обь под снегом лежала такая ровная, такая светлая, словно снежной лентой текла в океан. И стоял, с ног до головы белый, с белой головой, на берегу Оби осокорь.

Зимней, неспешной жизнью жила деревня — прошли, громко скрипя валенками, возвращающиеся с фермы доярки; по-зимнему четко прогрохотал по улице трактор «Беларусь», волоча сани с навозом; от дома к дому по-заячьи проскакал простоволосый мальчишка с калачом в руке; потом прошел заспанным шагом клубный киномеханик, и уж потом над ухом Анискина четким, бодрым голосом сказали: «Доброе утро! Начинаем утреннюю гимнастику...» Это означало, что в Москве было семь утра, а на Оби одиннадцать, так как день в деревне приходил на четыре часа раньше, чем в столице.

Участковый сошел с крыльца. Он держал путь к колхозной конторе, потому неторопливо зашагал по центральной длинной улице деревни. Дышал он равномерно и с приятностью, зубом прицыкивал редко, руки за спину не закладывал. Под стодвадцатикилограммовым телом Анискина снег скрипел громко, как под тракторными санями, валенки на снегу оставляли крупные следы, меж воротником полушубка и шапкой клубился парок от дыхания.

Возле того проулочка, что вел к снежным кедрачам, участковый приостановился. Снег под валенками скрипеть перестал, и услышались взрывы моторов, комариный вой электропил и тугой стон замерзшей земли. Эти звуки были чужеродны деревне, отдельны от рева трактора «Беларусь», эти звуки деревне не

принадлежали и принадлежать не могли, так как деревенскими не были.

Звуки издавала тайга, кедрачи, что клином шли в деревню с юга. Там, в кедрачах, вот уже второй месяц работал передвижной лесопункт, вырубающий мачтовый сосняк и кедры. Лесопункт, как и кедрач, наступал на деревню с юга, и с каждым днем все явственнее становились звуки. На лесопункте круглые сутки выли моторы, раздавались мужские голоса; с рассвета до темноты валились на землю деревья; днем и ночью горели костры, а только ночью врезались в темень и снег кинжальные лучи прожекторов. Круглые сутки выл и гремел лесопункт, похожий на парикмахерскую машинку, что оставляет за собой неровный след на зябкой коже. Всего второй месяц наступал лесопункт на деревню, но в снежном кедраче уже прореживалась серая полоса — пеньки, грязь, ямы да зола.

«Вот от такого безобразия тоже можно заболеть! — подумал Анискин. — И тишины не стало, и воздух тяжелый...» И опять в деревне услышался скрип его громадных валенок. Это участковый пошел дальше, заложив руки за спину и широко расставляя ноги. Он шагал по-прежнему главной улицей деревни и думал о том, что зимой ему, конечно, дышится и живется легко, но скучновато, так как зимой происшествий на деревне меньше, чем летом. Зимой в деревне только чаще варят самогонку. Вот Анискин и шагал неторопливо, вот и размышлял длинно, вот и останавливался возле каждого дома. Он смотрел на дымок, что шел из труб. Если дым был серый или черный, то участковый возле дома обычно только приостанавливался, если же дым из трубы не валил, а тихонечко струился, если цвет у него оказывался сизый, с легкой краснинкой, то Анискин качал головой и останавливался совсем. На пути до колхозной конторы только из одного дома валил бордовый дым, и Анискин минут пять простоял, глядя на него. В доме жил Дмитрий Пальцев, о том, что он собирается варить самогонку, участковый знал еще вчера, и теперь он неторопливо думал: «Во втором часу нагряну...»

Анискину оставалось прошагать метров сто до колхозной конторы, когда в морозном воздухе родился новый звук — по-волчьи завыла собака, а потом накатом пробежал от дома к дому женский крик. От неожиданности участковый вздрогнул и волчком крутанулся на месте. Он еще ничего не успел разглядеть на белой снежности, но уже понял, что крик и собачий вой происходят в доме Мурзиных. Потом Анискин увидел, как, стоя на крыльце в домашнем платьишке, заломив руки над головой, Марина Мурзина тонко и жутко кричала.

— Лю-ю-уди! — звала она. — Лю-ю-у-ди...

Когда Анискин подбежал, Марина вдруг спрыгнула с крыльца, грудью упала на собаку и обхватила ее руками за белый бок, покрытый темной кровью. Участковый на секунду остолбенел, затем кинулся к Марине, поднял ее и чуть не уронил, так как женщина опять страшно и тонко закричала. Марина кричала ровно столько, насколько ей хватило воздуха, а потом замерла в руках участкового с широко открытым ртом. Он тоже замер.

В тишине, которая легла окрест после крика, затаилась деревня, белел снег, текла к северу Обь. А на чистой этой белизне был распростерт окровавленный пес. Дико все, невозможно, странно! Потом и тишина кончилась — Марина качнулась, как на волне, схватила себя руками за волосы и еще страшнее прокричала:

— Степана убили!

Деревня бежала к дому Мурзиных. На ходу надевая пальто, выскочил из конторы председатель Иван Иванович, за ним в одном пиджаке бежал парторг Сергей Тихонович, из клуба мчался киномеханик, от соседних домов — женщины и мужчины. И все бежали, и все кричали, и опять жутко завыл пес Казбек, и Анискину на мгновение показалось, что от этих криков снег посерел. И, как бывает, громкоговоритель на колхозной конторе забубнил невпопад веселое: «А я иду, шагаю по Москве...»

Минут десять висел над деревней и снежной Обью человеческий крик, потом постепенно затих, и тогда Анискин, еще плохо понимая, что делает и говорит, крикнул:

— Собаку, собаку возьмите!

Несколько мужских рук протянулись к Казбеку, схватили, подняли его, пронесли над головами женщин и детей, и собака повисла на уровне груди участкового. Пес от страха закатил глаза, но Анискин жесткими от волнения пальцами стал прощупывать его, раздвигать шерсть, подергивать за лапы. Руки участкового мгновенно покрылись кровью, но он на это не обращал внимания, все торопливее и торопливее ощупывал собаку, потом отдернул от нее руки, словно обжегся.

— Собака цела! — бледнея, сказал Анискин. — Собака цела...

Потрескивал мороз, стонал снег под ногами участкового. Продолжая бледнеть, он медленными движениями распахнул на груди полушубок, опять запахнул его и приостановился. Медленной дрожью исходила Марина, кипела кровь в оскаленной пасти Казбека, не дышали люди, что тесно обступали участкового. Он еще несколько секунд стоял неподвижно, потом, выпрямляясь, торопливо застегнул верхнюю пуговицу на полушубке и вдруг по-рачьи выкатил глаза. В ту же секунду бледность схлынула со щек Анискина.

— Все оленьи лыжи, что есть в деревне, сюда! — крикнул участковый. — Марину уведите в дом, Казбеку принесите поводок... Ну, скорее! Иван Иванович...

Он не закончил: уши резанул крик Марины. Она на этот раз закричала так, что мальчишки и девчонки бросились врассыпную. Так не мог кричать человек, и Анискин стремительно подумал: «Все! Убили Степана!»

2

На девятом километре Казбек свернул в сторону, грудью осел на снег и тонко пролаял два раза. Потом собака затихла.

Среди маленьких сосенок лежал на спине Степан Мурзин. Телогрейка была расстегнута, рубаха задрана, и левая рука темнела на голой груди. Ноги мертвый Мурзин раскинул, словно собирался сделать еще один, последний шаг. Крови нигде видно не было, но когда участковый, осторожно подойдя, отвернул разорванный край рубашки, под левым соском Степана увиделась пулевая рана. Жакан — самодельная пуля из свинца — вошел чуть ниже, прошил тело наискосок и вышел сбоку. Поэтому с другой стороны тела ледяными полосками лежала кровь.

Открытые глаза Степана Мурзина смотрели в серое небо. Лежал он в девяти километрах от родной деревни, но тишины вокруг Степана не было, хотя и стояли обочь голубые ели, небольшие сосенки, а над головой пошевеливал крупными иголками старый кедр. Тишины в тайге не было потому, что приглушенно пели моторы на передвижном лесопункте, над вершинами деревьев летел с треском почтовый самолет, а участковый Анискин дышал тяжело и с присвистом.

Молчание длилось долго, до тех пор, пока солнце наконец не прострелило последние клочки сизого тумана и мир не проявился так, как проявляется на бумаге переводная картинка. Солнце вышло из тумана, и с елей, сосен, с земли и самого неба словно бы сдернули серую пленку. Заблистав, мир сделался выше, просторнее, шире; осветившись, тайга как бы раздалась вширь и ввысь.

— Так! — сказал Анискин. — Эдак!

В телогрейке, туго перетянутой ремнем, Анискин был подвижен и легок, на лыжах передвигался с места на место споро. Сантиметр за сантиметром он оглядел убитого, собаку, мертво застывшую невдалеке от хозяина, след лыж за спиной и круглую цепочку неярких следов. Потом Анискин обернулся к расщелине меж соснами, где стояли тракторист Григорий Сторожевой и преподаватель физкультуры школы-восьмилетки Людвиг Иванович.

— Сюда! — позвал участковый. — Идите след в след.

Тракторист и учитель осторожно приблизились. Они встали рядом с Анискиным, и он стянул с головы лохматую шапку, прижал ее к груди и выпрямился. Они тоже сняли шапки, и потекли длинные протяжные секунды. Потом послышался сухой шорох снега: собака, волнообразно изгибаясь спиной, подошла к мертвому хозяину, вытянув голову, положила ее на раскрытую ладонь окровавленной руки. Хвост Казбека выпрямился, затвердел.

— Три дня, — сказал Анискин, — три дня... и я найду убийцу!

Всего два часа прошло с тех пор, как участковый услышал крик Марины Мурзиной, но за это время Анискин похудел. Его щеки побледнели и обвисли оттого, что он пробежал безостановочно на лыжах девять километров; его фигура казалась тоньше оттого, что был он перетянут ремнем; его глаза сухо поблескивали, так как все эти три часа время от времени думалось: «Беда одна не ходит!» И тогда возникали перед мысленным взором строгие глаза фельдшера Якова Кирилловича, а в ушах раздавался нечеловеческий крик Марины Мурзиной.

Наконец Анискин надел шапку.

— Первое убийство на моем веку! — медленно сказал он. — В тридцатых годах кулаки убили уполномоченного из области, так я еще милиционером не был... С тех пор в нашей деревне никого не убивали.

Он натянул на пальцы рыжие милицейские перчатки, туго забил каждый палец на свое место, сунув руки за ремень, вздохнул.

— Следов убийца не оставил, — сказал Анискин. — Снег шел с четырех до девяти. Вот глядите, даже Казбеков след присыпан... Пес-то долго надеялся!

Действительно, от ног Степана Мурзина шли частые собачьи следы, полузасыпанные снегом, а обратно — редкие. Это Казбек уходил от мертвого хозяина медленно, а возвращался бегом, скачками.

— Пес-то долго надеялся! — повторил Анискин. — Ну, что ж, давай, Людвиг Иванович.

Развернув лыжи, участковый и тракторист отошли в сторонку, а преподаватель физкультуры начал щелкать фотоаппаратом. Он сфотографировал труп Степана Мурзина сверху и сбоку, спереди и с ног. Было морозно, и Людвиг Иванович то и дело прятал аппарат под телогрейку, чтобы не прихватило затвор. Кончив, он тоже отошел влево, и участковый шепотом приказал ему и трактористу осмотреть со всех сторон место происшествия. Они разошлись в разные стороны, а возле убитого

Степана Мурзина остался лежать неподвижный Казбек.

Минут через сорок трое сошлись на прежнем месте. Было два часа дня, на передвижном лесопункте начался обеденный перерыв, и в тайге было тихо. Только изредка падали мягко на землю снежные комья с сосен, деревья пошевеливали вершинками, да похрустывал снег под лыжами.

— Докладайте! — сказал Анискин. — Пыж нашли?

Пыжа нигде не было, но зато тракторист Сторожевой держал кожаными пальцами неожиданный среди снега, сосен, солнца и неба предмет — длинногорлую бутылку с яркой цветной наклейкой «Рислинг». На донышке бутылки поплескивало немного светлого вина.

— Лежала под сосной, — сказал Сторожевой. — Вон та, вторая справа... А вот еще бумажная гильза.

Под второй сосной справа в снегу темнело круглое отверстие. Осторожно приблизившись к нему, Анискин остановился сбоку, присев на корточки, принялся тихим, задумчивым взглядом осматривать сосну, снег и отверстие. Участковый прикидывал расстояние от бутылки до трупа, от бутылки до расщелины меж соснами; потом зачем-то глядел на солнце и вершины сосен, словно и меж ними измерял расстояние. Он прицыкивал зубом, качал головой и был уже таким, каким его редко, но все-таки видели в деревне. Глаза у Анискина были круглые и как бы сонные, движения медленные и раздельные, а губы были сжаты тугой гузкой. Он все шаманил и шаманил над круглым отверстием, затем стал что-то бормотать про себя, и тем, кто глядел на него, было жутко, тревожно и маетно. Страшен, непонятен был человек, колдующий над круглым отверстием в снегу, но сейчас за его спиной лежал труп Степана Мурзина, стыла в неподвижности собака, первозданно шумели деревья. И по-прежнему было тихо, и тракторист Сторожевой и преподаватель физкультуры Людвиг Иванович ежились под пропотевшими телогрейками.

А участковый Анискин уже приподнимался с земли. Он посмотрел длинно на тракториста и преподавателя, дернув губой, сказал:

— Три дня осталось убийцу искать! Если в три дня не найду, то никогда не найду... — Он сделал паузу, потом продолжал громко: — А теперь будем Степана брать!

Вот таким, наверное, Анискин и был на фронте, каким был сейчас. Он сделался прямым и высоким, глаза похолодели и замерли, две складки пролегли у полных губ. Офицерскими четкими движениями участковый снял перчатки, сунув их за ремень, раскачиваясь, как лыжник-десантник, в несколько плавных скольжений приблизился к мертвому Степану Мурзину. Голос Анискина был ровен, когда он сказал:

— Снимайте лыжи.

Они скрепили четыре лыжи, набросали на них сосновые ветки, а на них, осторожно подняв, положили Степана Мурзина. Затем участковый снял с убитого телогрейку, прикрыл ему плечи и голову.

Тихо было на снежной поляне. Не летел над тайгой почтовый самолет, молчал передвижной лесопункт; в молчании стояли сосны и ели, качалась кедровая ветка с голубой оторочкой снега. За соснами и елями стлались белые луга, за ними — кедрачи, а за кедрачами простирались Васюганские болота — сотни километров льда, присыпанного снегом, круглых кочек, похожих на пупырышки по озябшей коже. На много километров окрест лежала белая и твердая земля.

— Поехали! — сказал Анискин.

Они поволокли за собой лыжи с телом Степана Мурзина, но шагов через пять остановились, так как собака осталась на месте. Казбек лежал пластом на снегу, острые уши висели, как перебитые, чуть желтоватая шерсть отчего-то голубела.

— Казбек! — позвал Анискин. — Казбек!

Слова шепотливым эхом отозвались в сосенках, усилившись, гулко пробежали по расщелине меж двумя большими соснами, но пес не пошевелился. Тогда в смятой и глухой тишине, побледнев от предчувствия, участковый тихо-тихо пошел к собаке. Лыжи не скрипнули, снег не прошуршал — так бесшумно возвращался участковый. Он нагнулся к собаке и долго не разгибался.

— Пес-то, пес-то...

Голова мертвого Казбека лежала на лапе.

— Пес-то сдох! — неизвестно для чего сказал участковый. — Пока мы Степана на лыжи клали, пес-то сдох... Казбек, Казбек, — прошептал он. — Что же я без тебя буду делать?.. Ведь ты бы убийцу опознал!

3

Следователь районного отдела милиции и медицинский эксперт прилетели утром, вертолетом, так как «газик» снегами не прошел. Поэтому часов в десять утра над деревней боком, по-стрекозиному, промчался небольшой вертолет, стрекоча, повис над Обью и стал медленно, как бы нерешительно спускаться. Когда грохот винтов затих, из машины вышли следователь Игорь Качушин и с ним женщина небольшого роста.

Увязая в снегу, они пошли к высокому речному яру, на кромке которого неподвижно стоял участковый Анискин, окруженный

молчаливыми ребятишками. Снег был глубокий и рыхлый, приехавшие то и дело увязали в нем и шли медленно, хотя вертолет не улетал: он должен был дождаться возвращения врача-эксперта. И не двигался с места участковый Анискин. Он знал следователя Игоря Качушина, помнил, что лейтенанту милиции всего двадцать пять лет, но Анискин все-таки сделал несколько шагов вперед, когда приехавшие поднялись на яр.

— Здравствуйте, товарищи! — негромко ответил участковый на приветствие Качушина и врача. — Здравствуйте, здравствуйте!

Они пожали друг другу руки, немного помолчали, а потом Анискин и следователь пошли в милицейский кабинет, а женщина-врач двинулась в сторону дома Степана Мурзина, окруженная ребятишками, которые показывали ей дорогу.

Было уже половина десятого, солнце за тучами взошло окончательно, и над деревней вызревал неяркий ветреный день. Как и вчера, облака висели низко и густо, обступали деревню со всех сторон, в них не было ни просвета, ни щербинки с кусочком голубого неба. И как понимал участковый Анискин, все это предвещало большой ветер, может быть, даже метель. Потому, шагая, участковый хмурился и недовольно хмыкал, но за всю дорогу ни разу не обернулся к следователю Качушину.

Участковый остановился на маленькой площади, что образовалась между сельповским магазином, детскими яслями и почтой. Он наконец повернулся к следователю Качушину, сдвинув брови на переносице, стал смотреть, как легко и ловко идет молодой лейтенант. Качушин помахивал чемоданчиком, в губах пошевеливалась сигарета, ноги были обуты не в валенки, а в теплые короткие ботинки. На плечах у него было широкое демисезонное пальто. С ног до головы молод и энергичен был следователь Качушин. Вот он подошел к участковому, вот остановился, вот сверкнул белыми зубами.

Участковый молчал. Он понимал, конечно, отчего возбужден молодой Качушин: не каждого следователя поздним вечером вызывают к начальнику милиции, говорят уважительные слова, сажают утром в специальный вертолет, чтобы отправить на чрезвычайное происшествие. И не о каждом следователе начальник райотдела милиции говорит те слова, которые были сказаны вчера вечером Анискину по телефону. «Качушин умница! — сказал далекий голос начальника. — Прими его хорошо, Федор Иванович!» Вот потому лейтенант Качушин и улыбался, потому и помахивал чемоданчиком.

— Привет вам от райотдельских ребят, — сказал Качушин, — а начальник, Федор Иванович, вас превозносит до небес. Анискин, говорит, не человек, а рентген... Это правда! — Следователь сдержанно улыбнулся. — Вы и на меня смотрите, Федор Иванович, просвечивающими глазами...

Так оно и было: участковый смотрел на Качушина тихими, задумчивыми глазами. У Анискина на лице было то самое выражение, когда нельзя было понять, о чем он думает и чего он хочет, когда казалось, что глаза участкового источают что-то неуловимое, но ощутимое, путающее и густое... Следователь Качушин негромко рассмеялся.

— Да, — сказал он, — действительно...

— Ты на деревню посмотри, Игорь Валентинович, — негромко сказал Анискин, — ты на деревню посмотри...

Деревня приглушенно молчала; возле домов, на лавочках, сидели люди, а возле дома убитого стояла недвижная толпа. Под низким небом, на сером от света снегу можно было насчитать человек сто, и следователь Качушин перестал улыбаться. Теперь увиделось, какой у него длинный и узкий лоб, как чиста и румяна кожа лица и какие странные губы — квадратные.

— Пойдемте, Игорь Валентинович, — сказал Анискин, — чего стоять.

В милицейском кабинете Качушин снял широкоплечее пальто, и в комнате сразу сделалось светлее: такой яркий голубой свитер был на следователе. Потирая озябшие руки, он прошелся по кабинету, и вслед за ним пробежал голубой отблеск по ободранному шкафу, по русской печке. Теплые ботинки следователя поскрипывали, светлые легкие волосы шевелились от движения.

— Поехали, Федор Иванович! — сказал он. — Давайте с самого начала и подробно.

Анискин стоял возле стола, а когда следователь сел, то участковый сделал еще шаг вперед и молча положил на стол несколько больших фотографий. Потом он отступил на прежнее место и замер.

В милицейской комнате уютно потрескивала раскаленными кирпичами печка, шуршали тараканы за ней, беззвучно переходил из угла в угол потревоженный кот Васька. Наблюдая за тем, как Качушин разглядывает фотографии, участковый стоял ровно, не шевелясь; он приподнял подбородок, глаза заузил, а спина казалась жесткой, деревянной.

Наконец Качушин отложил в сторону фотографии, выпрямился, и участковый увидел на его лице нерешительную, смущенную улыбку.

— Протокола́ есть! — доложил участковый. — Вот они!

Четкими движениями он вынул из потрепанной планшетки несколько листов клетчатой бумаги, исписанной крупными буквами, опять

сделал шаг к столу и положил на него листки.

— И вещдоки имеются! — продолжал участковый, вынимая из кармана бутылку из-под рислинга, завернутую в газету, медное колечко и бумажную гильзу. — Вот. А это протокол осмотра трупа.

Качушин, охватив виски ладонями, читал протоколы, а Анискин неподвижно стоял. Ночь участковый не спал, глаза сами собой закрывались, по телу пробегала сладкая длинная волна, а мысли путались. Его покачивало, как на лодке, и он думал о том, что в протоколе есть слово «навылет», которое он написал отдельно, а утром приходил к его дочери Зинаиде фельдшер Яков Кириллович и сказал путано: «Видимо, болезнь не тела, но духа, хотя и сие еще известно приблизительно».

— Отлично! — как бы издалека донесся голос следователя. — Картина вырисовывается.

Качушин несколько раз прошелся по кабинету. Ходил он быстро, в углах повертывался резко и руки держал за спиной. Походив, он остановился, приподняв голову, посмотрел на участкового и начал понемножечку краснеть: он увидел, что участковый стоит перед ним навытяжку, что валенки Анискина по-солдатски приставлены один к другому. Следователь краснел отчаянно, тяжело; он так покраснел, что глаза поголубели, а квадратные губы сделались черными.

— Федор Иванович, — пробормотал он, — Федор Иванович...

Несколько секунд участковый молчал, а потом сказал задумчиво:

— Я тогда протокола не пишу, когда дело пустяшное. А уж коли содеялось убийство...

Анискин сел на табуретку и приглушенно засмеялся.

— Ты меня тоже прости, Игорь Валентинович, — сказал он. — У тебя впервой убийство, а я стою, как дурак, с надутыми губами... Вот слушай, Игорь Валентинович, как и что произошло.

В комнате было тепло, уютно, сквозь растаявшие окна виделся кусок снежной Оби, старый осокорь на берегу, угол сельского Совета с красным флагом на крыше. Участковый рассказывал медленно, останавливаясь, задумываясь; слушая его, Качушин то расхаживал по кабинету, то присаживался на табуретку, то останавливался возле печки со скрещенными руками на груди.

— Вот, почитай, и все, Игорь Валентинович, — закончил Анискин. — Первое убийство в моей деревне, и самое плохое дело, что сдох Казбек.

Участковый медленно подходил к Качушину; приблизился, нагнулся, ласково и просительно положил руку на плечо следователю.

— И последнее дело, Игорь Валентинович. Мне шестьдесят третий год, я в деревне сорок лет живу и каждого человека знаю до ниточки. — Он вздохнул и помолчал. — Так что среди деревенских я всякого человека знаю, какой к этому делу близкий, а вот среди леспромхозовских...

Вдруг что-то произошло с Анискиным: он ссутулился, словно умываясь, провел пальцами по бледному лицу, потом вяло опустил руки.

— Тут такая история, Игорь Валентинович! Как дело доходит до леспромхозовских, то я становлюсь хуже слепого котенка.

Анискин смотрел в окошко, но казалось, что не видит он ни Оби, ни осокоря, ни сельсоветского флага. В прошлое глядел Анискин, и в зрачках отражался перевернутый старый осокорь.

— Вот такая история, Игорь Валентинович, — повторил он. — Так что я тебе ничем не могу помочь по леспромхозовским.

Участковый и следователь сидели рядом, падал на их лица тусклый дневной свет, и Качушин наконец разглядел, что у Анискина серые глаза. Веки у него были пухлые и тяжелые, так что издалека не усматривалось, что глаза у него круглые, блестящие и теплые. И если кожа лица серела, у губ лежали глубокие старческие складки, то блеск глаз был молодым, чистым.

— Я так рассуждал, Игорь Валентинович, — сказал участковый. — Кто мог Степана убить? Конечно, браконьер. Им он житья не давал. Это про деревенских, а вот про леспромхозовских я ничего сказать не могу. — Он покачал головой, вынул из кармана небольшую бумажку, расправил ее на колене, прочел: — Михайла Колотовкин, Иван Бочинин и Флегонт Вершков. Эти были ночью в тайге, когда Степан Мурзин погинул. Митрий Пальцев, кажется, в тайге не был, но это надо еще проверить. Все остальные жители, Игорь Валентинович, в ночь убийства сидели дома. Мала деревня, кажный человек на счету.

Участковый тоненько вздохнул, покачав головой, стал смотреть в окно, на реку. Было слышно, как воздушные потоки надавливают на окна милицейского дома, как постукивает на крыше неплотно прибитая доска.

— А самое главное, Игорь Валентинович, что преступник — такой человек, которого хорошо знал Казбек. Это опять же Михаил Колотовкин, Иван Бочинин и Флегонт Вершков. А из леспромхозовских...

Участковый печально прицыкнул зубом. Делал он это забавно: сперва приподнимался левый уголок губ, собиралась на щеке глубокая ироническая морщина, и уж затем раздавался

протяжный цокающий звук. Одного зуба у Анискина не хватало.

— Вот так-то, Игорь Валентинович, — продолжал участковый, — Степан был самый ловкий мужик в деревне. Два ордена Славы имел, да при нем обретался Казбек. Сам посуди, кто его мог одолеть? А ведь перед смертью Степан с кем-то дрался. Это я теперь доподлинно знаю. Я прошлую ночь до самого рассвета на том месте, где Степана убили, просидел. Костер жег и про это дело думал. А утром колечко от ножа нашел. Так что я теперь знаю: Степана в драке убили. Большая драка была, Игорь Валентинович!

Анискин хотел сказать еще что-то, но не успел: по крыльцу пробежали быстрые легкие ноги, дверь торопливо отворилась, и в комнату вместе с клубом морозного пара влетела врач-эксперт. Она бросила на стол коричневый саквояж, распахнула мохнатую шубу, и, пока искала в карманах какую-то бумагу, участковый успел разглядеть возбужденное девчоночье лицо, плутовской, загнутый кверху носик и капризные губы. Торопясь, она наконец нашла нужную бумагу, протянула ее Качушину.

— Тут все написано, Игорек! Наши распрекрасные туземцы подрались. Выстрел был произведен вплотную или был самострелом. Это установит экспертиза.

Девушка, не спросив, взяла со стола ружье Степана Мурзина, пустую бутылку из-под рислинга, медное колечко и торопливо двинулась к дверям. Мягкие сапожки пробежали по щелястому полу, запрыгнули на широкий порог милицейской комнаты. Вот она была в комнате, вот она стояла на пороге, а вот ее не стало, словно и не было никогда, хотя по полу все еще стлался зябкий уличный воздух.

— Так! — сказал участковый. — Эдак!

Усмехаясь и покачивая головой, он подошел к столу, взял в руки бумагу и долго-долго читал неровные буквы. Брови участкового задрались на лоб, губы раскрылись, и дышал он тяжело, с присвистом. Анискин смотрел в бумагу, а сам видел желтые языки огня среди елей и сосен. Оседал подтаявший снег, синим воровским огнем тлели угли, лежала на отяжелевшей сосновой ветке большая ночная звезда, так как прошлой ночью небо вдруг ненадолго прояснилось, и была даже луна, в свете которой разрытый пористый снег голубел и переливался. Была длинная, как вечность, ночь, были длинные, бесконечные мысли, но вот девчонка с задранным носом фыркнула: «Наши распрекрасные туземцы подрались!»

— Так! — повторил Анискин. — Как же она про драку-то узнала?

Он подошел к вешалке, снял с нее белый полушубок, замедленно натянув на плечи, застегнул все до единой пуговицы.

— Пойдем за туземцами! — усмехнувшись, сказал Анискин. — Надевай свое пальто, Игорь Валентинович!

4

Ветер час от часу усиливался. Приплыли с юга темные густые тучи, опустились над деревней, дыша снегопадом и оттепелью; уже весело пощелкивал он обтрепанным флагом на сельсоветской конторе, завивал легкие бурунчики в закутках улицы; на дороге сидели вихрастые вороны. На обском берегу ветер кидался в ноги, надавливал на спину, и по всему было видно, что идет на деревню метель, а может быть, первый в этом году буран.

Участковый и следователь еще только поднимались на крыльцо милицейского дома, а уж всей деревне было известно, что арестован Иван Бочинин. Они еще обивали снег метелкой с ног, а сплетница баба Сузгиниха уже бегала из дома в дом, сообщая, что именно Иван Бочинин убил Степана Мурзина. Следователь еще причесывался, участковый еще снимал полушубок, Иван Бочинин еще только боком садился на табуретку, а возле милицейского дома уже толпились ребятишки, прибежавшие посмотреть на убийцу.

Качушин садиться не стал. Он подошел к столу, бочком устроился на кончике и еще раз провел пальцами по волосам. Гладкие, блестящие, они теперь лежали ровно, словно пробором были разделены полоской электрического света. Качушин несколько минут сидел молча, покачивая ногой, исподлобья глядя на Бочинина.

— Рассказывайте! — спокойно попросил он. — Записывать я буду потом.

Иван Бочинин часто-часто мигал. Электрическая лампочка на длинном шнуре светила ему в глаза, лицо было освещено так ярко, что виделась шероховатость кожи, задубленной солнцем и ветром. Бочинин был узкоглазый, большеротый, такой маленький и неприметный, что было трудно сказать, сколько ему лет: тридцать или пятьдесят. И молчал он так, как могут молчать только сибиряки, — привычно, длинно, отчужденно, когда совершенно нельзя понять, о чем человек думает.

— А чего мне рассказывать, товарищ милицейский? — удивленно сказал он. — Степана Мурзина я не убивал, а насчет лося дядя Анискин ошибочку дает.

Бочинин мелко-мелко засмеялся, громко почесал затылок пальцами и отвалил нижнюю губу; юродивое выражение наплыло на его круглое лицо, волосы он взлохматил.

— Ошибочку дядя Анискин дал, — убежденно повторил Бочинин. — Не то что лося, я

в ту ночь, товарищ милицейский, из дому-то и по малой нужде не выходил.

Бочинин склонил голову на плечо, улыбнулся заискивающе в сторону участкового и перестал дышать. «Конечно, дядя Анискин хороший человек, — говорило лицо Бочинина, — но он ошибочку дал! Вы разберитесь в этом, товарищ милицейский!» Зубы у Бочинина были белые, блестящие, ровные.

Качушин поматывал длинной ногой. Он попрежнему исподлобья глядел на Бочинина, вертел в пальцах бензиновую зажигалку и, казалось, был совершенно безучастен к тому, что происходило. Когда же Бочинин начал хихикать и дурашливо открывать рот, следователь поднял руку и стал поочередно разглядывать ногти — на один недовольно поморщился, другому улыбнулся. Потом Качушин, не поднимая головы, сказал:

— Что же, товарищ Бочинин, вы свободны! Можете идти домой, но только подпишите два документа: ваши показания и подписку о невыезде.

Следователь с неохотой оторвался от ногтей, лениво сел за стол, продолжая не глядеть на Бочинина, небрежно бросил на кончик стола лист бумаги с печатными буквами. Затем Качушин щелкнул шариковой ручкой, быстро написал на чистом листе несколько слов. Его он тоже бросил на кончик стола.

— Подпишите, товарищ Бочинин.

Протяжно зевнув, Качушин опять сел на кончик стола и принялся разглядывать ногти на второй руке. И снова на его лице было такое выражение, словно Качушин в милицейской комнате находился один. Он подмигнул ногтю на мизинце, озабоченно погрыз заусенец и покачал головой. «Вот беда! — говорило лицо Качушина. — Удивительно быстро растут ногти!»

— Ну, подписывайте, товарищ Бочинин! Берите ручку!

Не глядя на Бочинина, следователь протянул шариковую ручку. Он, наверное, думал, что Бочинин немедленно подхватит ее, но этого не произошло — ручка повисла в воздухе. Однако Качушин руку не убрал, а так и держал ее вытянутой.

— Ну, берите, берите!

Шуршали за русской печкой тараканы, шелестел за стенами дома ветер, на передвижном лесопункте гремели моторы. Ветер дул с юга, и потому явственно слышалось, как глухо ударяются о землю деревья, надсадно взревывают трелевочные трактора, хлопотливо работает мотор передвижной электростанции. Слышалось даже, как перекликаются таежные голоса.

— Ага! — театрально поразился следователь Качушин. — Вы не хотите подписывать?

Но уже начиналось то, с чем Качушин не раз сталкивался в сибирских деревнях и для чего, собственно, следователь с первых минут допроса вел нехитрую игру: началось замкнутое, сосредоточенное, молчаливое сопротивление. Услышав про документ, который следовало подписать, Иван Бочинин плотно сжал пухлые губы, шевеля пальцами пуговицу рубахи, уставился в пол. Виделся круглый прочный затылок, мягкие оттопыренные уши и сильная загорелая шея в кольчиках русых волос.

— Значит, не подпишете?

Никакого ответа. Иван Бочинин сидел истуканом, остановившимися глазами смотрел в пол, дышал ровно, спокойно и замедленно. Казалось, он весь сосредоточился на том, чтобы размеренно дышать и не сводить взгляда с широкой щели меж некрашеными досками. У него был такой вид, словно он не слышал ни голоса Качушина, ни ветра за стенами комнаты, ни напряженного сопения участкового.

— Вы обязаны подписать!

И опять никакого ответа, никакого движения, как всегда бывало у Качушина, когда он допрашивал жителей таких обособленных деревень, как Кедровка. Склонив голову, Бочинин молчал, и его круглый затылок, оттопыренные уши, сильная шея были враждебны.

— Значит, не хотите подписывать, не хотите давать показания?

Качушин, улыбаясь, подошел к участковому, наклонился и шепотом сказал Анискину несколько слов. Еще не закончив, следователь покосился на Бочинина и увидел то, что ожидал. Бочинин торопливо поднял голову, облегченно вздохнув, вытер пот со лба. Только теперь Качушин заметил, что виски у него светлее, чем льняные волосы, возле круглых глаз — лапки морщин. Шея Бочинина была чуточку искривлена, в том месте, где ее обхватывал воротник синей рубахи, начинался уголок звездчатого шрама.

— Федор Иванович, ведите следствие! — громко сказал Качушин, облегченно улыбаясь оттого, что Бочинин окончательно ожил: пухлые губы раскрылись, глаза повеселели, шея выпрямилась, а шрам упрятался за воротник рубахи. Потом Бочинин повернулся к Анискину, положил крупные руки на колени и прищурился так, как прищуривается человек на сильном ветре.

Участковый неторопливо поднялся, задумчиво прошел по кабинету, спокойный, замедленный, остановился перед Бочининым. Секунду-другую он внимательно, но безразлично смотрел на подследственного, затем укоризненно покачал головой.

— Я нашел срезанного лося! — сказал Анискин. — В конце Коломенской гривы, под старым кедром. Вот Игорь Валентинович тоже видел, что на дереве зарубка.

Участковый вернулся к окну, прислонившись плечом к косяку, стал смотреть на снежный берег Оби, на старый осокорь. Дерево раскачивалось, на голой от снега ветке сидела ворона и послушно, печально то поднималась, то опускалась.

— Будет метель! — недовольно сказал Анискин. — Так что не тяни время, Иван, рассказывай!

Еще несколько секунд прошло в молчании, а потом вдруг как-то сразу перестало существовать то, что разделяло участкового и Бочинина. Глаза охотника умно и остро блеснули, большой рот затвердел, и они — подследственный и участковый — стали похожими, как близнецы. Они по-одинаковому наполненно, напряженно думали, одинаковое видели сквозь оттаявшие стекла, по-одинаковому глядели друг на друга.

— Чего же Степан водку-то брал? — еще немного помолчав, спросил Бочинин. — Он ведь при мне...

— А вот брал! — недовольно ответил участковый. — Ты мне про выстрел скажи.

Участковый и Бочинин опять замолчали, и Качушин, затаившись, слушал это молчание. Всего полчаса назад следователь и участковый были на месте происшествия, видели разрытый снег, следы костра, ходили меж соснами, сидели на пеньках, и именно там, среди шумящих деревьев и темного снега, Качушин впервые подумал о том, что участковый Анискин что-то скрывает от него, следователя Качушина. Было такое мгновение, когда Качушину показалось, что Анискин знает, кто стрелял в Степана Мурзина.

Тогда, на снежной поляне, следователь заставил себя не думать о том, что участковый может скрывать истину, но вот теперь, когда Анискин и Бочинин, просто и спокойно глядя друг на друга, молчали, когда они сделались похожими, как близнецы, мысль вернулась, и Качушин внутренне сжался. Мысль была дикой, невообразимой, но то, что называется интуицией, кричало следователю: «Анискин знает!» Незаметно наблюдая за участковым, Качушин видел, что Анискин, подобно Бочинину, замыкается, когда следователь смотрит на него. О какой водке разговаривали участковый и Бочинин? Почему это было важно для охотника и почему Анискин на его вопрос ответил сердито? Оба что-то скрывали и вот теперь избегали глядеть на Качушина.

Затаившись, поеживаясь от холода, который все еще искорками пробегал по спине, Качушин слушал молчание Бочинина и участкового. Он опять видел их похожесть, чувствовал одинаковость их мыслей и так напряженно ждал ответа Бочинина, словно от того зависел весь ход следствия.

— Выстрел был часа в три, — сказал Бочинин. — Мы с Михайлой уж закопали лося, пошли уж домой, как он стебанул. — Бочинин подумал, качнул головой. — Тебе, конечно, интересно, дядя Анискин, с какой стороны. Так ты стань лицом от Коломенских грив к деревне и возьми левее Семкиной балки. Вот оно и получается, что на девятом километре.

Простой, серьезный, действительно пятидесятилетний человек сидел на расшатанной табуретке. Думал Бочинин старательно, прищуривался значительно, и только теперь можно было поверить в слова участкового: «Иван-то — герой! Он весь орденами обвешанный, а войну кончил лейтенантом». И лицо у него было оживленное, подвижное, умное.

— Чего же вы на выстрел не пошли? — неторопливо спросил Анискин. — Вот ты мне это скажи, Иван.

Бочинин медленно думал, участковый покручивал пальцами тоже замедленно, и Качушин почувствовал, что он тоже начинает жить медленно: медленно повертывался, улыбался, мыслил. Он вместе с участковым и Бочининым, словно наяву, прошел к старому кедру, на котором была зарубка, надевая охотничьи лыжи, услышал трескучий выстрел, так как вместе с замедленностью от участкового и Бочинина ему передалась способность думать картинами, то есть так, как только и умели думать Анискин и Бочинин.

Наваждение продолжалось: Анискин задумчиво поглаживал пальцами лоб, Бочинин раздельными движениями доставал из кармана пачку папирос. Он со всех сторон оглядел этикетки, подумав, перевернул пачку, стал вынимать папиросу. Бочинин вынул ее до середины, остановился и сказал:

— Мы узнали Казбека. Он после выстрела шибко залаял...

Следователь Качушин тоже мысленно шел от кедра с зарубкой к темной просеке меж соснами; он только миновал поляну, как слева послышался собачий лай, позади приглушенно прошуршал снег.

— Мы, конечно, удивились, что лает Казбек, но потом Михайла говорит: «А ведь это Степша!» Ну, потом мы пошли правой дорогой...

Качушин тоже двигался правой дорогой: вышагал на лыжах под уклон березового взгорка, легко покатился вниз. Еще светила луна, еще только собирались тучи. На спину ему давило лосиное стегно, на плече стволом вниз покачивалось ружье. Скатившись вниз, Качушин пошел согнувшись, осторожно; время от времени он останавливался, прислушивался. На следующем взгорке...

— Кто-то на лыжах шел. Луна уж притишивалась, однако показалось, что Степан. Шапка вроде его была. Мы, конечно, присели.

Действительно, ползла, пересекая деревья, лохматая шапка, похрустывал снег под лыжами, луна пряталась за укромный край тучи, отороченной золотой каемкой.

— Казбек больше не лаял. Михайла и говорит: «Не должно быть, чтобы Степан!»

Неизвестный человек уходил в сторону деревни; в последний раз мелькнула шапка, похожая на шапку Степана Мурзина, притих шарк лыж. Потом луна упряталась за тучи, мраком дохнул овраг.

— Мы правой лыжней пошли... — заканчивая, сказал Бочинин. — Другого пути у нас не было.

С лица Бочинина исчезло выражение суровой замкнутости, в его молчании больше не было враждебности, и все это объяснялось тем, что участковый за то время, пока Бочинин рассказывал, забыл о том, что Качушин зорко следит за ним. Анискин уже расстегнул все пуговицы на воротнике рубахи, стоял возле окна расслабленно, с тихим домашним лицом, на котором легко читалось: «Хоть я это все знаю, но все равно интересно послушать!» Забыв о необходимости отчуждаться от Качушина, участковый был самим собой, и следователь уже спокойно, без удивления и колебаний подумал: «Он знает!»

— А теперь я важное скажу, — негромко проговорил Бочинин. — Тот человек ушел в сторону леспромхозовских. Если бы он шел в деревню, лыжня бы с нашей обязательно пересеклась. — Он вдруг коротко и зорко глянул в лицо Анискину. — Мы ведь на левый край деревни выходили.

— Знаю! С правого края вы меня боялись.

И произошло неожиданное: Анискин длинно и тоскливо прицыкнул пустым зубом. Выражение застарелой боли и глухой тоски появилось на лице участкового. Все еще стоя у окна, он прижался лбом к стеклу, ссутулился одиноко, и спина у него сделалась жалкая.

— Я и на правом конце деревни не был! — с тоской сказал Анискин. — Вот какая история, Ванюшка!

Во второй раз ощущение нереальности, фантастичности происходящего охватило следователя: призрачной, несуществующей показалась комната с русской печкой, за которой шуршали тараканы, несуществующей река, как бы текущая снежной лентой мимо окон, выдуманный участковый уполномоченный, который браконьера, подозреваемого в убийстве, называет уменьшительным именем. Реальным было только одно — тоска, от которой сутулилась спина Анискина.

Долго-долго участковый стоял у окна, прижавшись лбом к стеклу, затем вздохнул и сказал:

— Метель-то началась! Теперь не то что убежать из деревни, на тракторе не пробьешься. Какая там подписка о невыезде!..

Ветер грозно выл за стенами дома; уже не было видно ни баньки, ни осокоря, да и река затягивалась пеленой — это мчались по насту простынные полосы снега. Метель началась, как всегда, неожиданно, собралась в одно мгновение и бушевала уже так, словно занималась привычным давнишним делом. Неплотно прибитые доски на крыше погуживали, постукивали.

Шаги Ивана Бочинина давно затихли на крыльце, перестала раскачиваться электрическая лампочка на длинном шнуре, которую он, уходя, задел плечом, а следователь и участковый все еще молчали. Качушин присел на край стола, покачивая ногой, ждал, когда Анискин заговорит. Наконец участковый поднял голову.

— Иван Бочинин — сродный брат Степана Мурзина, — сказал он. — Так что он Степшу, конечно, не убивал! Они шибко дружные были. И воевали в одном полку. Ванюшка командовал разведкой, а Степша — саперами.

Сделав паузу, участковый уполномоченный прислушался.

— Вот и Михайла Колотовкин! — с внезапной улыбкой сказал Анискин. — Смешной мужик, скажу я тебе...

Веселые шаги прогремели по мерзлым доскам крыльца, загремев, распахнулась дверь, перевалился через порог грудастый клуб морозного пара, и в комнате возник мужчина в длинном теплом пальто, с неожиданно маленькой шапкой на маленькой голове. Беззвучно хохоча, он оглядел кабинет крохотными глазками, тоненьким голосом пропищал:

— Начальству привет от новых щиблет!

Затем мужчина в длинном дорогом пальто быстрым, торжественным шагом приблизился к Качушину, резко протянул ему руку:

— Болезня-грызь нам портит жизнь. Ни есть, ни пить, ни баб любить.

Круто повернувшись, он тем же манером подскочил к Анискину, пожал руку, затем, картинно остановившись посередине комнаты, стал бережно снимать дорогое пальто. Высоко приподняв, он пронес пальто до дверей, повесил на деревянный штырь и несколько секунд любовался им. Потом он повернулся на месте, как манекенщица, поправил ярко-бордовый галстук на синей рубахе и вольно сел на табуретку.

— На ногах стоять, стопки не видать! — пропищал он. — Полна посуда — живем покуда!

Маленькой была голова Михаила Колотовкина, крохотным личико, но посередь его торчал надутый, огромный, как бы резиновый нос, отливающий всеми цветами радуги. Мало того, на кончике носа сидела бархатная бородавка.

— Пришел на допрос, задавайте вопрос! — сказал Михаил Колотовкин и самодовольно засмеялся. Резиновый нос перекосился, вздернутые ноздри расширились, Колотовкин громко, пискляво чихнул. — За лосем ходил — нос простудил.

Все это — приход, раздевание, разговор в рифму — заняло не больше минуты, так как быстрым, энергичным человеком был Михаил Колотовкин. Усевшись, он благожелательно посмотрел на следователя, подмигнул ему и общительно сказал:

— Я, конечно, ни в чем не виноватый, но признаюсь... Ванька говорил, тут каки-то бумажки надо подписывать, так я согласный. Вот хоть нарочно проверь, товарищ милицейский: любую бумажку подпишу!

Замечательный колотовкинский нос зашевелился, раздулся, глаза сделались совсем крохотными, и Качушин негромко засмеялся: так смешон был Колотовкин, что следователь не мог удержаться. Смеясь, он покосился на участкового и увидел, что Анискин тоже похохатывает. Очень весело стало в милицейской комнате и Михаил Колотовкин обрадовался; вскочил, размахивая руками, возбужденно продолжил:

— Я такой! Я шутник! Ну, давай бумагу, я ее с ходу подпишу. Ванька вот никаки бумаги не подписывает, а я обратный. Я всяку бумажку подпишу.

Колотовкин восторженно, дружески подмигнул следователю, попятился, шмякнулся на табуретку и немного тише сказал:

— Я люблю бумажку, гражданин милицейский следователь, подпишу, только про смертоубийство я говорить несогласный. Степшу леспромхозовские убили, а мне своя жизнь дороже. Вы заарестуете убивца, а у него дружки остались... Кто, что, почему? Михайла Колотовкин? А ну, подавай сюда Михайлу! Тырк-пырк, и я, мертвый, скучаю.

Колотовкин вихлялся, припрыгивал на табуретке, радостно похлопывал себя руками по бокам, но сам зорко следил за Качушиным, стерег каждое его движение.

— Так что я про смертоубийство говорить не буду, а вот про лося — хоть пять пудов! — Он на секунду погасил улыбку. — Я этих лосей бил, бью и буду бить! Конечно, мы лицензии не имеем! Вот наша лицензия...

Плавно, волнообразно изогнувшись, Колотовкин медленно поднялся. Он так длинно вытянул левую руку, словно в ней лежало ружье, правой рукой взялся за несуществующую спусковую скобу, щекой приложился к невидимому ложу. Колотовкин замер, и Качушину показалось, что рядом с электрической лампочкой блестит мушка ружья, холодно посверкивают сдвоенные стволы. Потом щелкнул курок: это Колотовкин произвел языком металлический звук.

— Вот наша лицензия!

Страшным сделалось лицо Колотовкина. Каждую клеточку загорелой кожи пропитывала ненависть, похолодели глаза, обескровились губы, отчего-то уменьшился клоунский нос, и уж ни одной смешной черточки не осталось в облике Колотовкина. Весь он был ненависть, весь был приложен к несуществующему ружью, и казалось, что комната тоже пропитывается ненавистью. Бродили в углах опасные тени, таилась за печкой шуршащая тараканья темнота, холодом и сыростью дышал щелястый пол.

— Мы не городские, мы лицензий не имеем! — шепотом повторил Колотовкин. — Мы народ деревенский! Любую бумагу подписать — это мы можем, а вот показания на леспромхозовских давать — это дело не наше! Так что говорить про смертоубийство я отказываюсь. — Он неожиданно улыбнулся. — Деревенские всегда в дураках остаются, когда с городскими связываются. Хоть режь меня, товарищ милицейский, я ни словечка не скажу. А бумагу давай, бумагу я подпишу...

5

Дочь участкового Зинаида любила свою комнату, одиночество, тишину, ей было хорошо оттого, что уютно светила настольная лампа, приглушенно посвистывал ветер за окнами, по кухне тихонечко ходила мама.

Вечером ей стало легче, и она встала с постели. На столе лежала раскрытая книга, в глаза попадалась все одна и та же строчка: «...Вечером пришел пароход из Феодосии...» В словах чувствовалась грусть, вечернее настроение, сладкая тоска по несбыточному. Чеховская «Дама с собачкой» вообще была печальна до слез; в ней не было того, что казалось важным раньше, когда рассказ читала по школьной программе. Это тоже было удивительно: Зинаида знакомые книги теперь читала как незнакомые. «Вечером пришел пароход из Феодосии»... Зинаида видела этот пароход так ярко, словно он вышел из-за обского яра...

Все эти последние дни Зина чувствовала себя помудревшей, взрослой; она не стыдилась того, что произошло с ней в Томске, а, наоборот, думала о случившемся, как о своей первой победе в новой взрослой жизни. «Если я нашла силы понять собственные недостатки, — думала она, — то все будет хорошо!» Она вспоминала о прошлом спокойно...

Солнечным днем Зина приехала в Томск, разыскала общежитие, и когда комендант привел Зинаиду в комнату абитуриентов, в ней

было пусто, как на вокзале, когда только что ушел поезд. Но пока Зина умывалась, застилала постель и разбирала чемодан, начали собираться девушки.

Зина сидела на койке, чего-то ждала; она очень обрадовалась приходу девушки, койка которой стояла рядом. Соседка оказалась высокой, шумноватой и насмешливой девчонкой. Она сообщила, что все они только что с консультации по химии. Консультировал их известный в стране профессор, и если именно он будет принимать экзамен — это важно. Почему важно, Зина не поняла, а соседка — ее звали Валя — уже рассказывала какие-то смешные истории.

Потом, понизив голос, Валя рассказывала о девочках из их комнаты. Вон те двое, что пьют чай и едят колбасу, москвички, а вон та, что в очках и с толстыми косами, из Туапсе; рядом с ней — та, что хохочет, — медсестра из Колпашева. Самая интересная девчонка, которая обязательно поступит в институт, сидит у окна с книгой.

— Она готовилась, — шепнула Валя, — по вузовским учебникам...

Минут через десять в комнате снова сделалось тихо, точно все ее покинули: все девушки уткнулись в книги, а Валя накрылась одеялом с головой и мгновенно уснула, сказав перед этим, что она встает в четыре утра и уходит зубрить на лавочку в городском сквере.

Зинаида вышла из общежития. Город шумел, светился, двигался. Она села на скамейку под тополями, прижалась спиной к теплому дереву и почувствовала, что дерево мелко вздрагивает — оттого, что шли по асфальту машины, а недалеко от общежития погуживал завод. Воздух был теплый, густой, насыщенный незнакомыми запахами. Зина закрыла глаза, тесно прижалась спиной к дереву и так сидела долго-долго, пока не устало тело. Она думала о том, что ей будет очень трудно на экзаменах, хотя все лето она занималась и в аттестате у нее было всего три четверки.

Следующий день ушел на оформление документов, на библиотеку, а вечером Зина вместе со всеми пошла на консультацию. Валя провела ее по длинным и шумным коридорам института, где висели таблички с названиями кафедр, где у стен стояли абитуриенты с книгами в руках, и подвела к высокой белой двери, ведущей в громадную комнату, в которой на скамьях, построенных амфитеатром, сидели молодые люди — будущие педиатры, стоматологи, терапевты, фармакологи. Внизу, как на арене цирка, стоял сухонький человек в белом халате.

Зинаида робко шла по ступенькам. Внизу все места были заняты, и они устроились наверху. Соседи, двое парней, подвинулись, чтобы девушки сели, один из них внимательно и спокойно оглядел Зину с ног до головы. Это был не первый взгляд, из тех, что смущали Зину. На ней был славный летний костюмчик, хорошие туфли, волосы были подстрижены модно, но она не чувствовала уверенности в себе, двигалась и говорила робко, а когда садилась, то руки держала на коленях — юбка казалась короткой. В школе Зина считалась умной девушкой, много читала, и теперь она понимала, что с ней происходит: просто она чувствовала себя провинциалкой. Валя была такой же: она приехала на экзамены из деревни, — но у нее был легкий характер, избыток веселья.

Консультация началась с лекции. Сухонький человек в белом халате — почему в халате, непонятно, — говорил весело и звонко, почти не глядя на доску, писал красивыми буквами и цифрами физические формулы и, так как лекция была обзорной, за два часа изложил весь ученический курс электричества. Когда он кончил, Зина ощутила радость: она понимала все, о чем говорил лектор. Потом абитуриенты задавали вопросы. Все больше пустяковые. Ее занимало другое: поведение соседей. Ее сосед всю лекцию читал книгу, а когда пришла пора задавать вопросы, отложил книгу в сторону, покосился на Зину и шепнул:

— Надо задать профессору умный вопрос. Вы приготовили? Нет! Как же он запомнит вас?..

Зинаида видела, какое у него умное лицо, какие хорошие глаза. Он слушал вопросы абитуриентов, посмеивался, его нервные пальцы, лежащие на подлокотниках, беспрестанно двигались. Послушав некоторое время, он снова уткнулся в книгу, и Зина прочла заглавие «Записки врача». Осмелев, она вдруг шепнула соседу:

— А как же электричество?

— Плевать на электричество! — ответил он. — Когда дочитаю Вересаева, я пошлю к черту медицинский институт!

Впоследствии этот небрежный, независимый и забавный парень оказался в числе первых, зачисленных на лечебный факультет, но в день их знакомства он произнес речь против медицины. После лекции они вместе выбрались из аудитории, пошли по скверу. Парень — звали его Юрий Ванеев — поносил медицину. Когда он, попрощавшись, ушел, Валя решительно сказала:

— Интересный малый! Из таких получаются хирурги.

За две недели, оставшиеся до экзаменов, Зина поняла, что из двадцати двух абитуриентов, претендующих на одно студенческое место, по крайней мере десять интереснее и образованнее ее. Среди них встречались такие, что

свободно говорили по-английски, порядочно знали латынь; были и такие, что слово «скальпель» произносили с профессиональной привычностью. Зина понимала, что ей не хватало общей культуры, широты, начитанности или того, чего было в избытке у Вали, — самоуверенности. Зину стесняла не только ее короткая юбка, но и ее нарымский говор, замедленная неуклюжесть, привычка к размеренности и простоте жизни. И этот большой город казался ей чужим. Последние два года — девятый и десятый классы — Зина училась в Колпашеве, но этот деревянный городок не поспевал за стремительно изменяющейся жизнью. Да и сам Томск менялся так быстро, что проспект Фрунзе она не узнавала, хотя год назад гуляла по нему с отцом, когда они приезжали за покупками.

Вступительные экзамены Зина сдала ровно, но не блестяще. Проходной балл был двадцать четыре, она получила его, но, когда в списке не нашла своей фамилии, не удивилась: проходной балл получили многие. У Зины были здоровые нервы, трезвый взгляд на жизнь, и она сказала Вале:

— Они правы!

Вернувшись домой, Зинаида три дня подряд устраивалась по-новому в своей комнате, еще три дня просидела в клубной библиотеке, а потом вдруг все забросила: спала, ела, читала да ходила в гости и на каждый новый фильм, который шел в деревенском клубе. Все чаще в их доме появлялась молодая веселая преподавательница математики Малыгина, забегал новый колхозный зоотехник, почти каждый день приходил Женя Старков — студент политехнического института. Он приносил обшарпанную гитару и хриплым голосом пел про то, что «всю ночь не наступало утро».

Анискину не нравилась жизнь дочери. До него доносились лишь голос гитары да смех Зинаидиных гостей, а остального отец не слышал: их разговоров о жизни. Отец не понимал, что дочери нужно общение именно с такими людьми, как учительница Малыгина, Женя Старков. И он с каждым днем все внимательнее приглядывался к Зинаиде, ворчал, когда она надевала модные кофточки, сердился, когда она просыпалась поздно.

До октября Зина с отцом поссорилась только раз; но уже в середине октября они помирились: она начала работать учетчицей на молочном заводе.

Отец видел, что Зина много занимается, читает, и успокоился, хотя однажды полушутливо сказал ей:

— Ты уж теперь беспременно должна во врачи выйти, чтобы оправдаться, почему на такой пустяшной работе состоишь!

В ответ она засмеялась:

— Папка, ты смешной!

Зина любила отца, он любил ее — единственную дочку, и тем неожиданнее было то, что произошло после ноябрьских праздников. В середине октября Зина впервые встретилась с техноруком лесопункта Степановым. Они быстро подружились: он оказался тем человеком, который ей сейчас был нужен. Почти все свободное время Степанов проводил с Зиной. Было уже холодно, шли дожди, и земля готовилась принимать снег, но технорук каждый день приходил из тайги в милицейский дом и сидел допоздна. Он подпевал Старкову, посмеивался над Малыгиной, которая любила сидеть к нему боком, так как считала, что в профиль она интереснее, чем анфас, исподлобья глядел на Зину. Зина чувствовала себя легко, свободно, говорила умно и складно, когда в ее комнате сидел и помалкивал технорук Степанов.

В ноябре произошло неожиданное. Зина и Степанов сидели в комнате, разговаривали о чем-то, когда в дверь постучали и на пороге появился отец и посмотрел на Степанова милицейскими задумчивыми глазами.

— Зина, выйди-ка на час, — попросил отец.

Она вышла за отцом в горницу.

— Ты меня, конечно, извиняй, Зина, — трудно дыша, сказал отец, — но эту волынку надо прикончить... Жениться он на тебе не женится, а жизнь испортит. Ты так мыслишь, что это человек, а это второй Верютин! — Отцу не хватало воздуха, и он вдруг жалобно проговорил: — Ты неужто того не видишь, что из города приехала всему чужая? Ты ведь, Зина, у меня погибаешь!

Она почувствовала, что бледнеет: у отца глаза были полны слез. Кто такой Верютин, Зина не знала, но незнакомую фамилию он произнес с отвращением. Она схватила отца за руку, но он не остановился.

— Ты у меня погибнешь! — шепотом повторил отец. — Старков хулиганские песни поет, Малыгина третий год замуж выйти не может, а этот Степанов...

Отец вдруг отстранил Зину, на прямых ногах, словно они сделались деревянными, подошел к ее комнате и настежь открыл дверь. Хриплым, надсадным голосом он сказал:

— Товарищ Степанов, а товарищ Степанов!..

...Что произошло дальше, вспоминать было стыдно. Степанов навсегда выходил из их дома, и, когда захлопнулась сенная дверь, ее умный и добрый отец ссутулился и с вялыми руками и вялой спиной ушел в кухню. А она, похолодев, неподвижно стояла посреди тихой, вдруг потемневшей горницы. Под вечер у Зины поднялась температура, противно кружилась голова. Видимо, сказалось напряжение последних

месяцев: бессонные ночи в дни экзаменов, неустроенность и непонятная ссора с отцом.

...Зина медленно прошла по комнате, притронулась пальцами к столу, к корешкам книг. За окнами воет ветер, шуршит снег, по кухне ходит мама. Отца дома нет, и придет он поздней ночью, а то и вовсе не придет. Она думала о том, что в ее жизни за последние месяцы произошло столько событий, сколько раньше не происходило за длинные годы: окончание школы, знакомство с городом, неудача с институтом, знакомство со Степановым.

Зина присела перед зеркалом. В зеркале она видела свое лицо: упрямый, как у отца, подбородок, изогнутую линию лба, четкие губы. Она так сидела до тех пор, пока в комнату не вошла мать. Увидев дочку одетой, причесанной, Глафира обрадовалась, но, как обычно, свое чувство выразила сдержанно: улыбнулась только.

— Ну, вот молодцом! — сказала она. — А у меня и ужин готов.

Они немного помолчали, спокойно глядя друг на друга, потом Глафира тем же тоном сказала:

— Отец-то вторые сутки ничего не ест... У меня все сердце за него изболело! Ему тяжелее, чем всем нам...

6

Метель бушевала. Снег завихряющимися полосами, вихорьками и пригоршнями бросался в лицо; ветер не завывал, а дико, оглашенно вопил, разметывая сугробы, срывая солому со стаек, перебирая деревянные крыши; ветер, упругий, как водяная струя, замешенный на колючих снежинках, просачивался за воротник, в рукава, схватив, остановив человека, прижимал к земле. Спрессованным воздухом, колючими снежинками деревня была набита до отказа, но все равно казалось, что воздуха для дыхания не хватает. Когда Качушин, прижатый ветром к забору, открывал рот, воздух набивался за щеки, раздувал их, а в легкие не попадал.

Боком, одной рукой придерживая шапку, другой — полы надувающегося на спине пальто, Качушин шел за участковым. Голову он втянул в плечи, так расположился в пространстве, что снежинки за воротник не проникали, и в щелочку меж опущенным козырьком шапки и шарфом видел, как в темноте покачивается широкая, круглая спина Анискина.

Качушин догнал участкового, когда начали проступать во мраке неподвижные силуэты людей, которые по-прежнему стояли и сидели на лавочке возле дома Степана Мурзина. Люди поворачивались к участковому и следователю, шевелились, и с их согбенных спин сваливались горбатые горушки снега. Жители деревни стояли и сидели в траурном карауле неподвижно, молчаливо; очень редко раздавался негромкий голос, вспыхивала спичка.

Качушин и участковый шли и шли: миновали клуб и школу, перебрались через сугробы переулка, увязая по колено в снегу, двинулись улицей, параллельной главной, и оказались в таком месте деревни, где не было ни одного светящегося окна, лежал цельный, нетронутый снег. Потом перед ними возник забор, залепленный ошмотьями снега. Неприступной бойницей высились ворота с двумя островерхими тумбами, проступали в темноте створки, окованные железом, могучая щеколда, опущенная на сварную поддержку.

— Собак у Митрия нет! — прокричал из мрака Анискин. — От жадности не держит.

Смутно видимый в темноте участковый, зазвенев металлом, открыл калитку, пропустил в нее Качушина и вошел сам. Он закрыл калитку, и сразу стало тихо, спокойно и светло, так как ни одна струйка ветра не проникала во двор пальцевского дома, а из трех окон на чисто подметенный двор лился яркий электрический свет.

Пальцевский двор походил на пчелиные соты. Виднелись бесчисленные сараюшки и чуланчики, стаечки и амбарчики, лари и навесы; с трех сторон двора на участкового и следователя глядели двери и замки. Двери были маленькие и большие, длинные и короткие, продольные и поперечные, двойные и одинарные. Двери были и такие, что поверх них лежал частый переплет железных решеток, имелись и такие, что два замка были прикреплены на створке — вверху и внизу.

— Вот какое дело! — вздохнув, сказал участковый. — Вот какой человек Митрий Пальцев! Весь народ обретается возле дома Степки Мурзина, а он дома.

Дмитрий Пальцев на самом деле был дома. В просторной, но низкой горнице с неоштукатуренными стенами и грязноватой печкой, на широкой лавке, опоясывающей почти всю горницу, сидел человек лет пятидесяти, в майке и смятых брюках. В комнате было так жарко натоплено, что голые плечи Пальцева и лицо блестели, как отлакированные. В комнате густо пахло свежим хлебом и сухими травами, что пучками висели в углах.

Качушин никогда не видел такого человека, как Дмитрий Пальцев. И на самом деле, странный, необычный человек сидел на широкой лавке в жаркой и низкой горнице. Смотрели на участкового и следователя иконные глаза русской богородицы, стекала из них на грудь тонкая нежность и хворь, нежные подрагивали губы.

— Здорово бывали! — громко сказал участковый. — Давненько я у тебя не был, Митрий!

— Давненько! — насмешливо ответил Пальцев. — Давненько!

Он сложил руки на груди, показал пальцем на два венских стула, расположенных возле стола, продолжая ярко улыбаться иконными глазами, забросил ноги на широкую лавку. Ему, видимо, так было удобнее сидеть, поглядывать на Анискина. Колени Дмитрий Пальцев обхватил руками, прижал к груди, чтобы не двигались. Секунду он молчал, потом неслышно захохотал.

— Хорошее дело кто-то произвел! — отчаянно-весело сказал Пальцев. — Отняли вы тайгу у человека. Обишки его лишили, вот и зачали вас стрелять...

Задвигались потные мускулы на плечах Дмитрия Пальцева, ненависть, тугая, как ружейная пружина, обволакивала тело. Напряженный, каменный, сидел на лавке Дмитрий Пальцев, страстно прижимая колени к груди, такими глазами смотрел на участкового, что по спине Качушина прокатился озноб. На мгновение ему показалось, что Пальцев вот-вот вскочит, крикнув, с хриплым придыханием бросится на Анискина. Ощущение опасности было так сильно, что Качушин шагнул вперед, торопливо повернулся к Анискину и поразился: участковый превесело улыбался.

— Ты и на это внимания не держи, Игорь Валентинович! — сказал он. — У меня с Митрием Пальцевым узелок еще в тридцатые годы завязался, так что ты не удивляйся на такие слова. Я ведь так считаю, что вот Митрий Пальцев — последний подкулачник в деревне...

Анискин склонил голову на плечо и вдруг посмотрел на Пальцева спокойными, задумчивыми глазами. Несколько секунд он не отрывал от Пальцева глаз, затем сказал:

— Давай-ка, Митрий, самогонный аппарат!

— Ой, да Федор Иваныч, ой, да что ты говоришь такое! — в то же мгновение напевным голосом ответил Пальцев. — Да как ты можешь придумать такое, что у меня самогонный аппарат, да как ты можешь говорить, что я власть обманываю, что отнимаю у нее, у Советской власти, монополью на водочку-то. Да как ты можешь такое говорить, да как тебе и в голову-то может прийти такое...

Напевая, Пальцев почти не делал пауз, слова лились с его красных губ, как струйка воды из дырявого ведра, взгляд затуманился, и синие глаза стали совсем такими, какими рисовали иконописцы глаза страдающего Христа. Библейское лицо было обиженным, молящим, а руки так и ходили на выпуклой груди. Он пел бы бесконечно, если бы участковый, вежливо, ласково улыбаясь, не перебил.

— Тут такое дело, Игорь Валентинович, — сказал он. — Вот если Митрий поет, это значит — во вранье ударился! Это значит — есть у него самогонный аппарат!

После этих слов участковый сделался быстрым и подвижным — на резвых ногах подбежал к русской печке, нагнулся к тому месту, где находилось отверстие для ухватов и кочерег, а сам косился левым глазом на Дмитрия Пальцева. Анискин, видимо, что-то заметил на лице и фигуре Пальцева, так как стремительно распрямился, придохнув, перебежал от печки к пузатому деревенскому буфету, но в метре от него опять остановился, косясь на Пальцева. Участковый что-то бормотал про себя, потешно надувал щеки и нервно подрагивал отставленной ногой. Толстый, сопящий, он откровенно походил на собаку, идущую по следу.

— Ах, ах! — внезапно радостно закудахтал Анискин. — Аппарат-то вот где!

Вольным, легким шагом участковый приблизился к шкафу, открыл нижнюю дверцу, вынул два пузатых мешка с мукой, а потом и медный змеевик самогонного аппарата. Аккуратно составив на место мешочки с мукой, Анискин поднес змеевик к носу, нюхнул его несколько раз и плотоядно покрутил головой.

— Нет, брат! — протяжно сказал он. — Митрий не дурак, чтобы после ноябрьских праздников самогонку варить! Нет, брат, он не дурак!

Участковый мелкой рысцой подбежал снова к русской печке, раздвинул цветастую ситцевую занавеску над полатями и бережно снял оттуда пузатый бочонок с медным краном на боку.

— Бражка-то дешевле самогонки, — пробормотал участковый. — Она куда дешевше самогонки, если сахару положить поменьше, а бочку поставить на табачный лист...

Встав на цыпочки, Анискин пошарил рукой по припечку, сначала огорченно прицыкнул зубом, а потом очаровательно разулыбался: он держал в руке несколько сухих табачных листьев. Их он положил возле своих ног, подумав, приподнял пузатый бочонок и помотал им из стороны в сторону. Когда на дне бочонка что-то громыхнуло, участковый по-детски обрадовался.

— Так и есть! — сказал он. — Колобок!

Дом был сложен из таких толстых лиственничных бревен, что ни один звук с улицы не пробивался сквозь них и сквозь толстые двойные оконные рамы, выструганные из кедровых тесин. В горнице было так тихо, как только могло быть в доме, который стоит за высоким забором и располагается в двухстах метрах от самого ближнего дома. И в этой первобытной тишине набатом били потешные часы-ходики. На них был изображен милый усатый котенок,

переводящий справа налево зеленые глаза — он то смотрел на журнальный портрет Валентины Терешковой, кнопками приколотый к стене, то на фотографию самого хозяина, стоящего на фоне гор в длинном пиджаке и с широким галстуком.

— Степка-то Мурзин тебя добрее был, Анискин! — шепотом сказал Пальцев. — Не его бы надо убивать-то...

Следователь Качушин затаенно передохнул, пошевелился и почувствовал, что ощущение времени пропало — от тишины, от усатого котенка, библейского лица Дмитрия Пальцева. Качушину с пугающей остротой показалось, что на земле нет ничего, кроме того, что лежит перед глазами. И словно из безвременья, из пустоты продолжал звучать голос участкового Анискина.

— Мне ордена не надо, Митрий, — говорил он, — когда я тебя на плохом ловлю. Я вот тебя на самогонке поймал, я вот аппарат сничтожу, так у меня — праздник...

И точно так, как голос проявлялся из пустоты и безвременья, так проявлялся, выходил из затушеванности, из расплывчатости сам участковый Анискин — вот он укрупнился, вот опять занял грандиозной фигурой четверть комнаты. Уже реальный, живой,существующий во времени и пространстве, участковый пошел к дверям. Как всегда, он остановился возле них, тоскливо прицыкнув зубом, сказал:

— Вот и произвел я большой шум, но теперь знаю, что Пальцев не дрался со Степаном Мурзиным. Во-первых сказать, что он такой трус, что со Степшой схватиться не может, а во-вторых, он в ту ночь был пьян, как последний сапожник! Колобок на спирту оттого и кладется в брагу, Игорь Валентинович, чтобы она с ног сбивала. И табак для того же. — Участковый мелодично засмеялся.

— Когда брага дешевая, Митрий ее пьет много, так что в тайгу в ту ночь пойти не мог.

Вышедши на пальцевский двор, Анискин широко размахнулся, хряснул змеевиком о толстые кедровые доски крыльца, хряснул еще раз о железную щеточку для чистки ног и, когда от медной спирали остались обломки, наступил на них. Какой-то неистовый, сумасшедший танец проплясал на обломках змеевика Анискин, а затем издал хриплый самодовольный возглас:

— Так! Эдак!

Поскрипывали потихонечку тяжелые ворота, постанывали под ударами ветра плотные доски забора, над их острыми концами, уходящими высоко в небо, курились завивающиеся струйки снега. Участковый все еще приплясывал на обломках змеевика, когда в трех окнах дома одновременно погас свет — на дворе сделалось темно. Ну вот ни зги не было видно в шуршащем и подвывающем мраке, и следователь Качушин поднял руки — так делает слепой человек.

— Видишь, Игорь Валентинович, какая сволочь этот Митрий Пальцев, — раздался в темноте голос Анискина. — Это он ведь свет-то нарочно выключил! — Участковый хрипло засмеялся. — Вот такие дела, Игорь Валентинович! Тебе сейчас кажется, что хуже нашей деревни на свете нет. Так ты учти, что мы с тобой по самым плохим мужикам ходим. Вот этот Пальцев — настоящий подкулачник, а те двое — Бочинин и Колотовкин — тоже не сахар... Мы с тобой настоящего-то, трудового мужика не увидим...

7

Контора лесопункта не стояла на месте: два дня назад вагончик, в котором она размещалась, находился на краю опушки, а сегодня не было ни вагончика, ни опушки. Лесопункт технорука Степанова за два дня опустошил гектаров пять кедрача, прорубился через опушку и, выдвинувшись на горушку, с воем и громом наступал на деревню.

Над Васюганьем и Обью, над болотами и тайгой по-прежнему выла и бесчинствовала метель, гнулись и стонали громадные деревья, перемещались с места на место массы снега, но там, где работал лесопункт, метель смиренно притихала. Невидимые еще, взревывали моторами и хрустели ребрами кедров трелевочные трактора, выли пилы, яростно вопила электростанция, а в отдалении кузнечиками потрескивали моторчики бензиновых пил. Всем, чем мог — электричеством и бензином, топорами и сучкорезками, тракторами и напряженными от усилия кранами, — технорук Степанов вгрызался в тайгу.

И когда следователь Качушин и участковый Анискин, преодолевая ветер, вышли на опушку, взгляду открылось неожиданное. Среди марлевых полос и фонтанчиков завихряющегося снега, под низким, как крыша, небом, между раскачивающихся кедров, в свете нескольких сильных прожекторов переливалось разноцветное, радостное, веселое: красные, синие и зеленые вагончики, желтая электростанция, кремовые трелевочные трактора. Ярко, разнообразно были покрашены машины на лесопункте технорука Степанова, а когда следователь и участковый прошли еще метров сто, у них в зрачках полыхнул парадным огнем отблеск красного флага, что бушевал на высокой стреле голубого крана.

На пятачке развороченной, светлой и живой земли метели не было совсем — отступив под натиском машин, прожекторов и ярмарочного разноцветья, метель бесновалась со всех сторон пятачка, но ступить на его гудящую землю не

осмеливалась. И здесь, на потеплевшей и смирной земле, в самом центре пятачка, заложив руки в карманы демисезонного пальто и дерзко выставив из-под меха шапки хрящеватый нос, стоял технорук лесопункта Евгений Тарасович Степанов. На него с четырех сторон били прожектора, справа и слева на технорука налезали трактора, а над головой разминал длинную руку голубой кран с красным флагом. Безучастный, как бы замерший, стоял технорук Степанов, но все, что видел глаз, сходилось на его широкоплечей дерзкой фигуре — и торопливый бег тракторов, и прожекторные лучи, и направленный гром машин; и взгляды Качушина и Анискина.

— Здравствуйте! — сухо ответил на приветствие технорук Степанов. — Прошу следовать за мной в канцелярию.

Дверь красной вагонки вела в двадцатый век: уже в тамбуре узкоколейного вагончика пахло линолеумом и грушевой эссенцией, мягко светил под потолком матовый плафон, под ногами пружинил темный коврик, потом дверь распахнула фантастические цветы, выдавленные на зеленом линкрусте, цепочку плафонов под потолком и черный транзисторный радиоприемник с напряженным усиком антенны на затылке. Из переплетенной стенки транзистора просачивалась тихая музыка, блестело полированное дерево, цепочка плафонов уходила в длинную уютность, а посередь этого рая, этой современной пустоты валялись большие черные валенки.

— Прошу! — по-прежнему сухо и легко сказал Степанов. — Вот вешалка.

Технорук и следователь разделись, причесываясь, уже шли к столу, а участковый Анискин все еще стоял возле вешалки с полушубком в руках. Он исподлобья смотрел на висевшие пальто Качушина и технорука Степанова, переводил взгляд с одного на другое, и на лице у него было такое выражение, словно перед ним были не обыкновенные пальто, а нечто большее. «Вот она, какая история!» — думал Анискин.

Только сейчас, в вагонке, участковый наконец понял, кого ему напоминал следователь Качушин. Весь этот длинный и трудный день Анискин ловил себя на том, что ему казались знакомыми жесты и движения Качушина, чудились слышанные нотки в голосе, улавливалось виденное уже в фигуре и лице следователя. И только теперь, под матовым светом плафонов, глядя на два одинаковых демисезонных пальто, участковый понял, что Качушин похож на технорука Степанова. «Батюшки! — думал Анискин. — Они же вроде братьев!»

Повесив наконец полушубок, участковый повернулся к столу. Так и есть — технорук и следователь походили друг на друга. Одинаково забросив ногу на ногу, они сидели за низким столиком и одинаковыми глазами смотрели друг на друга. Они походили фигурами и лицами, спортивным разворотом плеч, длинными обтянутыми ногами и глазами, которые казались старше лица. Участковый еще утром заметил, что лицо Качушина моложе его глаз.

— Присаживайтесь, товарищ участковый! — пригласил Степанов.

Вагонка подрагивала — от земли, взбудораженной тракторами, от ветра, от глухих ударов бревен. Подрагивала пробка в хрустальном графине, поматывалась антенна на транзисторном приемнике, мелкой дрожью исходил цветастый линкруст, и от всего этого казалось, что вагонка медленно или, наоборот, быстро мчится сквозь ветер, снег и тайгу. Ощущение движения было настолько реально, что чудилось, как за непроглядными окнами бегут телеграфные столбы да с уханьем проносятся мостки — это погрузочный кран бросил на штабель мерзлое дерево.

— Задавайте вопросы! — сказал Степанов. — О происшествии знаю, переходите сразу к делу...

После этих слов технорук откинулся на подушки дивана, развалившись по-барски, выхватил из кармана пачку сигарет, зубами вытащил одну, громко щелкнув зажигалкой, прикурил. Затем пачка взлетела, описала дугу и повисла над носом у следователя. Коротко кивнув головой, Качушин взял сигарету, прикурил от непогасшей зажигалки, и с сигаретами в зубах технорук и следователь сделались такими похожими, что участковому стало весело. «Ах, леший вас побери!» — подумал он, тайно смеясь.

Потом Анискин коротко сопнул носом и перестал посмеиваться над похожестью технорука и следователя. Напряженный и тоскливый, участковый теперь следил только за тем, как Качушин и Степанов протягивали друг между другом тонкую, но прочную нить понимания. Двумя-тремя словами обменялись они, но одинаковые колечки дыма плыли над сигаретами, одинаковое выражение стремительности затаилось в губах.

— Что вас привело на лесопункт? — насмешливо и небрежно спросил технорук. — Я буду отвечать на вопросы только в том случае, если найду достаточными основания.

— Рислинг! — тоже насмешливо и небрежно ответил Качушин. — Никто из деревенских жителей не покупал в магазине рислинг.

Они вежливо поулыбались друг другу, затем технорук Степанов, прозванный деревенскими жителями «американцем», бросил в пепельницу недокуренную сигарету, сделал хлебосольный жест руками: «Ну, что же — у вас есть все основания!» На ногах Степанова были узкие вельветовые штаны, на плечах болталась куртка из теплого мягкого материала, а на син-

тетической рубашке лежал плотный, немнущийся галстук. Небрежно и, казалось, случайно одетый, технорук все-таки казался одетым дорого и красиво: так лежали вельветовые брюки, такими ловкими складками морщинилась куртка и так ловко обнимал шею тугой белоснежный воротник. Он был красив, технорук.

— Прошу рабочих от дела без моего согласия не отрывать! — сказал он. — Прошу сноситься с ними только через моего помощника Титаренко. Он сейчас будет здесь.

Посмеиваясь глазами, Степанов стремительно, широко, энергично подошел к вешалке, надев пальто и шапку, вдруг галантно склонил голову и проговорил еще более насмешливым голосом:

— Товарищ участковый, позвольте вам сказать несколько слов наедине...

Нисколько не удивившись, участковый неторопливо подошел к техноруку, тоже насмешливо улыбнулся одними глазами и тоже галантно склонил седую крупную голову. Затем Анискин выбрался в тамбур вагонки, дождавшись технорука, отодвинулся в угол, чтобы своей чрезвычайной полнотой и двухметровым ростом не занимать все пространство. А когда Степанов плотно прикрыл за собой дверь, участковый посмотрел длинно в его близкое лицо. Он увидел обветренную молодую кожу, дерзкие блестящие глаза, нежные волосы над верхней губой и почувствовал приятный запах сладких сигарет, одеколона и свежести. «Эх, жизнь, жизнь! — подумал участковый. — Вот она куда заворачивает!»

— Не смотрите на меня милицейскими глазами! — тихо, но насмешливо сказал технорук. — Я не гоню самогонку!

Да, технорук Степанов не гнал самогонку и не дрался с Мурзиным, не воровал в кузнице стальные листы и не стрелял в молодых лосей, но участковый Анискин смотрел на него такими задумчивыми глазами, такими, какими смотрел бы на человека, который всего час назад ограбил почтальона. Что-то невидимое, но ощутимое и тугое лилось из задумчивых глаз участкового, обволакивало Степанова, сковывало его движения и мешало думать. Наверное, поэтому технорук почувствовал сухость во рту, поперхнулся, но вслед за этим громко расхохотался.

— Ну, брат! — воскликнул технорук. — Феерия!

Однако смех не помог: участковый продолжал задумчиво глядеть на него, и технорук неожиданно для себя громко сказал:

— Вы домостроевец, участковый! Вы вовсе не добрый и не умный человек, как пытаются внушить мне многие.

Мимо дверей тамбура с воем проносились простынные полосы снега, ударившись о стены вагонки, завивались смерчем, притихнув, ложились горками сухих снежинок на ступеньки. Горки снега росли на глазах, и участковый почувствовал, как к валенкам подбирается плотное, холодное. Он переступил с ноги на ногу и удивленно приподнял брови, так как Степанов вдруг несвойственным ему мягким и плавным движением прижал правую руку к своей замшевой груди. Большие зрачки технорука сузились, непривычное выражение задумчивости и нежности легло на такие же квадратные губы, как у следователя Качушина.

— Эх, вы, бурбон, бурбон! — с упреком сказал Степанов. — Где вам понять, толстокожему, какой человек Зина! — Он засмеялся незнакомо. — Смотрите, участковый, не погубите ее! Она не в вас: добра, умна и чутка.

Переломленно взмахнув рукой, технорук выпрыгнул из вагонки. Ветер с размаху ухватил его за полы пальто, выбросил из-под воротника шарф и защелкал им в темноте, наполненной снегом, гулом машин, колючим холодом. Через снег и колдобины, через пни и ямы технорук Степанов, спереди освещенный прожекторами, уходил в тайгу. Сперва он двигался медленно, борясь с пальто и шарфом, потом, усмирив их, пошел крупным, привычным шагом — вот он уже вложил руки в карманы, вот поднял голову навстречу метели, вот к нему уж потянулись прожекторы и машины. А затем технорук остановился в центре эстакады, серебряный от света, занял свое прежнее место — высокий, широкоплечий, крепкий.

Вернувшись в вагонку, участковый неслышно сел на прежнее место, положив руки на подбородок, стал следить за тем, как следователь Качушин медленно вращал ручку настройки транзистора. В динамике попискивало, и верещали, звучали нерусские голоса, бубнила настойчивая морзянка; потом прорезался ясный русский голос, сказал вежливо: «Начинаем наши передачи...» Поблескивала в вагонке мебель, сладкое тепло источали серебряные батареи водяного отопления, а в добавление ко всему на столе лежала яркая книжка с иностранными буквами и иностранным же трактором на обложке.

— Игорь Валентинович, — сказал участковый. — Теперь от меня помощи, как от козла молока! Еще вот с Титаренко, который сейчас прибежит, я могу словечком перекинуться, а вот как вы за Саранцева возьметесь, то тут уж я — до свидания!

Участковый задумался, опустив голову. Он не видел, как Качушин изумленно похлопал ресницами, как шутливо скривил нижнюю губу и перестал крутить транзистор.

— Какой Саранцев? — протяжно спросил Качушин.

— Да есть тут один! — неохотно ответил

Анискин. — Он мало того, что недавно купил у продавщицы Дуськи «ижевку» двенадцатого калибра, да пьет рислинг, а еще в ту ночь, когда Степшина смерть пришла, дома не ночевал. Вот это Саранцев и есть. Тот самый, что с Мурзиным на прошлой неделе в клубе чуть не до драки поругался и даже пригрозил Степше. «Эх, говорит, попался бы ты мне в тайге...»

Когда участковый закончил, сразу раздались два звука: опустошенно щелкнул выключатель транзистора и Качушин пораженно присвистнул. Затем он быстро вскочил, схватил с дивана свой крохотный чемоданчик и открыл его. Порывшись, Качушин вынул какую-то бумагу, заглянул в нее и еще раз свистнул. Потом Качушин мгновенно успокоился, закрыл чемодан и сказал спокойно:

— Почему вы об этом факте раньше не говорили, Федор Иванович? Разве вам неизвестно, что угроза...

— Известно, — неторопливо перебил его участковый и усмехнулся. — Это мне распрекрасно известно, Игорь Валентинович, но тут так получается, что я тебе об этом сразу сказать не мог...

— Почему?

Анискин положил руку на блестящий верх транзистора. Он пощупал пальцами гладкую маковку антенны, провел по белым рычажкам и, наконец, похлопал транзистор шершавой ладонью.

— А вдруг не леспромхозовские дрались со Степаном! — приглушенно сказал он. — А вдруг кто деревенский на него напоролся...

Участковый непонятно улыбнулся, и его лицо застыло в непроницаемости и той самой загадочности, которая не давала покоя Качушину весь этот день. В четвертый раз на лице Анискина появилось точно такое выражение замкнутости и дремучей обособленности, которое Качушин видел на лицах Бочинина и Колотовкина.

«Что здесь произошло? — тревожно думал Качушин. — Что защищает Анискин? Что он скрывает?» Ему порой не верилось, что возможно такое, когда следователь районного отдела милиции с утра до вечера исподволь, осторожно и незаметно допрашивает участкового уполномоченного и следит за ним настороженными глазами...

— Титаренко скребется, — сказал Анискин, прислушиваясь. — Он все расскажет, Игорь Валентинович! Это такой мужик, что его уговаривать не надо...

8

Помощник технорука Михаил Васильевич Титаренко еще только входил в вагонку, а следователь Качушин уже улыбался про себя тому, что во внешности Титаренко забавно переплеталось деревенское и городское. На ногах Титаренко, в подражание техноруку, были теплые дорогие ботинки, но над ними висели широкие брюки из полусукна; плечи Титаренко обтягивала точно такая же куртка, как у Степанова, но галстука, как и рубахи, не было, и шею обнимал хлопчатобумажный свитер синего цвета. И если из кармана степановской куртки торчала автоматическая ручка, то из кармана Титаренко высовывался плоский плотницкий карандаш. И точно так же, как и во внешности, старое и новое насмерть боролось во внутреннем облике Титаренко. Он привычно и ловко шел по мягкой темной дорожке, но к стулу, на который кивком головы указал следователь, помощник приблизился робковато. Садясь, Титаренко шапку снял, а вот колени по причине низкого стула у него разъехались, да и шапку он не знал, куда положить. Потому Титаренко смущенно улыбнулся шапке и своим ногам, вслед за тем Качушину и участковому, а уж после этого положил шапку на пол.

— Ну вот, устроился! — сказал Титаренко. — Раздеваться я уж не стану, так как Евгений Тарасович сказали, что я долго у вас не пробуду...

Приготовившись слушать, Титаренко склонил голову набок, опять улыбнулся, и от этой улыбки следователь мгновенно раскрыл секрет титаренковского бригадирства — старательность. Что бы ни делал помощник технорука — шел, сидел, говорил, помигивал светлыми ресницами и дышал, — все это он делал старательно. Титаренко выговаривал каждую букву каждого слова, добросовестно жестикулировал там, где было положено, сидел на стуле каждой частичкой той части тела, которой полагалось сидеть. Дышал он тоже старательно, как мог. Глядя на следователя преданными глазами, Титаренко за две-три минуты рассказал о том, что на лесопункте есть два ружья «ИЖ-12», что в ночь смерти Степана Мурзина он, помощник технорука, работал во вторую смену и по этой причине точно знает, кто ночевал в вагонках, а кто нет. Не прерываясь и не дожидаясь вопросов Качушина, помощник технорука сообщил, что бывших заключенных на пункте шестеро, но, конечно, нужно разобраться, что и как. Сделав крошечную паузу, Титаренко старательно мигнул рыжими ресницами, поджал губы и осторожно сказал:

— Технорук Евгений Тарасович учат нас с каждым человеком разбираться в отдельности. Исходя из этого, товарищ следователь, идя на встречу с вами, я продумал ряд вопросов...

Титаренко сделал еще одну паузу, мысляще собрал на лбу морщины, поглядев направо и налево, опасливо приложил ладонь к губам,

— Саранцев не ночевал дома! — шепотом сказал Титаренко. — Но этим вопрос не исчерпывается. Технорук Евгений Тарасович требуют, чтобы рабочие сообщали, когда ночью уходят в деревню, а Саранцев сообщения не сделал. Благодаря этому мне пришлось с ним отдельно разобраться...

Помощник технорука приставил к губам вторую ладонь, испуганно оглянулся и еле слышно сказал:

— Саранцев отсутствовал вместе с ружьем!

Вагонка плыла бог знает куда... Постукивали на несуществующих стыках несуществующие колеса, мимо окон проносился густой снежный воздух, ветер раскачивал стены и трепетал под полом; мелькали огни светофоров и блокпостов — это трактора зажгли фары, — гремел мощный двигатель тепловоза, погуживала сирена — это кран предупреждал о повороте стрелы. Да, вагонка двигалась, и приходило такое ощущение, что вот широко откроется дверь, войдет с покачивающимся фонарем проводник и скажет: «На следующей станции не останавливаемся!»

— Разбираясь с Саранцевым в отдельности, — шепотом продолжал Титаренко, — я также установил, что он находился в состоянии среднего опьянения... Хотя технорук Евгений Тарасович не обращают внимания на выпивку рабочих в свободное время, я установил, что Саранцев вечером распивал в вагонке рислинг...

Журчал старательный бас словоохотливого Титаренко, мелькали в окнах огни тракторов, покачивался и вздрагивал пол; мягко горели под потолком матовые плафоны, и участковый чувствовал, как его уносит в дальность и круговерть. Одним ухом Анискин слушал рассказ добровольного сыщика Титаренко, а вторым слышал слова технорука: «Не погубите дочь!» Старательный таинственный Титаренко шептал о том, что Саранцев распивал в вагонке рислинг, а участковый слышал: «Где вам понять, толстокожему, какой человек Зина!» Сжимая губы обеими ладонями, помощник технорука уважительно шептал о том, что Евгений Тарасович сердятся, когда он, Титаренко, пристает к рабочим с расспросами по личным делам, а участковый видел грустное лицо дочери, ловил ее низкий голос: «Спасибо, папа, нет, мне хорошо, папа, ты зря беспокоишься, папа!» Родной, до слез близкий, похожий на тебя самого человек!

Тоскующий, ощущая холод и пустоту под сердцем, Анискин хотел, но не мог заставить себя слушать Титаренко. Он только видел его бледный, унылый нос, старательные глаза да раздражался оттого, что помощник технорука все чаще и чаще подносил ладони к губам, все чаще и чаще в его зрачках отражалось перевернутое лицо Качушина — это он преданно наклонялся к следователю. И все журчал его вкрадчивый бас, и все покачивался на голове смешной хохолок рыжих волос, и все слышалось: «Евгений Тарасович не велели, Евгений Тарасович позволили, Евгений Тарасович не любят...» Анискин чуточку вздрогнул, когда вокруг него произошло какое-то движение, свет полыхнул и померк. Участковый непонимающе прищурился, а потом сообразил, что Титаренко уже кончил рассказывать и поднимается, а Качушин вежливо говорит:

— До свидания, до свидания, товарищ Титаренко!

Осторожно подняв шапку с пола, помощник технорука попятился, улыбаясь честно, преданно и старательно, несколько раз прошептал: «До свиданья, товарищ следователь», — затем надел шапку и — спиной — вышел из вагонки. Дверь отворилась на секунду, но помещение наполнилось свистом и грохотом, проник резкий свет прожектора, прокатилась по полу синяя волна холода. Ураган, настоящий ураган бушевал над затаившимся в ночи Васюганьем.

— Почему поссорились Мурзин и Саранцев? — закрывая яркий блокнот, спросил Качушин. — Вам это известно, Федор Иванович?

— Очень даже известно, — задумчиво ответил Анискин. — Еще перед праздниками они схватились у попа Стриганова... — Участковый подумал, сам себе согласно кивнул головой и продолжил: — А в клубе они уже доругивались...

Анискин по-прежнему сидел, скорчившись, опустив голову, широко и неловко расставив толстые ноги. Ему был неудобен низкий стул, из тех, что стали делать в последние годы и на которых надо было сидеть боком, вытянув ноги. Участковый так сидеть не умел, и его колени неловко торчали, как несколько минут назад они торчали у бригадира Титаренко. И вообще со своей слоновьей полнотой, с большими руками и ногами, с крупной головой и по-домашнему распущенной рубахой Анискин казался лишним в вагонке. Он не входил, не вписывался в крохотную уютность помещения, не вмещался в яркий блеск лака, в матовый свет плафонов; участковому тесно было в вагонке, и потому все его движения казались оборванными, неоконченными. И, казалось, точно такими же были растрепанные, обрывочные мысли участкового.

— Так что в клубе они уже доругивались, — повторил он, глухо кашляя. — Саранцев, опять же, был выпивши...

Участковый, снова не доведя мысль до конца, замолчал. Ожидая продолжения, Качушин напряженно смотрел на него, покачивая ногой и вспоминая, как начальник райотдела милиции говорил: «Анискину доверяйте: он бог в нашем деле!» И вот теперь следователь настороженно

следил за участковым, посмеиваясь про себя, думал: «Он действительно похож на китайского загадочного бога!»

— Так что в клубе они поссорились во второй раз, — сказал Анискин, упрямо застрявший на одной и той же мысли. — А вот чего они ссорились, Игорь Валентинович, это сразу не расскажешь. Ты это потом поймешь, когда с попом Стригановым встретишься...

— Второй раз слышу о попе! — невесело хмыкнув, отозвался Качушин. — Поистине загадочный поп!

Анискин сразу не ответил — он разогнулся, застегнул на рубахе две верхние пуговицы, строго нахмурив брови, исподлобья посмотрел на Качушина.

— Нет! — резко сказал он. — Это не загадочный поп! Ты на эти мои слова, Игорь Валентинович, пока равнение не держи, веди себе следствие спокойно, но когда ты на меня подозрительными глазами смотришь и понять не можешь, что такое во мне происходит, так ты знай: я с попом Стригановым про себя разговариваю...

Участковый окончательно распрямился, задрал обе брови на выпуклый лоб и одно за одним проделал все то, что отличало его от других людей: Анискин прицыкнул зубом, по-рачьи выкатил глаза и положил тяжелые руки на выпуклое пузо. От этого он стал окончательно походить на загадочного восточного бога.

— Поп Стриганов сейчас тоже неспокойный! — властно сказал участковый. — Он сейчас обо мне думает.

9

Разнорабочий Саранцев в вагонку вошел быстро и весело. Попав в матовый свет плафонов, в тепло и блеск дерева, он в дверях ни на секунду не замешкался, на ходу снимая шапку и брезентовые рукавицы, пошел прямо к тому стулу, который для него поставил следователь. Шапку и рукавицы Саранцев положил на стол, боком сел на низкий стул и сам расположил лицо так, чтобы на него падал луч настольной лампы. Устроившись таким образом, Саранцев согнал с губ улыбку, покойно вытянул руки на коленях и насмешливо сказал:

— Долго же я ждал! Думал, что вызовете вчера...

Настольная лампа освещала сильное, значительное лицо: крутой и широкий подбородок, впалые линии щек, тупо обрезанный нос и большие, чувственные, африканские губы с ярко-красной кожей, словно они были напомажены. Кроме этого, у Саранцева был узкий интеллигентный лоб, умнейшие глаза, а в раскрытом вороте синего рабочего комбинезона, на крепкой шее с молодой кожей лежала массивная, видимо, золотая цепочка, которая кончалась неизвестно чем, — может быть, крестом, а может быть, медальоном с фотографией женщины. И еще одно необычное для лесозаготовителя имел Саранцев — очки в красивой, современной оправе.

— Я готов отвечать! — сказал он. — Дождался!

И тут произошло странное — следователь сделался точно таким, как Саранцев. На Качушине не было синего комбинезона и громоздких валенок, не прилегали к черепу спутанные, мокрые от пота волосы, но участковый увидел, как следователь стал Саранцевым. Качушин насмешливо улыбнулся, задрал на лоб бровь, склонил голову так же набок, как и лесозаготовитель. Потом он сделался таким же быстрым и энергичным.

— Итак? — громко сказал Качушин. — Вы и есть Юрий Михайлович Саранцев! Вы двадцать пятого года рождения, образование — незаконченное высшее, женаты, социальное положение — теперь рабочий. Вы пять лет работали на инструментальном заводе в Томске, год — на электромеханическом. К суду и следствию привлекались. Я хорошо все запомнил, Юрий Михайлович?

— Да! — ответил Саранцев. — Прекрасно!

— Последнее! — смеясь, сказал Качушин. — Явно нарушаю социалистическую законность, так как никаких оснований для беседы с вами не имею, Юрий Михайлович! Прошу нижайше простить меня! Вас устраивает по форме извинение?

— Вполне! — ответил Саранцев. — Можете и протокол писать.

— Без протокола, без протокола, Юрий Михайлович! — шутливо грозя пальцем, захохотал Качушин. — Хитрец! Я составлю протокол, а вы потом — хап! Ой, хитрец! Я ведь знаю, что вы сейчас думаете. — Качушин гибко поднялся, прошелся стремительно на длинных ногах по бесшумному ковру и потер руку об руку. — Вы сейчас думаете о том, что нарушен принцип презумпции невиновности. На эту мысль вас навел тот факт, что я еще в районе познакомился с вашим досье?

— Совершенно правильно! — согласился Саранцев. — Я еще за дверью собирался накричать на вас. Теперь я кричать не буду! — Он немного повысил голос. — Я ведь все-таки купил это проклятое ружье, и я все-таки не ночевал в вагонке в ту ночь...

Участковый Анискин удивленно хмыкал и вертел головой, когда слова и фразы словно перепархивали с губ Саранцева на губы Качушина. Анискин и разглядеть-то хорошо не успел лесозаготовителя за то время, как он сел

под свет настольной лампы, а уж следователь и Саранцев ушли так далеко вперед, что только огрызочки мыслей оставались на долю Анискина. Продолжая удивляться и хмыкать, участковый еще несколько раз быстро перевел глаза с лесозаготовителя на следователя, а остановился тогда, когда произошло еще более удивительное: Саранцев по-настоящему весело и облегченно засмеялся.

— Ну, брат! — сказал он. — Ни одного козыря в руках!

Только теперь можно было понять, что все прежнее в Саранцеве было игрой: и улыбался он через силу, и шел бодро потому, что ему надо было так идти, и садился на стул небрежными движениями потому, что все остальные движения не годились. Сейчас же Саранцев улыбался хорошей, всамделишной улыбкой, и у него было славное, чуточку усталое, но доброе лицо. Потом он так огляделся, что Анискин понял: Саранцеву хорошо и привычно сидеть в теплой уютной вагонке, пощуриваться от яркого света и держать вытянутыми длинные ноги.

— Так начинайте! — попросил его Качушин. — Эдак не торопясь, по порядочку...

Саранцев только чуточку стал серьезнее, только немного пригасил славную улыбку, когда заговорил хрипловатым и приятным голосом. Слегка помогая себе рукой, необременительно для слушателей подбирая слова, он рассказал о том, что с семи часов вечера до половины третьего ночи он был в гостях у попа-расстриги. Этот факт, сказал Саранцев, могут подтвердить жители деревни Привалов и Филиппов, тоже гостевавшие у попа и ушедшие домой позже Саранцева. Затем, немного подумав, лесозаготовитель затрудненно сказал:

— Я вернулся в вагонку примерно в два пятнадцать, но этого никто засвидетельствовать не может: все спали. На лесосеке кончила работу вторая смена, но мне кажется... — Саранцев неловко развел руками... — мне кажется, что и сам Титаренко не заметил моего возвращения. Он считает, что я вернулся только утром.

Саранцев сдержанно вздохнул и замолк. Он тоже прислушался к тому, как метель бушует за вагонкой, почувствовал дрожь пола и, наверное, тоже ощутил иллюзию движения, так как лицо лесозаготовителя сделалось задумчивым, точно он смотрел в окно движущегося вагона.

— Вернувшись, я не смог уснуть! — тихо сказал Саранцев. — Меня возбуждают разговоры с попом. Видимо, в четвертом часу я встал, оделся и вышел из вагонки. До самого завтрака, то есть до семи часов, я бродил по тайге. Мне есть о чем подумать, оставшись наедине с самим собой.

Он неожиданно замолчал. Теплый воздух от батареи электрического отопления поднимался с полу, ощутимо струился по коже лица, и было видно, как он осторожно пошевеливает подсыхающие тонкие волосы Саранцева.

— О ружье... — приглушенно продолжал он. — Оно было со мной. Вероятно, потому, что ночь, тайга, луна... И этот поп Стриганов!

Саранцев задумался, склонив голову. Уши у него были круглые и розовые, оттопыренные, как у подростка. Человек с такими ушами, думал Качушин, к сорока годам толстеет, заводит пятерых детей, после ужина с газетой в руках садится в кресло и дремлет, роняя газету. И вот поди ж ты... Качушин прошелся по вагонке, остановился.

— Серия вопросов! — улыбнувшись, сказал следователь. — Постарайтесь отвечать быстро...

Он сел так, чтобы видеть лицо Саранцева освещенным; загнув бровь, вдруг стал смотреть на лесозаготовителя странными глазами — в них, как у козы, вертикально стояли зрачки. Выражение лица у Качушина сделалось энергичным, быстрым.

— Гильзы выбрасываете? — стремительно спросил он.

— Да!

— Носите патроны в патронташе?

— Да!

Качушин торопливо передохнул, и после этого вопросы посыпались с молниеносной быстротой:

— Когда стреляли в последний раз?

— Три дня назад, утром.

— Ружье чищено?

— Да.

— Рислинг покупали?

— Да.

— Когда выпили последнюю бутылку? И где?

— У попа Стриганова. В тот вечер...

— Как были одеты в ночь происшествия?

— Пальто, сапоги, вот эта шапка...

— Обстановка на три часа ночи? Погода, освещение, звуки...

— Тихо, луна, лаяли собаки, собирался идти снег...

— Кого встретили на улице деревни?

— Никого.

— За что угрожали охотинспектору Мурзину? И когда?

И сразу оборвался стремительный поток слов, точно бы взорвавшись, разлетелась на куски та прочная связь, которая была меж Юрием Саранцевым и Качушиным. Лесозаготовитель слегка побледнел, подавшись назад, замер в неловкой позе, а Качушин глядел на него внезапно вспыхнувшими, блестящими, как драгоценные камни, глазами. Зрачки, расширившись, перестали быть вертикальными.

Минуту, наверное, длилась тугая, смятая и беспокойная пауза, потом послышался зябкий голос Саранцева.

— Всю жизнь я буду бледнеть при виде милиционера! — сказал он. — Живи я даже в Москве, убийство на другом конце города пройдется по мне, как нож по маслу... И некуда уйти, некуда скрыться...

Летел, покачиваясь, в пространство ярко освещенный вагон; стучали несуществующие колеса на несуществующих стыках. Плохо, очень плохо было теперь в теплой и уютной вагонке Юрию Михайловичу Саранцеву! И уже лежала меж ним и следователем резкая, холодная грань отчужденности, словно меж теми двумя пассажирами, один из которых весело глядит на обещающе сужающиеся рельсы, а второй — на красный фонарь последнего вагона, бросающего отблеск на недремлющую фигуру кондуктора.

— Продолжайте! — попросил Качушин. — Я слушаю!

— Мне трудно! — по-прежнему зябко ответил Саранцев. — Надо вернуться к моему досье, чтобы понять, почему я хожу к попу Стриганову...

— Так и вернитесь!

Саранцев менял позу. Он подтянул ноги и поставил их ровно, колено к колену; голову выпрямил, а губы поджал, словно старался убрать все лишнее, мешающее, торчащее. Через несколько секунд он перед Качушиным сидел так, как полагается сидеть подследственному: прямо, настороженно и неподвижно.

— Меня арестовали за покушение на убийство одного подлеца. Это было на третьем курсе университета, — ясно сказал Саранцев. — Мне шел двадцать первый год, но я считался знатоком религии. Профессор Гриневич предполагал, что я займусь Египтом и Иерусалимом... Ими я, как сами понимаете, не занялся, но после тюрьмы меня повлекло к иррациональному. Понимаете?

— Да!

— Стриганов — любопытный человек. Его теория стара, как луна, но в полуневежественных устах попа она выглядит соблазнительной. Немного мальтузианства, добавка раннего христианства — и вот вам поп Стриганов, деревенский философ! В крайне опрощенном виде его доморощенная философия выглядит так: природа — бог, и нет бога выше, чем природа. Но Стриганов — просто сильная личность, и его интересно слушать...

Участковому Анискину казалось странным, что на Саранцеве синий хлопчатобумажный комбинезон, разношенные валенки, дешевая рубаха, что на лице ломтями лежит снежный ожог. Наверное, поэтому иностранные слова в устах Саранцева звучали непривычно, а через снежные ожоги с трудом пробивалось то выражение, с которым человек мог говорить такие слова. Вот и казалось, что Саранцев повторяет чужое, что на каждом иностранном слове он спотыкается. «Эх, жизнь, жизнь! — думал участковый. — Вот она что выделывает, жизнь-то!»

— Как же вы мне прикажете понимать сей сон? — внезапно живо спросил Качушин. — Вы угрожали Мурзину, поддавшись влиянию попа, или сами считаете противоестественной охрану природы?

— Много проще! — печально ответил Саранцев. — Когда я купил ружье, охотинспектор Мурзин пожаловал ко мне: «Ты почему не поставил ружье на учет?» Понимаете, когда является официальное лицо с начальственной складкой у губ и разговаривает на «ты»...

Саранцев замолк, удивившись вдруг наступившей тишине и тому, что плафоны и настольная лампа ярко вспыхнули. Оборвался рев и гул машин; вагонка как бы с размаху остановилась среди ветра, скрипа деревьев, ухающих смерчей — на глухом полустанке остановился вагон.

— Пересмена! — сказал Саранцев, загораживая лицо ладонью от яркого света настольной лампы. Потом он медленно продолжил: — В клубе я был пьян. После тюрьмы меня тянет не только к иррациональному. Напившись, делаюсь сентиментальным и напыщенным, как уголовник.

Вагонка стояла на месте. Лежал на окнах остановившийся желто-вафельный свет прожектора, пробегали человеческие тени — плечи, голова. Это шли мимо вагонки рабочие.

— Ну! — сказал Саранцев. — Доставайте заранее напечатанный типографским способом текст...

— Не буду! — подумав, ответил Качушин. — Не нужна мне ваша подписка о невыезде!

Их глаза встретились: следователь глядел на Саранцева весело и просто, а лесозаготовитель болезненно поморщился и стиснул зубы. Черты его лица заострились, и участковый почувствовал, как Саранцев весь напрягся под синим комбинезоном. Прошла еще секунда, а подследственный изменился до неузнаваемости — он весь перекосился от ненависти и отвращения.

— Ваше великодушие не стоит ломаного гроша! — вздрогнувшим голосом сказал Саранцев. — На дворе такая метель, что живое существо из деревни выбраться не может. Вы сами беспокоитесь, что из района не пробьется трактор, и вы не получите данных экспертизы.

Ненависть Преступления к Закону, подследственного к следователю; ненависть человека, лицо которого освещено резким светом, к человеку, сидящему сейчас в тени, острыми зуб-

чиками прозвучала в голосе Саранцева, сорвалась с губ нервным храпом и мгновенно отразилась на лице Качушина. Следователь медленно поднес к губам сигарету, крепко затянулся сладким дымом и холодно спросил:

— Кто вам сказал, что я жду данные экспертизы?

— Несчастье! — зло ответил Саранцев. — С той самой минуты, как стало известно о смерти Мурзина, я ищу алиби. Его нет, и я со страхом думаю о бутылке из-под рислинга, на которой могут оказаться отпечатки моих пальцев...

Ожидая удивленного вопроса, Саранцев сделал нервное, резкое движение, но Качушин спокойно выпустил дым из сложенных сердечком губ, подумав, небрежно сказал:

— Да, это возможный вариант! — Он покосился на участкового. — При опросе продавщицы сельпо Прониной мы установили, что вы купили три бутылки рислинга. Никто из жителей деревни рислинг не покупал. Естественно, что на каждой из бутылок есть отпечатки ваших пальцев... Моя задача — понять, как одна из бутылок оказалась на месте преступления.

Качушин встал, походил по кабинету, опять присел на кончик стола. Он был сосредоточенный, деловой, спокойный; следователь размышлял, сопоставлял, исследовал, и ему уже было не до того, чтобы разыгрывать простоту или производить впечатление своим загадочным молчанием. Он работал, и от этого был прост, понятен.

— Существует два варианта, — продолжал Качушин. — Или вы на самом деле убили Мурзина, или случайно оказались на месте преступления. Пока факты против вас, хотя у меня еще нет данных экспертизы... — Следователь повернул лицо к Анискину. — Есть факты и обратного порядка. Федор Иванович нашел на месте преступления колечко от ножа, принадлежащего кому-то из охотников. — Он вдруг улыбнулся. — Одним словом, бутылка рислинга против колечка от ножа... Я не думаю, что вы могли оставить на месте преступления и бутылку и колечко, хотя и это возможно... Двадцатый век на дворе, Юрий Михайлович!

Следователь опять встал, походил по комнате, потом спокойно закончил:

— До свидания!.. До свидания! — повторил он, так как лесозаготовитель не двигался. — До завтра, товарищ Саранцев!

Качушин сделал ударение на слове «товарищ», голос у него был вежливый и дружеский, и Саранцев пошел к дверям. Следователь и участковый смотрели ему в спину, но лесозаготовитель не сутулился, не поводил плечами, не замедлял шаги. Саранцев шел так спокойно и так независимо держал спину, как мог уходить от следователя только тот человек, который это делал не в первый раз. Дверь за ним закрылась, на секунду стало тихо, потом стены вагонки качнулись, перекосились, словно ее переворачивали; бешеный воздух давил на вагонку со злобой и отчаянностью, стекла жалобно ныли, опять качался на стекле луч ожившего прожектора, и вагонка опять двигалась. Вот какой короткой была пересмена на лесопункте технорука Степанова!

— На кого покушался Саранцев? — спросил Анискин.

— В деле тысяча страниц, — задумчиво ответил Качушин. — На своего сокурсника. Все это было давно, в сорок девятом году.

На лесопункте технорука Степанова гремели трактора, свистели пилы, метался по низким тучам меловой свет сильного прожектора. Третья смена начинала работу на разоренном пятачке земли, и сам технорук Степанов, начавший трудовой день в шесть утра, забежал на секундочку в вагонку — покурить и обогреться. Веселой, быстрой фигурой он вырос в коридоре, притоптывая ледяными ботинками, проговорил насмешливо:

— Милые мои детективы, я вам не отдам Саранцева! Он, во-первых, никого не убивал, а во-вторых, не лишайте меня интеллектуального общения. Вы знаете, милый мой Мегре, в тюрьме и после нее этот человек прочел бездну книг. Он ходячая энциклопедия, хотя наотрез отказывается заменить Титаренко.

Степанов бросился на диван, хохоча, положил ноги в грязных ботинках на пупырчатый яркий материал и вдруг обратился к Анискину.

— А что вы думаете о Саранцеве? — вызывающе спросил он. — Какие мысли навеял этот образ?

— А ничего не думаю! — после небольшой паузы ответил участковый и непонятно улыбнулся. — Чего я могу про него думать, когда он говорит: «Мальтузианство»!

Иностранное слово участковый произнес медленно, осторожно, почти по слогам, но правильно. Потом он насмешливо задрал левую бровь, прищурился и сказал:

— Вот поп Стриганов тоже чудных слов не знает, а Саранцев-то от него не вылезал. Как вечер, так сидит у Стриганова и ему в рот смотрит... Так что не в словах дело, товарищ Степанов! Дело в том, дорогой товарищ, что пустая-то гильза — от саранцевского ружья. Она бумажная, а у нас такими никто не стреляет. — Он сдержанно улыбнулся. — Это только городские охотники патроны-то покупают!

10

Чтобы идти против ветра, на его тугие струи нужно было падать. В свете уходящих назад прожекторов вальсировали снежные смерчи,

взвихриваясь, горели костры; вихри в вальсе плыли медленно, один за одним, как на малолюдном балу. Снежный ветер колол и сдирал кожу, ботинки следователя выше щиколотки проваливались в сугробы, с которых буран сорвал поверхностную утреннюю пышность. Было темно, хотя за тучами жила полная молодая луна. Дышать было нечем. Когда Качушин открывал рот, ветер заталкивал в него твердый кляп, и дыхание останавливалось, воздуха не хватало, хотя бушующий и завывающий мир был наполнен только и только воздухом. Огни деревни светили желто, приглушенно, как угли потухающего костра.

Следователь и участковый миновали пустую, наполненную грохотом деревню, прошли по свистящему березовому околку и вышли в поле; буран пахнул в лицо разгульной свободой. На пути ветра не было препятствий, так что он обрушился на участкового и следователя с такой силой, с какой обрушивается на потерпевших кораблекрушение девятый вал.

Время остановилось, кончилась на земле жизнь. Вот ей-ей, следователю померещилось, что время пятилось назад, а в мире не осталось ничего, кроме ветра, на который надо было падать, и ног, которые проваливались в снег до колен.

Не было никогда и нигде тротуаров, бетона и стали, электричества, солнца, кинофильмов, кресел, гвоздей и смешной вещи, которая называлась часами. И не существовало человека, который назывался Качушин, так как не могло называться живым человеком существо, все мысли и чувства которого были сосредоточены на ветре, тропинке и ботинках. Качушин как бы растворился в темноте и безвременье; шел так, как, наверное, шагал по пустыне, бесконечной и мертвой, старый, усталый верблюд: может быть, придет к оазису, может быть, нет, безразлично верблюду. Шли секунды, минуты, и постепенно приходило такое чувство, когда остановка чудилась катастрофой. Качушину казалось, что если он перестанет падать на ветер, если ноги не провалятся по колено в снег, то в мире останется только пустота.

— Пришли, парнишша!

Белый, как привидение, участковый прорисовывался в темноте постепенно, громадный и шевелящийся от снега, который кипел вокруг него и на нем. Медленно подходя к Анискину, Качушин как бы собирался по частям: возвращал себе зрение, выволакивал из глубин желания, собирал по мелочам мысли. Когда оказалось, что в мире есть что-то, кроме ветра, тропинки и ботинок, Качушин обнаружил, что стоит возле забора, что сквозь щели его мягко светит окно небольшого дома, остроконечностью крыши и выступающими торцами бревен походившего на терем. Это значило, что они наконец пришли на заимку, к дому охотника и рыбака Флегонта Вершкова.

— Добрались, добрались! — подтвердил из темноты и голос участкового. — Шутка сказать: пять километров! Но Флегонт дома. Сильна метелишша!

Хозяин заимки, рыбак и охотник Флегонт Вершков, сидел на сапожном стуле посередь комнаты, от стенки к стенке перетянутой бечевкой, на которой болтались большие загнутые крючки. На Вершкове был кожаный фартук, на голове — зимняя шапка, на ногах — громадные бахилы. В комнате оглушающе пахло дегтем, рыбьим жиром, порохом и свежей кожей. Это были как раз те запахи, которыми пахла охота и рыбная ловля, и от них в носу щипало, но запахи были приятны. Под потолком горела керосиновая лампа, освещая неровно углы дома, хозяина и трех собак, лежащих за его спиной.

— Здорово, здорово, Флегонтушка! — поздоровался участковый, входя в комнату. — Ты внимания не держи на то, что я не один. — Он повернулся к Качушину. — Это мой дружок из району. Интересуется насчет охоты и рыбалки.

Эти слова Анискин проговорил быстро, незаметно подмигнул следователю и даже слегка пригородил его спиной от Вершкова. Потом участковый живо снял полушубок и шапку, повесил на деревянный штырь у дверей, хлопотливо пройдя в комнату, сел на боковую лавку.

— Дегтем у тебя, Флегонтушка, вонят, как в москательной лавке, — улыбаясь, сказал он. — Конечно, тебе без дегтю, как борову без щетины, но я намедни в магазине был: дегтю нет! Не ты ли его скупил?

— Я! — тоже улыбнувшись, ответил Вершков. — Я, Феденька, хотя деготь нонче не товар. Это раньше им — и телегу, и чирки, и чирий, и плохой бабе ворота! А теперь деготь не товар.

Участковый на глазах следователя Качушина менялся: наплыло на его лицо мудрое философское выражение, крестьянская хитринка и сдержанность застыли в глазах, в фигуре появлялась солидность, основательность. Каждой частицей большого тела, каждым движением, выражением лица походил теперь участковый на рыбака и охотника Флегонта Вершкова. И сидел он на лавке так основательно и прочно, как умеют сидеть только охотники и рыбаки — настоящие мужчины, хозяева жизни, основа основ.

— На рыбалку ладишься, Флегонтушка? — значительно, вдумчиво спросил участковый. — Думаешь, скоро метелишша-то сбавится?

— А к послезавтраму затихнет, — подумав, ответил Вершков. — Вон и по Белолобому видать, что гулеванье-то кончается. Ты глянь, как

он облизывается и как коготь в открытости держит...

Огромный, как теленок, пес Белолобый действительно лизал красным острым языком бурую шерсть на груди, а лапы лежали на полу свободно, с выпущенными, как у кошки, когтями. Рядом с ньюфаундлендом Белолобым лежали лайка и молодая овчарка. Все три собаки сохраняли такую невозмутимость, точно в комнате никого, кроме хозяина, не было, но собачьи глаза зорко следили за пришедшими, двигались понемножку и порой вдруг светились колющим зеленым отблеском. Каждая собака лежала на своем половичке.

— Хорошо возят? — внимательно оглядев собак, спросил Анискин. — Овчарка-то с лайкой не грызутся?

— Чего им грызтися? Собаки грызутся, пока незнакомые, а как признакомятся да поробят вместях, их водой не разольешь...

В заимке было оглушающе тихо: так толсты были ее лиственничные стены, так давил на них бревенчатый нештукатуренный потолок, что ни один звук в дом не проникал. Тишина звенела и покачивалась, тишина желтела и светилась, и Качушин снова почувствовал, что время замерло. Анискин, вдруг заговоривший на чалдонском, местном наречии, крючки самоловов, которыми добывают самую древнюю на земле рыбу — стерлядь, медвежьи и лосиные шкуры на стенах, запах дегтя, звериная настороженность собак, закопченность нештукатуренных стен и трепет фитиля в керосиновой лампе — все делало мир призрачным, словно он снился. И только одно пятно отдохновения, легкости было в комнате — большой и дорогой радиоприемник, стоящий в углу комнаты на низком табурете.

— Флегонт, а Флегонт, — сказал Анискин, — ты, конечно, не любишь, когда к тебе приходит народ, но ты сразу скажи: возьмешь мово дружка на рыбаловку или без внимания оставишь?

Напильник перестал вжикать о металл — это Вершков оторвался от крючков самоловов, которые он точил. Он поднял кудрявую голову, большими, черными, открытыми глазами на аскетическом лице внимательно и строго посмотрел на Качушина. Охотник как бы ухватил следователя за воротник куртки, повернул его, висящего в воздухе, перед керосиновой лампой, и, усмехнувшись, положил на то место, с которого поднял.

— Не возьму твово дружка на рыбаловку! — ответил Вершков. — Его рыба не примет... Так что ты меня, Федор, извиняй, и вы, товарищ, тоже извиняйте...

Три собаки одновременно вздыбили шерсть на загривках; что-то почуяли они, услышали сквозь толстые стены заимки — поднялись шесть чутких ушей, сверкнули шесть звериных глаз. Затем собаки успокоились.

— Мыши в подполе! — вздохнув, сказал Вершков. — Это, как твои тараканы, Федор, не помыслишь, откудова завелись...

Качушин осторожно пошевелился, опасаясь спугнуть тишину и спокойствие собак, медленным движением положил руки на колени, а ухо повернул туда, где стоял радиоприемник. Из-под блестящего дерева доносился голос: «Большими трудовыми успехами радуют металлурги Запорожья...»

— Значит, не возьмешь мово дружка на рыбалку и охоту? Не показался он тебе?

— Не показался. Извиняйте!

— Тогда мы пошли! — сказал участковый, поднимаясь. — Ты нас тоже извиняй, что помешали, извиняй.

Когда Анискин, стараясь не скрипеть половицами, пошел к дверям, собаки поднялись с половичков; каждая сделала по шагу вперед, но затем все остановились и сели, высунув языки. Участковый посмотрел на них, улыбнулся отчего-то и спросил:

— Флегонт, а позавчера ночью, когда ты в тайге был, второго выстрела не слыхать было?

Керосиновая лампа висела в центре потолка, сапожный стул стоял посередине пола, и потому лицо охотника виделось так четко, словно его специально подсветили; каждая морщинка, каждый мускул были ярко освещены, но Качушин ничего не мог понять по умному и сильному лицу Вершкова: оно было бесстрастно и замкнуто, дремуче и первобытно, как коричневое лицо индейца из куперовского романа.

— Был второй выстрел! — наконец ответил Вершков. — Это обязательно правда, что был второй выстрел.

Участковый все-таки снял со штыря полушубок, держа его в руках, повернулся к охотнику, и собаки приглушенно зарычали. Лениво шагая, поблескивая шерстью на двигающихся мускулах, они подошли к участковому, полуокружив его, сели и опять вывалили жаркие языки. Натасканные на уход незнакомого человека, собаки только и ждали знака хозяина, чтобы, распластавшись в стремительном бесшумном прыжке, броситься на участкового.

— На место! — не повышая голоса, сказал Вершков. — Не дури, Белолобый...

Глаза собак потухли, шерсть опустилась, холки по-кошачьи прогнулись; псы отступили назад, легли, домашние и ласковые, как кролики.

— Это чего же делается! — удивленно сказал Анискин. — Ты мне обязательно скажи, Флегонт, какой же это такой был второй-то выстрел? И почто я про него не знаю? И опять, как же эти-то штукари, Бочинин с Колотовкиным!

Торопливо повесив полушубок на прежнее место, Анискин вернулся на лавку, сел, положил руки на пузо и давай туда-сюда и сюда-туда вертеть заскорузлыми пальцами. Потом он набычил голову, стал задумчиво прицыкивать пустым зубом.

— Это ведь дело менят! — холодно сказал участковый. — Это когда же выстрел был? До Степанова или раньше?

— Раньше! — ответил Вершков. — Степанов выстрел, как сам знашь, был глухой, как бы в подушку, а тот звонкий. Кто-то из леспромхозовских стрелял. — Вершков замолк, раздумывая, положил напильник на колено. Потом он тихо продолжил: — Из двенадцатого калибра стреляли.

— Ты почто знашь, что леспромхозовский?

— Как не знать! — ответил Вершков и неожиданно весело улыбнулся. — Ты что, не разбирашь, какой заряд в магазинских патронах?

От улыбки лицо охотника помолодело, теперь увиделось, что ему только под шестьдесят, морщины на лбу и у рта не глубоки, губы свежи. Охотник улыбался, и на его лбу расправилась трагическая складка, такая, какая бывает у хороших актеров или у одиноких женщин.

— Так! — сказал Анискин. — Эдак!

Ясноглазый, большелобый и энергичный, сидел на лавке участковый; просторными, резкими движениями он расстегнул все пуговицы на вороте теплой рубахи, погладил седые волосы на груди ладонью, мечтательно прищурившись, с ног до головы оглядел охотника.

— Чего же ты не пошел на второй выстрел, Флегонт? — спросил Анискин. — Вот ведь понимашь, что выстрел был диковинный, а не пошел? А, спрашиваю?!

По щекам Вершкова пробежала тень, веки вздрогнули, туго сжались губы. Это заняло мгновение, долю секунды, а потом лицо охотника опять бесстрастно застыло.

— А не хочу, Анискин! — приглушенно ответил Вершков. — Не хочу на выстрелы ходить! — Он еще понизил голос. — Что мне ходить, если леспромхозовские стреляли...

Собаки, уж было мирно задремавшие на половичках, тревожно вскинули головы: верно, в голосе охотника прозвучало что-то такое, что встревожило их. Снова поднялись острые уши, вздыбилась шерсть, оскалились пасти. Ньюфаундленд кляцнул зубами и глухо, как отдаленный гром, зарычал.

— Ишь что с ними делается! — сказал Анискин и внезапно обратился к охотнику: — У тебя ведь есть бескурковка, Флегонт? Дай-ка я на нее гляну.

Поднявшись, участковый снял с оленьих рогов новое ружье марки «ИЖ-12» с двумя стволами, положенными друг над другом, и с гладким местом там, где у обычных двустволок стояли напряженные курки. Резким и сильным движением Анискин переломил ружье, щелкнув, вернул стволы в обратное положение и вдруг протянул ружье Качушину.

— Ты, Игорь Валентинович, такой расстроенный из-за рыбаловки, что молчишь, как бирюк! — весело сказал участковый. — Так хоть погляди на эту сволочь бескурковку. Вот и скажи: на предохранителе ижевка или нет?

Тяжелое ружье удобно сидело в руке, ложе было гладкое и ласковое на ощупь, но, посмотрев на предохранитель, Качушин вспомнил притчу о сороконожке, которая обезножила оттого, что задумалась, какой ногой шагать. Минуту назад следователь твердо знал, что планку предохранителя полагается сдвинуть вперед, чтобы снять ружье с предохранителя, а вот сейчас сомневался: «А не назад?»

— Срамцы инженера! — рассмеялся Анискин. — Хоть бы написали или стрелочку сделали.

— Это страсть, Федор, до скольки разов я по птице на предохранителе стрелял! — сказал Вершков. — Подцепишь селезня на мушку, а она, сволочь, даже не чакнет! А в другой раз она сама подаст голос. Вот какая страма, эта бескурковка!

— Вот и поп Стриганов ее тоже не любит! — сказал Анискин.

Во второй раз лицо охотника утратило бесстрастность, но на этот раз не от улыбки. Полные губы Вершкова тоскливо сомкнулись, глаза повлажнели, опять глубокая тень прокатилась по аскетическим впадинам и выпуклостям лица. И опять чудное чудо вершилось на глазах Качушина: собаки вскочили. Как могли понять они, лежа за спиной охотника, что его лицо тоскливо посерело?

— На место! — не оборачиваясь, глухо проговорил Вершков. — На место!

Когда собаки успокоились, Анискин пошел к дверям. Он снял полушубок со штыря, надел его, ожидая Качушина, приостановился, большой, громоздкий, легко дышащий оттого, что была зима.

— А от кого ты, Флегонтушка, про смерть-то Степана узнал? — спросил Анискин. — Ты ведь в деревне-то редко бываешь...

— Баба Сузгиниха приходила. Беличью шапку младшему ладит...

Провожаемые собаками, участковый и следователь подошли к дверям, попрощавшись с охотником, закутавшись и подняв воротники, выбрались в темные сени. После керосинового света они ослепленно остановились, привыкая к темноте и вою бурана. В молчании прошли несколько секунд, затем раздался спокойный голос Анискина:

— Что ты думаешь про Вершкова, Игорь Валентинович?

Ветер взвыл и оборвался, опять взвыл и снова оборвался. Потом темень сказала насмешливым голосом Качушина:

— Что я могу знать про Вершкова, когда он говорит: «Страма»!

11

Качушин лежал в теплой анискинской горнице под пуховым одеялом. Руки и ноги ныли, побаливала голова, большой палец правой ноги опух, ощущался лишним, ненужным. Сон не шел. Он перевертывался с боку на бок, считал до тысячи; взбивал кулаками горячую подушку.

Шел третий час ночи, но из соседней комнаты время от времени доносился шорох страниц, сдержанный вздох. Это читала таинственная, непонятная дочь участкового Зинаида. Качушин до сих пор ее не видел, участковый и его жена мимо комнаты дочери проходили на цыпочках. А перед ужином пришел забавный костлявый человек — деревенский фельдшер, — пробыл в комнате Зинаиды минут двадцать, выйдя, сказал мрачно и загадочно: «Болезнь духа, но не тела!» После его ухода участковый с женой долго молчали, а Зинаида в своей комнате стала казаться Качушину еще более таинственной, непонятной и — самое странное! — каким-то образом связанной с тем, что произошло в ночь смерти Степана Мурзина.

Качушин потому и не мог уснуть, что, мысленно переносясь из милицейского кабинета на заимку, с заимки в вагонку, а из вагонки опять на заимку, он непременно возвращался к дочери участкового Зинаиде, которая читала в соседней комнате. Была явная, но неуловимая еще связь меж нею и техноруком Степановым, меж Анискиным и охотником Вершковым, меж странным попом Стригановым и снова участковым Анискиным. В этом не было логики, но болезнь Зинаиды каким-то образом имела отношение к техноруку Степанову, а через него связь протягивалась к ночному происшествию, словно технорук Степанов в деле был не менее важной фигурой, чем поп Стриганов.

Ворочаясь в постели, страдая от бессонницы, следователь отчетливо понимал уже, что поп Стриганов, пожалуй, тот человек, вокруг которого вращается карусель всей этой странной, запутанной истории. Все: и голос Анискина, когда он говорил о Стриганове, и глаза Саранцева, и темные шорохи на заимке Вершкова — все вело к попу Стриганову. А дочь участкового Зинаида? А сам участковый? Отчего Качушин чувствовал их связь со Стригановым? Почему следователь думал, что Анискин знает не только того человека, который встретился ночью Степану Мурзину, но и причастен к происшествию глубоким, естественным и грозным образом? Что это могло все значить?

Шуршали за тонкой дверью страницы, расплывался на потолке желтый свет, бесновался вокруг дома ночной буран. Тревожно было в теплой горнице, и такими же тревожными были мысли Качушина, вышедшие из повиновения. И все-таки надо было спать, так как вечером из райотдела позвонили: трактор выходит на рассвете, водитель надеется к вечеру быть в деревне. С трактором выезжает капитан милиции Юлия Борисовна, и утром Качушину предстоит много работать, а он не может уснуть оттого, что приходят в голову дурацкие мысли.

В соседней комнате послышался шорох, скрип дерева, приглушенное сопение. Потом раздался шлепок босых ног об пол, шебаршение материи, а в паузе — тяжелый вздох, прислушивающийся шаг. Весь в белом, участковый Анискин выбрался из-под ситцевого полога, настороженно повернул голову в сторону Качушина, прислушался чутко, как зверь. Затем Анискин начал бесшумно, быстро одеваться: сунул ноги в стеганые брюки, влез в рубаху, стоя на одной ноге, аккуратно и плотно навернул портянки. Словно в дальнюю дорогу одевался он, затем, опять прислушавшись к дыханию Качушина, пошел к дверям. Открылась уличная дверь, хлынули звуки метели, оборвались и — тишина, тишина.

За ситцевым пологом опять шуршало, двигалось. Жена участкового Глафира беззвучно вынырнула из ситцевой духоты, босыми ногами прошла к комнате дочери, как привидение, исчезла за дверью.

— Ушел! — донесся до Качушина шепотливый голос.

За стенкой разговаривали приглушенно, с большими паузами.

В голосах матери и дочери не было тревоги, беспокойства; они звучали обыденно, словно ничего не происходило. В паузе прошуршала книжная страница, раздался вздох, кроватный скрип. Ничего не происходило в соседней комнате, хотя жена участкового проснулась, пришла к дочери. За стенкой молчали, и к Качушину возвращалось спокойствие, он опять приходил в то состояние, в каком был тогда, когда участковый допрашивал Бочинина.

Замедленный, успокоившийся, Качушин думал о том, что во всем повинна смена темпа жизни. Только год с месяцами отделял его от городской сутолоки, от открытого и беспечного существования в Томском университете, от общежития «Пятихатки», от молодой, бездумной жизни. А тут деревня во всю ширь и глубь, таежное дело, легендарный участковый уполномоченный; жизнь от земли, от пупа, от начала начал...

— Отца не вини! — вдруг громко раздалось за дверью. — Он сам кругом запутанный...

И опять — пауза, молчание, спокойствие. «Нарым, Нарым, — думал Качушин, — страна, где цветы не пахнут, а зима — девять месяцев!» Разноцветные круги вращались в глазах, бордовые точечки усеивали потолок мерцающими звездами. Качушин засыпал, думая о том, что спать ему сейчас не надо, так как он должен понять, что значат слова Глафиры: «Он сам кругом запутанный!» — и что все-таки происходит за стеной. Но он заснул, так и не поняв ничего. Он очень устал за день, двадцатипятилетний следователь Качушин.

12

Участковый уполномоченный Анискин минут десять тарабанил в двери стригановского дома, пока достучался. Замерзший, иссеченный ветром, недовольно посапывая, он наконец прошел в комнату, освещенную подвижным светом стеариновой свечи, так как поп Стриганов ни керосина, ни электричества не признавал.

Самую большую стену комнаты от потолка и до лавки занимали винные и водочные этикетки. Из угла в угол комнаты, как бельевые веревки, тянулись гирлянды из жестяных бутылочных пробок. Когда по комнате ходили, гирлянды раскачивались, звенели.

Удивительным, необыкновенным человеком был сам поп Стриганов. Стоя под пробочными гирляндами, на фоне стены, заклеенной этикетками, он, казалось, сам издавал переливающийся звон, был тоже пестр и весел, как веселая и пестрая стена; большое лицо с копной черных волос и ассирийской волнистой бородой весело ухмылялось. Стриганов клубился, переливался радостью, стоял на полу пританцовывая и в крылатой ризе походил на ночную бабочку-однодневку.

— Какой гость! — говорил поп Стриганов, отступая назад и широко разводя руками. — Боже мой, какой гость!

Меж бородой и усами у попа ослепительно горели молодые частые зубы, был свеж и красногуб рот, большие, серые, влажные глаза смеялись откровенно насмешливо, а спина изгибалась издевательски подобострастно. Для виду суетясь, поп делал такие движения, словно собирался обнять, усадить, обласкать участкового, но сам загораживал Анискину дорогу в комнату.

— Какой гость! Боже мой, какой гость!

Обойдя Стриганова, участковый сел на лавку, притих, дожидаясь, когда пробочные гирлянды перестанут звенеть. Поп обернулся к нему, и несколько минут они внимательно смотрели друг на друга — взволнованные и как бы пораженные тем, что хозяин стоит в центре комнаты, а гость сидит на лавке. Наконец пробки перестали звенеть.

— Чего же будем делать, Василий? — спросил Анискин. — Ну, вот скажи ты мне, чего будем делать?

Анискин длинно вздохнул и посмотрел на попа такими тоскливыми, страдающими глазами, что поп поежился, бесшумно усевшись на лавку, зябко поджал ноги. Поддевка на груди распахнулась, открыв синюю майку и выцветшие от стирки трусы, борода сморщилась, опала, волосы рассыпались по плечам.

— Федя, — тихо ответил поп, — хоть на кусочки меня режь, но я не знаю, кто убил Степана...

Потрескивая, горела свеча, на неровно оштукатуренных стенах колебались фантастические тени от пробочных гирлянд, острой поповской бороды, сутулых его плеч. Шел четвертый час ночи, и буран достиг предела, такой точки, когда в вое ветра нет ни просвета, ни слабинки. Ветер выл с обреченной напряженностью и тоскливым постоянством, с такой силой, что казалось, если вой на секунду прервется или еще усилится, то за окнами что-то с грохотом разлетится на части, рухнет безвозвратно. И такой же гибельной обреченностью веяло от потертой фигуры Стриганова. Казалось, что если он еще немножко ссутулится, если еще чуточку сильнее сдавит его плечи тяжелая поддевка, то поп рухнет на пол. В дремучей тоске сидел на лавке Стриганов, и участковый почувствовал вдруг, что в комнате нечем дышать. Весь воздух впитали в себя водочные и винные этикетки, пробочные гирлянды, иконы и растерзанная одинокая кровать в углу.

Стеариновая свеча освещала смятую, скрученную в мучительные жгуты простыню, подушку с судорожно закушенным углом, одеяло с ненавистно перекошенным пододеяльником. Кровать кричала о том, что ей ненавистен человек, который в пьяном угаре и похмельном ужасе страдал в ней от одиночества и тоски. И, как на лобном месте, на подушке темнела вдавлинка для головы.

— Васька, — шепотом сказал участковый, — что ты сделал с собой, Васька!

Поп Стриганов плакал. Слезы медленно катились по щекам, пропадали в бороде, которая все еще лихо торчала. Он едва уловимо вздрогнул, когда участковый подошел к нему, наклонившись, положил тяжелую руку на поповское плечо. В таком положении они были долго: рука Анискина лежала на плече Стриганова, а поп беззвучно плакал. Бродили тени по пестрым стенам, дом медленно и редко вздрагивал от напора бурана. Стриганов поднял голову.

— Вот видишь, Федька, — прерывающимся голосом сказал он. — Весь я износился. Ты на

шесть лет меня старше, а моложе. Я всю жизнь веру искал, а ты в одной вере жил, и через это ты счастливый...

Стриганов снял с плеча руку участкового, усмехнувшись, выпрямился:

— Ни жены, ни детей, ни веры! Вот какие дела, Федька! Так сколь в этом можно жить?

Посмеиваясь, гримасничая, подрагивая бородой, поп прислонился спиной к пестрой стене, с белозубой улыбкой стал глядеть в угол, посверкивающий иконным золотом. Он переводил взгляд с Анискина на иконы, с икон на Анискина, и насмешливая улыбка прорезалась на его лице с полосками от слез.

— Ты, Федор, как святой, — наконец сказал Стриганов, — тебя власть должна иконой сделать. Это ведь с ума сдвинуться можно,что ты почти сорок лет милиционером служишь, а вера у тебя железная. Вот через это я тебе завидую, но теперь я в такую веру перешел, против которой ты слаб. Каждому, Федор, хочется быть протопопом, так что и я на старости лет за свою правду зацепился. Я теперь тоже радостно, как и ты, живу!

Стриганов выпрямился: прямой была спина, торчала борода, на волнистых волосах лежал подрагивающий отблеск свечи, губы складывались в сытую, удовлетворенную загогулину. Он встал, запахиваясь в поддевку, как в халат, прошелся по комнате, прямой, насмешливый, крепкий.

— Я тоже свою веру нашел! — сказал поп. — Такого случая у меня больше не будет, когда я правый. Так что и я, Васька Стриганов, себя протопопом Аввакумом чувствую. Я, может, жизнь не зря прожил!

Силой, дерзостью веяло от Стриганова. Небольшого роста, он все-таки был прямоплечий и ловкий; подбородок поп имел прямой и энергичный, а глаза у него были такие смелые, что в них холодно было смотреть. Не верилось теперь, что мог плакать поп Стриганов, что под рукой участкового пять минут назад жалко и тоскливо подрагивали его плечи.

— Я теперь в радости живу! — звучно сказал поп. — Нужный я теперь жизни, вот что, Федор! Я, может, первый из всех понял, что правда, она в самой простой жизни. Рыбалки, охота, пашня — вот она правда, а все другое ложь. Человеку чем проще, тем оно лучше! А ты слепой стал, если не видишь, что мы скоро задыхаться станем, как стерлядь на воздухе. Коломенские гривы вон вырубили...

Стригановская борода непреклонно, весело трепыхала, тень от нее прыгала по стене, так как поп расхаживал энергичным, гневным шагом. Крепчал его голос, наливались умным светом глаза. Гирлянды из пробок, стена в этикетках, иконы в углах, церковный свет свечи, руки, распятые в воздухе, — все теперь и Анискину казалось диким, невозможным, и участковый притаился, затих.

— Ты всегда был честным, Федька, — возбужденно продолжал Стриганов, — а вот сейчас молчишь, хотя сам выгнал из дома технорука Степанова... Есть такой мелкий народ — пигмеи, — торопясь, волнуясь, продолжал Стриганов. — Все они ростом с ребенка, но в лесу, как дома. Так один из них, который иностранному языку обучился, сказал: «Мы, говорит, пигмеи, до той поры будем живы, пока жив лес!» — Стриганов зло взмахнул рукой. — Ну, а Ванька Бочинин может без тайги на земле обретаться?

Теперь перед участковым стоял тот Стриганов, которого Анискин привык видеть именно вот таким: с фанатично блестящими глазами, с волосами, казалось, подхваченными ветром. В первый раз за пятьдесят с лишним лет участковый слышал, как плакал Васька Стриганов, но зато десятки раз он видел его в такой позе и с таким лицом, как сейчас, когда Стриганов на самом деле походил на исступленного проповедника, нашедшего наконец истину.

— Так! — тихо сказал Анискин. — Эдак!

Он не мог смотреть в глаза Стриганову: сумасшедший огонек горел в них. Правая рука попа была вознесена над головой проповедническим, осеняющим жестом, фигура устремлена вперед, словно Стриганов задержался в падении, и от этого поп сделался вовсе призрачным, так как обычный человек не мог так стоять, так держать руку, так глядеть. Тоскуя, Анискин отвел глаза от Стриганова, глухо проговорил:

— Ты опять неправый, Василий! Я еще сам точно не знаю, почему ты неправый, но твоя вера однобокая. Этого не может быть, чтобы ты со всех сторон был правый, а технорук Степанов — ни с одной стороны. Так в жизни не бывает, Василий! — Анискин медленно покачал головой. Тяжело, длинно думал участковый, затем сказал: — Я был дурной, когда выгнал из дома технорука.

Участковый поднялся, на две головы выше Стриганова, остановился против него. Простой, понятный, незамысловатый был Анискин. Трудной была его мысль, трудным каждое слово, но в своей искренности, в своих сомнениях Анискин был открыт и честен.

— Ты, Василий, ни в каком деле не знаешь края! — горько сказал участковый. — Когда ты в молодости в курганах татарское золото искал, так ты только мозоли на руках набивал, а теперь ты поперек дороги Степана Мурзина встал. Это не от веры все, Василий...

Который уж раз в жизни, за пятьдесят с лишним лет, стояли вот так — друг против друга — Анискин и Стриганов! Подумав об этом, участковый непонятно улыбнулся, опять покачал головой, так как Стриганов смотрел на него величественно: по-царски падала с плеч

вытертая поддевка, вдохновенно вздымались волосы, сверкали глаза.

— Бог тебе судья, Василий! — безнадежно сказал Анискин. — Что ты плакал, это я не видел, но ведь, Васька, жизнь наша кончается. Ты об этом мыслишь?

Свеча, треща, гасла. Вот фитилек покосился, осел, начал падать и упал бы, если бы Стриганов не успел подхватить его спичкой. Фитилек опять слабо засветился, заколебался и все-таки потух. В густой, непроглядной темноте раздался вдруг болезненный, смятый голос Стриганова:

— Стой на месте, Федор, подполье открыто.

Глава вторая

1

В небольшой горенке анискинского дома в свете электричества блестел крашеный пол, зеленели на окнах герани, больничной чистотой гордились занавески, накидки и подзоры на кроватях, льняная скатерть на столе; потолок в горенке был высокий, стены хорошо выбелены, и в комнате жил тот непритязательный уют, который придают любому помещению чистота, тепло, порядок. Бледные, невыспавшиеся, следователь и участковый сидели за столом, на котором пофыркивал самовар, стояли блюдца и тарелки с надписью «Нарпит», вкусно пах домашней выпечки пшеничный хлеб, чесночный запах источали куски твердого, толстого сала. Следователь и участковый неторопливо ели, молчали, слушая радиоприемник.

Самолеты Народно-освободительной армии Вьетнама обстреляли американские корабли; Насер произнес речь на предвыборном собрании; Джонсон отправился в латиноамериканские страны, а ансамбль «Березка» — в восточные. То же самое количество стали, что и вчера, выплавили металлурги Запорожья, шахтеры треста «Кемеров-уголь» завершили выполнение годового задания. Вот что делалось на теплой и круглой земле, а за окнами анискинского дома лязгал гусеницами трактор, гудела автомашина и, конечно, раздавался натруженный, механический свист бурана, похожий на звук мотора реактивного самолета, когда он прогревает двигатели. Вой, свист и шелест бурана покрывали все звуки в доме, и потому совсем неслышно ходила от стола в кухню и обратно жена участкового Глафира, а его дочь Зинаида вела себя так, словно ее и не было за столом.

Зинаида оказалась такой красивой девушкой, что Качушин ошеломленно молчал. Она вышла из своей комнаты минут десять назад, выпила уже два стакана горячего молока, но следователь все еще чувствовал прикосновение ее нежных пальцев к своей руке, слышал низкий мелодичный голос: «Меня зовут Зина!» Знакомясь, девушка подошла близко, внимательно посмотрела в лицо, пахнущая странными, незнакомыми духами, стояла рядом до тех пор, пока он смущенно не пробормотал: «Вот видите, гощу у вашего отца...»

Качушин вел себя явно глупо и теперь украдкой поглядывал на бледное лицо девушки, на каштановые волосы, на выгнутый ясный лоб и серые глаза, страшные тем, что были красивы необычно. Зинаида была в темном платье с застежкой «молния» на боку; оно ласково и плотно обнимало хрупкие плечи, изогнувшись вдруг, спускалось на выпуклые и длинные бедра.

А следователь Качушин не существовал для дочери участкового. Катая тонкими пальцами хлебный шарик, Зинаида отсутствующе глядела в темное окно. Она была там, где гремел гусеницами трактор и завывал буран, где всю ночь не гасли прожектора передвижного лесопункта технорука Степанова.

Еще раз украдкой поглядев на Зинаиду, следователь перевел взгляд на участкового и вдруг понял, что произошло в этом доме. Соединялись воедино обрывки фраз и мыслей, увиделось, как участковый с техноруком выходят в тамбур вагонки и как менялось лицо Степанова, когда он смотрел на Анискина. И вспомнился ночной голос за тонкой дверью: «Я отца не виню!»

Когда чай был допит, а пшеничные калачи съедены, участковый шумно выдохнул воздух и повернул голову к жене, которая уже присела за стол. Он несколько секунд молча глядел на нее, потом перевел взгляд на дочь, помедлив, громоздко поднялся. Идя к дверям, Анискин сказал:

— Мало что температура нормальная! Нельзя Зинаиде идти на похороны...

Он ушел в кухню, пробыл там несколько секунд, потом вернулся, держа в руках полушубок, а в горнице все стояла тишина, мать и дочь, склонив головы, все еще думали над словами отца. Затем Зинаида неслышно поднялась, усмехнувшись, пошла к своей комнате. Зашуршали, мягко прошли по крашеному полу длинные ноги в теплых сапожках, изогнулась тонкая талия, пронеслись плавно через всю комнату узкие напряженные плечи. В изгибе спины и талии сквозила подчеркнутая покорность. «Ты хочешь, папа, чтобы я сидела дома. Пожалуйста!» — говорила спина Зинаиды. Она открыла дверь, полувошла в нее, но обернулась резко и быстро. Брови девушки властно изогну-

лись, подбородок затвердел. Секунду она стояла неподвижно, потом бесшумно, как мать, скрылась. Через две-три секунды за тонкой дверью прошелестела книжная страница, раздался сдержанный вздох — и все.

— Ты этот полушубок поднадень, Игорь Валентинович, — в тишине сказал Анискин. — Замерзнешь, если пойдешь при своем пальтишке... Ты тоже одевайся, Глафира!

Когда они вышли на улицу, на крыльце колхозной конторы еще горели электрические лампочки, и в их свете красный флаг на крыше висел в воздухе прямой, как стрела, — так его натянул ветер. Бушевал буран, не было у темного мира ни земли, ни неба, но в непроглядности слышались голоса людей, вспыхивали карманные фонарики, вдоль улицы, освещая фарами снег, медленно двигался гусеничный трактор с бульдозерным ножом — он пробивал дорогу от дома Мурзиных до кладбища на невысокой горушке. За трактором двигался грузовой автомобиль, а приглядевшись к темноте, Качушин увидел, что улица запружена народом, что людская толпа, протянувшись вдоль забора, загибается по переулку, Людей было так много, что следователь удивился — откуда они? Ему раньше казалось, что в деревне наполовину меньше жителей.

В темной толпе вспыхивали спички, освещая мужские лица, раздавался приглушенный женский говор, вскрикивали детишки, неподвижно стояли старики и старухи. Выл, бесился буран, лязгал гусеницами трактор; полосы завихряющегося снега ложились на толпу, и на спинах женщин, мужчин и детей росли холмики снега, так как люди стояли спиной к ветру. По проложенной трактором дороге, двигаясь за Анискиным, Качушин и Глафира подошли к хвосту толпы, смешавшись с теми, кто пришел недавно — трактористами, комбайнерами, шоферами, — встали лицом к плетню и тоже замерли.

Потекли медленные секунды, минуты среди тьмы, скорбного молчания, свиста бурана, равномерного, непонятного Качушину покачивания толпы. Одно овчинное плечо Качушина прикасалось к спине участкового, второе — к такому же овчинному плечу незнакомца, в зубах которого дотлевала махорочная самокрутка, освещая узкие глаза, небритый подбородок. Бульдозер уходил все дальше и дальше от центра деревни, свет фар мотался в синеватой далечине переулка, сигнальный фонарь буксующей машины горел тревожным, как крик о помощи, алым светом. А толпа все покачивалась да покачивалась, небритый сосед Качушина покачивался тоже, и следователь, наконец, понял, что сосед переступает с ноги на ногу, так как долго стоять неподвижно нельзя: мороз и ветер забираются под тулуп, ноги в валенках, казалось, ощущают железную стылость земли.

Тихо, медленно, незаметно, как все, Качушин начал покачиваться, и вскоре появилось такое чувство, точно и он, и толпа, и земля под ногами плывут. Неподвижным оставался только плетень, а все остальное двигалось, куда и зачем, неизвестно. Когда же Качушин повернулся к участковому, то он увидел, что Анискин смотрит туда, куда, рокоча, уходил бульдозер, на кладбищенскую горушку. Участковый видел, как пыльные лучи сильных фар полощутся среди берез, вальсирующие смерчи взвихривают голые вершины, опадают на темные оградки. Голова участкового была закинута назад, веки болезненно прищурены, нижняя губа прикушена; все полное и большое лицо Анискина было искажено гримасой молчаливой, затаившейся боли. Твердый, горячий комок подкатил к горлу Качушина. Он вдруг почувствовал, о чем думает участковый, понял, как именно смотрит тот на кладбищенские березы, и ему непреодолимо захотелось обнять участкового за плечи, заглянуть в лицо, говоря бессвязные, утешительные слова. Холодея от жалости, Качушин думал о том, что участковому шестьдесят три, что ему осталось жить одно мгновение и что скоро вот такая же молчаливая и густая толпа будет стоять вокруг дома участкового. У Качушина остановилось дыхание и щеки помертвели, когда он подумал: «Анискин всю жизнь провел в этой деревне!»

Вскоре начался рассвет, если можно было назвать рассветом то, что происходило в деревне, прижатой к земле неистовым бураном. И все-таки на улице становилось чуточку светлее, хотя восточный край неба не алел, лучи солнца не проливались сквозь тучи, деревья не пробуждались после ночного сна, чтобы распростертыми ветвями приветствовать новый день. Просто-напросто в мире становилось немного светлее, когда где-то вставало солнце. Оно все-таки существовало за плотными тучами, за многометровой массой несущегося и воющего ветра; в дымке уже можно было рассмотреть контуры плеча соседа, хрящеватое ухо с обмороженной мочкой, большой унылый нос. Это был Михаил Колотовкин, непохожий на себя тем, что сейчас ничего смешного не было в его лице. Прошло еще несколько затяжных минут, и толпа подалась, зашептала, зашелестела: «Выносят, выносят». На крыльце дома Мурзиных раздались тяжелые, редкие, как бы считанные звуки, затихли, в паузу ворвался вой ветра и опять — звуки.

Мужчины спускали с крыльца черный в тусклом свете, а на самом деле кумачовый гроб. Он проплыл над толпой, опустился на мгновение и снова поднялся — еще выше, чем прежде. Гроб замер в воздухе, как бы ожидая, когда толпа медленно, бесшумно и осторожно отступит от плетня, чтобы влиться изгибаю-

щимся потоком во всю длину улицы. Никто не командовал людьми, ни одного голоса не раздавалось, но жители деревни выстраивались в ровную, плотную и дисциплинированную колонну.

Метель неистовствовала. Взвыв, ветер сорвал с крыши дома бумажную полосу снега, разодрав ее на отдельные струи, бросил на головы и спины людей; под крышей заныло, загрохотало, а в толпе тонко и жалобно прокричал ребенок. Потом над колонной, над гробом, над людской плотностью раздались первые такты шопеновского траурного марша. Бил барабан, пела одиноко труба, захлебывалась неизвестно откуда взявшаяся в оркестре флейта. Это играл клубный оркестр.

По глубокой, проложенной бульдозером в сугробах дороге толпа двинулась к горушке, на которой росли частые березы и всегда на одном из крестов летом сидела жестяная сова, а зимой — ворон с растрепанными перьями. Людская полоса поездом вписывалась в изгибы бульдозерной дороги, черная и плотная, лилась рекой параллельно Оби. Похоронный марш, женский плач, вой ветра, равномерный хруст снега под валенками...

Когда толпа огибала околицу деревни, участковый, склонив голову на плечо, нес передний конец гроба.

Гроб поднимался на горушку: проплыл меж крайними березами, вздыбился, потом медленно начал опускаться к холмику желтой развороченной земли. Толпа сперва лентой втекала в березы, затем, остановившись, начала сжиматься, как меха огромной гармони, пока не превратилась в широкую дугу, охватившую березы и холмик желтой земли. Оркестр громко заиграл, накатом смолк, и тогда в звуках бурана, под горушкой, раздались живые человеческие звуки.

Мерным, тяжелым шагом шли к кладбищу лесозаготовители. Одинаковые от синих комбинезонов, высокие, сильные, они поднимались гуськом, энергично и быстро, а впереди в демисезонном пальто, в теплых ботинках шагал с обнаженной головой технорук Степанов. Он поднялся на горушку, командирским жестом остановил рабочих, протолкался сквозь густую толпу и положил на гроб венок из восковых цветов.

Твердые комочки мерзлой земли застучали по крышке гроба, скрежетнула лопата, раздался приглушенный женский плач. Затем комочки застучали по дереву градом. Над Обью, над тем местом, где находилась река, высветлялся матовый кусок неба; на нем пересекались, путались стволы кладбищенских берез. На покатости горушки, свободной от людей, сидели, подняв морды к небу, собаки, брошенные хозяевами.

Когда люди по одному и группами начали расходиться, когда вершина горушки обнажилась, то стало видно, что возле свежей могилы мечутся темные крестообразные фигуры женщин. Они то нагибались, то распрямлялись, так как на земле, у могилы, лежала жена Мурзина. Женщины никак не могли поднять ее, чтобы поставить на ноги. Они метались над Мариной бесшумно, суетливо, как летучие мыши, и походило все это на немой страшный фильм. Потом на горушке раздался протяжный, тонкий крик, но ветер скомкал его, оборвав, вбил в расщелину меж соснами.

2

Положив ногу на ногу, легкомысленно посмеиваясь, Стриганов давал показания. При дневном свете лицо опохмелившегося попа казалось свежим, румяным, волосы сыто кудрявились. Следователь Качушин сидел на кончике стола, тоже посмеивался, катал в квадратных губах окурок погасшей сигареты; весь он был несерьезным, фатоватым.

— Когда же от вас ушел Саранцев? — спросил Качушин. — Хотя бы приблизительно, гражданин Стриганов.

— Ночью! — оживленно ответил поп. — Ночью, гражданин следователь, ибо свои действия и поступки не соразмеряю по времени. Сутки делю лишь на ночь, утро, день и вечер.

Стриганов коротко хохотнул, покачав добротным валенком, снисходительно прищурился. Благодушие, лень, издевка, насмешка лежали на разрумянившемся лице Стриганова, а его глаза странно походили на глаза участкового и его дочери Зинаиды — такие же большие, влажные, красивые и в этой красоте страшноватые.

— А нельзя ли поточнее, Стриганов? До полуночи, после полуночи?..

Задавая пустячные вопросы, чтобы выиграть время, Качушин чувствовал, что его охватывает холодок веселой дрожи и такое ощущение, словно он наконец выходит из глухого тупика на простор. Это такое же чувство, какое испытывает человек, когда, осваивая велосипед, он после бесконечных падений, ушибов, боли и страха вдруг обнаруживает, что едет. Ветер обдувает разгоряченное лицо, ноги ловко лежат на педалях, сужающаяся дорога пестрой лентой приникает к колесу. Восторг, крылатость полета, ощущение невесомости...

— Вы много выпили? — рассеянно спросил Качушин.

— По силе возможности, товарищ следователь! В числе прочих прегрешений лишен сана также за то, что не схожусь с отцами церкви

в вопросе о крови Христовой. Питие, как и время, не соразмеряю в количестве.

Ощущение озаренности, крылатости не проходило, и, дождавшись, когда Стриганов перестанет улыбаться, Качушин слез со стола, театрально вздохнув, растерянно пожал плечами.

— Трудно вас допрашивать, Стриганов! — огорченно сказал он. — Опытный вы человек!

Качушин подошел к попу-расстриге, наклонился, глядя ему в глаза, медленно, четко сказал:

— Сегодня утром к вам приходил Саранцев. Зачем?

По-прежнему улыбаясь, Качушин ждал ответа на вопрос, хотя не знал, приходил ли действительно Саранцев к попу-расстриге. Этот вопрос и был вызван чувством озарения, которое пришло к Качушину в ту минуту, когда он в первый раз увидел Стриганова. Откуда пришло это чувство, ответить было так же трудно, как понять, что такое вдохновение. И, ожидая реакции Стриганова, по-прежнему твердо глядя ему в глаза, Качушин видел, что попал в точку: поп побледнел.

— Отвечайте, Стриганов!

За стенами порывами, утихая с каждым часом, еще прохаживался буран, хлестала в стекла снежная крупка, в те мгновения, когда ветер слабел, казалось, что в комнату накачивают тишину, напряженную и весомую. Шуршали за печкой ожившие от тепла тараканы.

— О чем вы говорили с Саранцевым?

Качушину только недавно исполнилось двадцать пять лет, он вел первое крупное дело, но он не выдержал: удовлетворенно, торжествующе захохотал, когда Стриганов отвел глаза и перестал выпячивать свою волнистую бородку. Качушин подошел к столу, сел, уверенно стал ожидать, когда Стриганов придет в себя. Глядя на опавшую, согбенную спину попа, следователь чувствовал себя легким, свободным, как воздушный шарик.

— Отвечайте, отвечайте, Стриганов!

Качушина с ног до головы пронзало ощущение того, что сейчас каждое его слово, каждая мысль умны, необходимы, что он ведет дело самым правильным, единственно возможным путем. В состоянии, похожем на опьянение, следователь повернулся к участковому, который сидел возле окна. Он увидел затуманенные глаза Анискина, его большие руки, тяжело лежащие на коленях, необычный поворот головы, и восторг с новой силой прихлынул к горлу Качушина. Он вспомнил прошедшую ночь: шорохи за стенкой, тайный ночной уход участкового, тревожный голос его жены. Легкий, внутренне свободный, Качушин приподнялся над столом, соединяя во взгляде участкового и Стриганова, тихо, тускло, чтобы не сорваться, сказал:

— Федор Иванович, допрашивайте Стриганова. Он, наверное, вам охотнее расскажет, о чем они говорили с Саранцевым.

Восторг бушевал в груди Качушина, когда он увидел, как участковый отклонился назад, хмыкнул и снял руки с коленей. Одновременно с этим Стриганов торопливо повернулся к участковому, откровенно растерянный, посмотрел на него так, что лицо попа мгновенно опростилось: домашнее, деревенское выражение появилось на нем. Они оба — участковый и Стриганов — были растеряны.

— Садитесь на мое место, Федор Иванович!

Еще несколько секунд постояла тишина, а потом участковый засмеялся. Он в первый раз за все эти дни расхохотался при Качушине, и следователь увидел, как толстое лицо участкового покрылось забавными круглыми морщинами, а серые глаза сделались по-мальчишечьи веселыми. От хохота участковый изменился: не казался толстым и громоздким, не представлялось уже, что он похож на восточного загадочного бога. Милым, простым сделался Анискин, и, продолжая смеяться, он поднялся с табуретки, легко подошел к следователю, осторожно притронулся к его локтю.

— Игорь Валентинович, — ласково сказал участковый, — ты ошибаешься, если думаешь, что я точно знаю, кто убил Степана. Догадываться я догадываюсь, а вот в точности еще не знаю...

Участковый провел пальцами по руке Качушина и вдруг опустил теплую ладонь ему на плечо. При этом он сам приблизился, и Качушин ощутил, какой он весь добрый, мягкий, уютный, этот участковый Анискин, и какая легкая, добрая и дружеская у него рука.

— Не могу я допрашивать Стриганова! — сказал Анискин. — Он мой родной брат.

Участковый продолжал ласково, по-отцовски улыбаться, когда Качушин бросил шариковую ручку на стол, уронил голову на скрещенные руки и захохотал так неудержимо, весело и искренне, как может хохотать человек его лет. И пока Качушин хохотал, участковый стоял над ним и терпеливо ждал, когда следователь прохохочется, так как Анискин понимал, что Качушин не может вести себя по-другому. Он, Анискин, тоже бы хохотал, будь он на месте Качушина.

Участковый держал руку на плече вздрагивающего Качушина, ему было хорошо стоять рядом с молодым следователем, и он, не зная об этом, чувствовал то же самое, что и Качушин: дружбу, признательность. Дождавшись, когда Качушин умолкнет, Анискин заглянул в

его заплаканные от смеха глаза, потрепав ласково по крепкому плечу, и негромко сказал:

— Тебе, Игорь Валентинович, про то, что мы братья, никто не сказал, чтобы меня не подвести. Люди, наверное, думают, что я брата защищаю...

Теплая рука участкового лежала на плече Качушина, серые глаза смотрели по-отцовски, пахло от Анискина свежим пшеничным хлебом, снегом и тем сладким домашним запахом, который издает недавно выстиранное белье. Все это было таким знакомым, что Качушин вдруг почувствовал себя так хорошо, как в детстве, когда над кроватью наклонялся отец. Утреннее желание обнять участкового охватило следователя, хотя это чувство было невозможным, смешным в положении лейтенанта милиции.

— У нас отцы разные, — негромко продолжал участковый. — Я произошел от Ивана Севастьяныча, а Василий — от Данила Павловича. Мать у нас одна, Мария Семеновна...

Анискин медленно пошел к окну, тусклому оттого, что было залеплено снегом; остановившись, ссутулился, голову втянул. Большая, тяжелая работа лежала на плечах участкового; что-то сложное появилось в лице Анискина, когда он, несколько секунд постояв неподвижно, обернулся к центру комнаты, к попу Стриганову.

— Ты вот чего хочешь, Василий! — сказал Анискин. — Ты целишь в мученики попасть. Я о нашем разговоре остатнюю ночь думал и так понимаю, что правды за тобой нет. Так что мне с тобой обидными словами придется говорить. Ты меня за это прощай, Васька!

Мелкими, пустячными казались Качушину собственные мысли и чувства перед тем, что происходило с Анискиным. Что значили догадки и мысли о бутылке из-под рислинга, о дрогнувшем мизинце Саранцева и о попе Стриганове перед тем, о чем говорил участковый! Жизнь и смерть, вечное и тленное, преходящее и суетное — что перед этим было секундное озарение Качушина?

Только смерть Степана Мурзина, только черные кресты на низком небе кладбища, стук комочков твердой земли о крышку гроба могли быть рядом с участковым и его братом Василием. Все остальное не вмещалось в пространство меж ними, и Качушин не вмещался ни краешком своего голубого свитера, ни мыслью. Десятилетия, дни и ночи страданий и радости, рождения и смерти — все стояло меж следователем и братьями.

— Тебе не правда нужна, Василий, а ты сам себе нужен возле правды, — сказал Анискин. — Ты своей правдой не греешься, а только блестишь от нее, чтобы тебя издалека было видать.

Крупным, недосягаемым для Качушина был участковый, но и Стриганов изменился. Как фальшивая позолота, стерлось с поповского лица все то, что можно было понять и объяснить, что относилось к сегодняшнему, преходящему. Мудрым, простым был поп оттого, что вернулось к нему земное, крестьянское выражение лица. Очень походил теперь Стриганов на старшего брата.

— Вот так я теперь это понимаю, Василий! — медленно продолжал Анискин. — Ты придумал себе веру, чтобы перед собственной совестью оправдаться... Ты город ненавидишь за то, что он тебя не принял.

Анискин остановился в темном углу, склонив голову, молчал, ожидая слов Стриганова. Участковый был спокоен, но он все-таки производил впечатление человека, который понял еще не все, терзается сомнениями и, говоря утвердительное, все ждет подтверждения собеседника. Вот и на Стриганова Анискин смотрел так, словно хотел сказать: «Ну, говори, Василий, что я неправый. Мне легче станет оттого, что я ошибаюсь». Анискин словно просил Стриганова опровергать, защищаться, и поп, вздохнув, поднял голову.

— В одном ты правый, Федор, — сказал он, — что у каждого своя правда. Еще я знаю: тебе про меня иначе, чем ты думаешь, думать нельзя. Так что ты за меня не майся, а лучше послушай, что моя правда тебе кричит. Она вон, за окном, моя правда!

Стриганов поднял руку и протянул ее к окну, сквозь которое доносились все усиливающиеся звуки лесопункта, так как лесозаготовители с утра клином выходили на деревенскую околицу. Всего несколько часов нужно было техноруку Степанову для того, чтобы повалить за огородами последний старый кедр. Выли, надрываясь и хохоча, бензиновые пилы, ревели мощные тракторы, потрясая землю, валились деревья. И уже доносились до деревенских домов громкие, остерегающие голоса людей с пилами: «Бойся!» — предупреждая о том, что еще один кедр слабо покачивает вершиной, собираясь рухнуть.

— Послушай, послушай мою правду!

Участковый слушал; резкая морщина пересекала его выгнутый лоб, туго сжались губы, ресницы вздрагивали всякий раз, когда на землю глухо падало дерево. Он слушал голоса тайги до тех пор, пока очередной порыв бурана не приглушил все, что пропускали окна. Потом участковый на шаг приблизился к Стриганову, который, опустив руку, все еще стоял на ногах. Возвышенное, чистое выражение было на его лице, искренне глядели глаза, боль жила в сжатых губах. Попу-расстриге было так же больно, как и Анискину, когда падали

на землю деревья, когда пилы, вгрызаясь в дерево, жадно и слепо выли.

— Так! — сказал участковый. — Эдак!

Непонятно улыбнувшись, участковый задернул ситцевые занавески на окне. Он прошелся из угла в угол комнаты, заложил руки за спину и, обращаясь только к Качушину, сказал:

— Мы о Коломенских гривах говорим. Их в прошлом году технорук по фамилии Верютин начисто вырубил, а гривы-то деревню от ветра спасали. Ты это сам почувствовал, Игорь Валентинович, когда мы с тобой к Вершкову шли.

Потом участковый резко повернулся к попу, задрал на лоб бровь и твердо продолжил:

— Технорук Степанов не вырубил бы Коломенские гривы. Вот это тоже правда, Василий!

Буран редкими, сдержанными порывами ударял в бревенчатые стены, тот несуществующий человек, который раньше, казалось, размеренным шагом ходил по потолку, теперь то и дело останавливался, затаивал дыхание, словно набираясь сил для новых вкрадчивых шагов. Дремучее, деревенское жило в комнате, и Качушин со странным чувством легкости и освобождения вдруг подумал о том, что вот именно сейчас начинается его следовательская биография. Откуда, почему пришли такие мысли, понять он еще не мог, но, сидя против попа-расстриги, глядя на медленного участкового, Качушин ощутил под ногами холод, словно стоял на земле. Все еще не понимая, что с ним происходит, следователь чувствовал такое, точно в нем, внутри его, были сосны Коломенской гривы, кедры деревенской околицы, предзакатное солнце над Обью, тихий посвист утиных крыльев над круглыми озерами и осенние пятна остывающих берёз.

Анискин и Стриганов стояли друг против друга, тяжело молчали, и Качушин вдруг подумал: «Беспощадная драка была в тайге!» Он увидел снег, развороченный и смятый, двух человек, сцепившихся в клубок, услышал отчаянный, безнадежный вой собаки. Двое катались по земле, хрипели перехваченными глотками, тянулись к ножам и ружьям; блеснув медью, соскочило с ножа колечко, потом произошло еще что-то — и сверкнул выстрел...

— Сядьте, Стриганов! — резко сказал Качушин, вытирая со лба пот. — Садитесь и отвечайте: зачем к вам приходил Саранцев? И что вообще произошло у вас на квартире накануне убийства?

— А я ничего не скажу, — садясь, сказал Стриганов. — Вы уж всех допрашивали: Колотовкина, Бочинина, Вершкова. И никто вам ничего не сказал! А теперь и Анискину не скажут: я такую команду дал!

Стриганов снова положил ногу на ногу, выставил бородку и посмотрел на Качушина просветленно-радостно.

— Вот видишь, Игорь Валентинович, — сухо сказал участковый, — какой он есть, этот Стриганов? Видишь, как он лезет в протопопы! — Он вдруг повысил голос. — Ну, ничего, Игорь Валентинович, мы Семена Привалова допросим. Этот мужик нам все расскажет... Ты его должен помнить: на него Саранцев ссылался.

— А Привалов не считается! — крикнул поп.

3

Когда Качушин допрашивал комбайнера Семена Привалова, участковый сидел в темном углу, положив руки на живот, методично вертел пальцами. Глаза у него были закрыты, лоб наморщен, и казалось, что Анискин дремлет. А допрос шел своим чередом...

Качушин. Что сказал Саранцев перед уходом?

Привалов. Ничего не сказал. Взял недопитую бутылку и пошел. До свидания, говорит...

Качушин. Вершков ушел раньше или позже?

Привалов. Как он мог уйти раньше, когда сперва его Стриганов хотел за водкой послать, а потом, когда ушел Саранцев, взял да и выгнал?

Качушин. Почему Стриганов выгнал Вершкова?

Привалов. Выпимши все были, чего там разберешь.

Качушин. Что-то же произошло?

Привалов. А ничего не произошло! Флегонт — он такой: молчит, молчит да скажет.

Качушин. Что же он сказал?

Привалов. Чего он мог сказать? Дурость!

Качушин. Все же?

Привалов. Я не записывал. Ну примерно так говорит. Вы, говорит, попы, — дураки. Болтаете, болтаете, говорит, а толку от вас ни хрена: приезжие все равно тайгу портят, Обь изводят, бьют лосей, а вы все болтаете!

Качушин. Так, интересно! А что, из города действительно часто приезжают?

Привалов. По хорошей погоде — каждую неделю. У нас самое лосиное место. Вот они и приезжают с термосами.

Качушин. С какими термосами? И почему вы смеетесь?

Привалов. А чего мне не смеяться, я ни в чем не виноватый. Мне лоси — тьфу. Мне утку, глухаря, гуся или еще какую птицу подавай. Я на зверя не любитель, я зверя жалею.

Лосиха, — она вон плачет, если ее подранишь. Так что я только на птицу...

Качушин. Почему вы засмеялись?

Привалов. К нам один областной работник из торговой сети лосей бить приезжает. Возьмет лося, мясо, что получше, вырежет, а остатнее отдаст. Потом сидит на пеньке и чай из термоса пьет. Он человек хороший.

Качушин. Кто еще приезжает из областного центра?

Привалов. Да много... Директор большого магазина вон приезжает. Этот стреляет шибко плохо!

Качушин. Вернемся к делу... Что еще говорил Вершков?

Привалов. Он больше ничего не говорил. Тут в разговор Степша Мурзин встрял.

Качушин. Как Мурзин? Он разве тоже был у Стриганова?

Привалов. Здрасьте! С самого начала сидел. При поллитре пришел, но вот мы теперь так соображаем, что Степша водку не пил. То-то я все примечал, что он к фикусу жмется. Это он не иначе как водку в горшок выливал.

Качушин. Зачем же пришел Мурзин?

Привалов. Мы теперь так понимаем, что обманно пришел. Он выпимши никогда в тайгу не ходил, вот Колотовкин с Бочининым и подумали, что погрешить можно.

Качушин. Не понимаю!

Привалов. Чего тут не понимать! Колотовкин с Бочининым того и сгреблись из гостей, чтобы шастнуть по лося, пока Степша водку пьет. Я же говорю: он обманно пришел. Мы так теперь понимаем, что Федор Иванович тоже в это дело замешанный.

Качушин. Почему?

Привалов. Они вместе со Степшей всю комедь разыграли. Когда Степша в тайге, никто за лосем не пойдет. Степша, он такой: сквозь деревья видит!

Качушин. Так... Мурзин с кем-нибудь ссорился?

Привалов. Со всеми ссорился. Он, конечно, мужик правильный, честный, шибко за государство стоял. Опять же Степша никого не боялся. Ну, говорит, друзья хорошие, нынче вы у меня попляшете: всех браконьеров сгребу!

Качушин. А что говорил Стриганов?

Привалов. Васька весь вечер говорил. Он против городских агитирует.

Качушин. Что именно он говорил?

Привалов. А что всегда говорит... Мужики, говорит, скоро вы будете жить на голой, безводной земле. Одно место я даже наизусть помню, как он эти слова громче всех шпарит: «И не останется на земле ни зверя, ни птицы, ни рыбы, и в реках не будет воды...» Одно железо, говорит, будет на земле. Интересно говорил!

Качушин. Что ему сказал Мурзин?

Привалов. Ну, чего Степша мог сказать, когда он зарплату не от колхоза, а от государства получает? Я, говорит, тебя, Стриганов, в бараний рог сверну за то, что народ мутишь. Ну, тут Саранцев встрял. Вот тоже хороший человек: сам городской, а на нашей стороне.

Качушин. Что сказал Саранцев?

Привалов. Он, когда выпимши, его понять нельзя. Мы, конечно, смеялись, когда он говорил.

Качушин. Почему смеялись?

Привалов. Смешно! Пусть, говорит, сама мать-сыра земля разверзнется под твоими ногами, Мурзин. Доколе, говорит...

Качушин. Кто ушел раньше: Саранцев или Мурзин?

Привалов. Мурзин. Он самый первый ушел. Качался, будто пьяный...

Качушин. Не хочу вас обидеть, но почему Стриганов сказал: «Привалов не считается!»?

Привалов. Этим меня не обидишь. Я посередке стою. Они спорятся, а я ни к попу, ни к Степше Мурзину. Я сам по себе, я средний. Мне лоси и тайга — тьфу! У лося мясо твердое, жилистое. Я без него проживу, если утка и гусь. Тайга погинет. Обишка, озерья-то останутся. Я так думаю: Обь помелеет, так на ней утки больше будет. Утка Обь не любит за быстрину. На стрежи утке сидеть плохо: покоя нет ей на стрежи!

Качушин. Ну, коли вы средний, Привалов, скажите: кто мог убить Мурзина?

Привалов. Здрасьте! Степшу, во-первых, сказать, никто не убивал. Он в драке погинул.

Качушин. Почему вы так думаете?

Привалов. Тут и думать нечего. Никто из наших деревенских Степшу убить не мог. В драке — другое дело! Мы же не леспромхозовские...

Качушин. Значит, Саранцев мог убить Мурзина?

Привалов. Кто его знает, леспромхозовского... Он с Казбеком дружный был.

Качушин. Иными словами, Саранцев был из тех, на кого собака не бросилась бы? Так я должен понимать?

Привалов. Саранцев через Фленку Вершкова с Казбеком дружный был...

Качушин. Ради бога, Привалов, говорите понятно.

Привалов. Уж куда понятнее! Саранцев и Вершков вместе на охоту и на работу ходили, а Флегонтова сука Вьюшка приходится Казбеку матерью. Когда Степан в прошлом году аппендицитом больной был, Казбек жил у Вершкова.

Качушин. Значит, Вершков и Мурзин дружили?

Привалов. Еще раз: здрасьте! Они в одной роте воевали. Их вот четверо дружков: Федор Иванович, Лука Семенов, Степша Мурзин и Флегонт Вершков. Лука, конечно, в город уехал, так что их трое из одной роты осталось.

Качушин. Слушайте, Привалов, а если я вопрос поставлю так: Вершков или Саранцев? Кто из них дрался с Мурзиным?

Привалов. Саранцев.

Качушин. Почему?

Привалов. Леспромхозовский...

Качушин. Только потому, что леспромхозовский...

Привалов. Леспромхозовские — они такие...

Качушин. Какие?

Привалов. Всякие... Да чего вы меня все пытаете, товарищ следователь, когда вон Федор Иванович сидит? Он лучше меня знает, с кем Степша встрелся. Дядя Анискин, а дядя Анискин, ты не уснул ли? Ты не спишь ли, дядя Анискин?

...Открывая глаза, участковый улыбнулся и подумал о том, что тот звук, который комариным писком врывался порой в грохотанье машин, в шелест затихающей пурги, и есть голос долгожданного трактора, который, по всем приметам, проходил уже пустырем на месте Коломенских грив и раздвигал бульдозерным ножом трехметровые сугробы недалеко от деревенской околицы. Прислушиваясь, участковый выбрался из темного угла и подошел к Привалову — худенькому, маленькому мужичонке с растопыренными голубыми глазами. Да и весь он, Привалов, был раздерганный, вихляющийся, словно не было в человеке стержня, который мог бы удержать в прямизне голову, длинные руки и узкую спину. Участковый подходил к Привалову, и тот весь потянулся к Анискину. Голубые глаза Привалова глядели на участкового преданно и ласково, рот кривился от удовольствия, а тонкая шея вытянулась.

— Я же правду говорю, дядя Анискин! — радостно сказал Привалов. — Кто еще со Степшей мог в драку встрять, как не леспромхозовские? Вчера в сельповском магазине об этом разговор шел, так все говорили, что это леспромхозовский Степана угробил... А вот Леха Заремба против всех спорился.

В комнате слышались звуки лесопункта и затихающей метели, потом раздался приблизившийся гул трактора, который теперь двигался по деревенской улице. Мягко позванивали гусеницы, мотор гудел натруженно, так как машина и на улице пробивалась сквозь сугробы. Несколько минут оставалось до того, как трактор будет возле милицейского дома, и участковый остановился, не дойдя двух шагов до Привалова.

Анискин еще замедлился и теперь производил впечатление человека, которому все безразлично: он пустыми глазами смотрел на Привалова, не замечая Качушина, и думал, казалось, не о том, о чем должен бы думать человек, когда ему рассказывают, что в магазине шел большой спор. Потом Анискин встряхнул головой, словно освобождаясь от навязчивого, неприятного, подняв глаза на Привалова, тихо спросил:

— Чего же Заремба говорил?

— Чего он может говорить! — ответил Привалов. — У него жена приезжая, так он за приезжих и заступается. Это, говорит, ваши охотники Степана загробили.

Теперь и Качушин понял, что за лязг и грохот слышен с улицы. Вскочив, следователь бросился к дверям, радостный, по-мальчишески быстрый, сделался таким, словно навсегда ушел из комнаты, где за печкой шуршали тараканы, синим замороженным сиянием светили окна и где все еще жили бархатный голос попа-расстриги, отчужденное молчание Ивана Бочинина, ненависть Михаила Колотовкина. Следователь Качушин, радостно подбежавший к дверям, был опять таким, каким увидел его участковый, — выходящим из вертолета.

В сенях гремели тяжелые сапоги, раздавался басовитый голос, приглушенный женский смех; легко, отдыхающе работал на малых оборотах трактор, но по-прежнему слышался лесопункт технорука Степанова, подвывала метель. Все эти звуки сливались в веселую кутерьму, а когда дверь широко распахнулась, пропуская тракториста Григория Сторожевого, то показалось, что он возник именно из этой кутерьмы, из этих новых звуков, нарушивших оцепенение милицейской комнаты. Тракторист держал на вытянутых руках закутанную в тулуп женщину, и это тоже было веселым, необычным. Лица женщины видно не было, но из-под заиндевевшего воротника доносился ее приглушенный смех.

— Получайте мороженую женщину! — смущенно улыбаясь, сказал тракторист. — Куда тут ее положить?

Через несколько минут в милицейском кабинете кипела работа: Качушин растирал снегом маленькие ноги женщины, участковый развешивал на печке портянки и шерстяные носки, а тракторист вносил в комнату желтые футляры, пробирки и ящички. Женщина, прижимаясь спиной к печке, блаженно щурилась, а когда ее ноги сделались красными, встала, шагая зыбко, как китаянка; походила немножко по комнате, а потом исподлобья, но весело посмотрела на участкового. Две-три секунды она смотрела на него, а затем произошло неожиданное

для Качушина: капитан милиции вдруг бесшумно подошла к Анискину, приподнявшись на носки, поцеловала его в небритую щеку и прижалась головой к толстой груди участкового.

— Здравствуй, хороший толстый человек! — сказала она, заботливо заглядывая в лицо Анискину. — Ах ты хвастунишка несчастный! «У меня в деревне крупных происшествий не бывает!» Дохвастался! Тошно на тебя смотреть, хвастуна!

— Здорово и ты, мороженая женщина! — ответил участковый, целуя женщину в волосы. — Ты глянь-ка на Юлию-то, Игорь Валентинович, она ведь и волосы отморозила.

Действительно, у капитана Юлии Борисовны над маленьким детским лицом копной поднимались седые волосы, такие пышные, что казались чужими. Низкого роста — до груди участкового — Юлия Борисовна была худенькой, большеглазой женщиной. Оторвавшись от груди Анискина, она посмотрела на него длинным внимательным взглядом, нахмурив тонкие брови, осуждающе покачала головой. Потом Юлия Борисовна сделала несколько шагов в сторону, и при убийственно-правдивом зеленоватом свете окна ее лицо сделалось таким, каким было на самом деле, — лицом женщины, занятой мужской профессией. На ней был полувоенный костюм, кофта на боку приподнята — пистолет.

— Лейтенант Качушин, — негромко сказала Юлия Борисовна, — нужен ли вам еще Семен Привалов?

И тут все обратили внимание на то, что Семен Привалов по-прежнему сидит на табуретке и с улыбкой глядит на Юлию Борисовну. Он так глядел на нее, как смотрят на старого знакомого.

— Я вижу, что Привалов уже не нужен, — продолжала Юлия Борисовна. — До свидания, Семен!

Когда Привалов ушел, Юлия Борисовна подошла к печке, прислонилась к ней спиной и опять сделалась маленькой, похожей на подростка женщиной. Кошкой ластясь к кирпичам, она уютно поежилась, поправив волосы, закрывающие глаза, и сухо посмотрела на Анискина.

— Меня интересуют два человека, — сказала Юлия Борисовна, — лесозаготовитель Саранцев и охотник Вершков. Дело в том, что данные экспертизы... Федор Иванович, что с тобою?

Шагая широко и тяжело, участковый прошел к дверям, сняв с гвоздя полушубок, стал натягивать его, сопя и отдуваясь, прицыкивая пустым зубом. Натянув наконец полушубок на ссутулившиеся плечи, Анискин взял шапку, выправил ее, но на голову не надел. Он так и пошел дальше: с шапкой в руках. Он согнулся, чтобы вместиться в двери, громоздко переставил через порог валенки, еще больше ссутулившись от этого, исчез. В открытую комнату ворвался гром машин и свист ветра, пахнуло холодом и снегом. Потом дверь бесшумно закрылась, снежинки, покружившись, растаяли.

— Я так и думала! — после длинной паузы сказала Юлия Борисовна. — Я так и знала, что Федору Ивановичу, как никогда, тяжело...

Она вынула папиросу, закурила, задумчиво выпустив дым в потолок, подошла к тому окну, возле которого стоял Анискин. Юлия Борисовна долго курила молча, затем обернулась к Качушину, который опять сидел на кончике стола и поматывал ногой.

— Что здесь происходит, Игорь? — негромко спросила она. — Не нужна уже экспертиза?

— Нужна! — тоже после паузы, но почему-то громко ответил следователь. — Нужна, хотя я могу доказать, что лесозаготовитель Саранцев не убивал охотинспектора. Я рад вашему приезду, Юлия!

Они еще немного помолчали, затем на их лицах появилось особое, профессиональное выражение; они несколько раз переглянулись, и Юлия Борисовна, утвердительно качнув головой, сказала:

— Начнем с допроса Саранцева. А экспертиза такова...

4

Метель утишивалась, но холодному ветру с Васюганских болот надо было еще бороться да бороться с южным ветром, чтобы в мире наступило равновесие: тишина, мороз, солнце. А сейчас все еще было ветрено, облака висели низко, черные, клубящиеся, неслись в разные стороны, словно не знали, куда податься — к южному ветру или к северному. Потому и вагонка, в которой сидели участковый и технорук Степанов, тоже вела себя странно, непостоянно: то к югу наклонится гудящей стеной, то к северу, и все дрожит-подрагивает от неизвестности.

В вагонке матово посверкивала лаком мебель, струилось из углов ласковое пахучее тепло и негромко пел транзистор, небрежно брошенный на диван. Он лежал на боку, косо, но из пластмассовой коробки проливался мучительно-низкий, берущий Анискина за душу голос Людмилы Зыкиной. Про восемнадцать лет, про молодость, про седые волосы пела она, и когда просила-упрашивала: «...свои ладони в Волгу опусти», — в груди участкового холодел подвижный комочек.

Не шевелясь, Анискин дослушал певицу, улыбнулся кривовато и в первый раз прямо и долго посмотрел в лицо технорука. Участковый увидел квадратные, как у следователя, губы, карие спокойные глаза, и вдруг не холодно, а

тепло сделалось в груди у Анискина. Голос певицы еще звучал в его ушах, и рвались наружу слова, которым было тесно в горле, и, боясь потревожить тепло под собственным сердцем, Анискин неожиданно для себя хрипло и безнадежно сказал:

— Вот какая история, Евгений Тарасович! Очень смешная история получается, когда один человек другого понять не может. От этого, Евгений Тарасович, хоть головой в прорубь.

Но технорук Степанов все понимал. Он поднялся с низкого диванчика, пересев на стул, оказался в метре от Анискина. Степанов смотрел понимающе и просто, углубленно и терпеливо, и Анискин вдруг подумал такое, что, казалось, никогда не может прийти в голову. «Девчончишки, они всегда на отцов похожи, — подумал участковый, — так если у Зинки дочь родится, она на Степанова походить будет!» Пораженный этой мыслью, Анискин замер, ощущая духоту, натопленность вагонки, невольно для себя отодвинулся от технорука. Он еще ничего не понимал в самом себе, но уже злое, гневное волной подкатило к горлу. Видимо, лицо участкового перекосилось, так как в глазах Степанова мелькнуло удивление:

— Вам плохо?

— Нет! Ничего! — насильно улыбнувшись, солгал Анискин. — Пройдет!

На самом деле ему было плохо, очень плохо!

— Принести воды? — словно издалека, донесся голос Степанова.

— Не надо воды! — испуганно ответил участковый. — Какая вода...

Через несколько минут Анискин пришел в себя. Он неловко, смущенно улыбнулся, сам себе укоризненно покачал головой и даже легкомысленно сказал:

— Ну, просто смешная история получается! Ах, ах! Вот просто со смеху помрешь!

Но технорук Степанов шутливый тон участкового не принял. Он сидел серьезный, сдержанный, по привычке прислушиваясь к гулу машин, так как он всегда был настроен, как радиоприемник, на волну лесопункта. С ног до головы Степанов был официальным, лощеным, подтянутым, хотя трудно было понять, как, сутками находясь в тайге, он умудрялся сохранять на брюках острую складку, носить белоснежные сорочки, иметь чистые, аккуратно подпиленные ногти.

Степанов по-прежнему все понимал, и было видно, что техноруку сейчас нравится Анискин: и как сидел участковый, и как смотрел на транзистор, и как пытался скрыть растерянность, и как насильственно улыбался. Но голос технорука все-таки прозвучал официально, сухо, когда он сказал:

— Мне известна история с так называемыми Коломенскими гривами.

Протянув руку к транзистору, Степанов выключил его. Голос Людмилы Зыкиной, которая пела уже другую песню, оборвался, и в вагонке сделалось пусто.

— Верютин снят с работы! — продолжал технорук, сделав рукой короткий энергичный жест. — Верютина полагалось бы судить, но я считаю, что это несправедливо. И знаете почему? — Технорук сухо поджал губы. — Верютин — неграмотный человек. В лесной промышленности, к сожалению, есть еще недипломированные руководители. У Верютина шестиклассное образование.

Технорук немного помолчал, как бы желая убедиться, что Анискин ничего не пропустил: ни интонации, с которой было произнесено слово «недипломированные», ни улыбки, которой Степанов снабдил свои последние слова. Участковый слушал внимательно, и технорук продолжал:

— Верютин — вчерашний день, а на дворе двадцатый век на вторую половину. В сорока километрах от вашей деревни найдена нефть. Через три-четыре года все в этих краях переменится.

Только сейчас участковый заметил, что Степанов тоненько, незаметно улыбается; он опять очень походил на следователя Качушина. Больше технорук ничего не сказал, хотя участковый ждал. Степанов задумчиво поднялся, надел пальто, лежавшее рядом с транзистором, подумав еще немного, попросил:

— Идемте на эстакаду, Федор Иванович!

Технорук выбрался из вагонки, сунул руки в карманы, не оборачиваясь, пошел к эстакаде. Несмотря на полдень, было морозно, яркая окраска машин казалась тусклой, а вырубленный кедрач походил на поле боя. Сиротливо торчали в рыхлом снегу пеньки, дымились высокие костры, похожие на догорающие танки; танковый лязг гусениц висел под низкими тучами.

Степанов ходко шел от пенька к пеньку. Он держал в руках прутик, которым звонко щелкал по пням, и говорил: «Напенная гниль!» Участковый двигался за ним и на тех пнях, по которым Степанов ударял прутиком, видел желтые трухлявые провалы, похожие на мякоть изгнившего яблока. Так они прошли метров триста и остановились. Технорук обернулся, расставив ноги, стал смотреть назад. Анискин — тоже. Он увидел, что на пустыре, похожем на поле только что утихшего боя, далеко друг от друга стояли три высоких молодых кедра. Деревья антеннами врезывались в низкое небо, тучи раздерганно метались над ними, казалось, что кедры хороводно плывут. Меж деревьями было равное расстояние.

— Семенники! — негромко сказал Степанов. — Они восстановят кедрач!

Три дерева пошевеливали вершинами, словно озирались, удивленные просторностью раскинувшегося перед ними мира. Им была видна заснеженная излучина Оби, старый — анискинский — осокорь на берегу, деревня, раскинувшаяся подковой. И участковому все это было видно: дома, тесно бегущие улицей, два красных флага — на сельсовете и колхозной конторе, — маленькая площадь возле магазина.

— В области надо открыть еще сотню леспромхозов, чтобы брать только ежегодный прирост, — прежним тоном сказал Степанов. — Через пять лет этот кедрач погиб бы.

Анискин усмехнулся. Ведь и он знал, что этот кедрач лет через пять погибнет. Всего два месяца назад, в конце сентября, он шел кедрачом, ступал по мягким иголкам и с печалью думал о том, что нет уже в бору прежнего урожая орехов. Ни белки, ни бурундука не встретил Анискин, пройдя через весь лес, и вечером рассказывал Глафире об этом.

— Так! — сказал участковый. — Эдак!

Три самых сильных, молодых и здоровых кедра стояли перед глазами Анискина и не кланялись ветру, который порывами все еще набегал с южной стороны. И тому ветру, что мчался с севера, тоже не поддавались три сильных дерева.

— Ну ладно, Евгений Тарасович! — сказал Анискин. — Я тебя от дела ведь потому оторвал, что мне с тобой надо было о Верютине поговорить. Теперь я знаю, что ты о нем думаешь. А то в деревне есть человек, который считает, что он один за всю тайгу стоит...

Полуотвернувшись от Степанова, чтобы шагать дальше по своим милицейским делам, участковый, по давней своей привычке, сразу не ушел. Улыбнувшись в сторону, он сказал:

— А ведь ты правильно, товарищ Степанов, меня бурбоном обозвал. Чем я лучше Верютина, если не о завтрашнем дне думаю, а о вчерашнем? Так что ты меня извиняй, товарищ Степанов, за глупость! А теперь вот что: теперь я пошел. До свидания, Евгений Тарасович!

Участковый на самом деле пошел из лесосеки. Он по-прежнему глядел на родную деревню, так как теперь она была видна с той стороны, с которой Анискин ее никогда не видел: кедрач закрывал деревню. И вот теперь участковый смотрел на нее так, словно не узнавал. Он спотыкался о сучья и пеньки, дышал тяжело, надрывно, но так и не почувствовал, когда вышел из лесосеки. Ему просто стало легче идти, а деревня укрупнилась, и уже не ярким пятном, а длинной полоской виделся красный лозунг на школе.

Как в чужую, входил Анискин в родную деревню. Ему внове понравились молодые дома механизаторов, что шли по откосу, показались незнакомыми пять пустых и черных скворечников на доме Семенихиных, а потом привлек внимание самый крайний дом из тех, что были недавно построены. Дом тоже был механизаторский, но Анискину показалось, что он его никогда не видел. У нового дома не было еще ни ограды, ни палисадника, ни одно дерево не росло рядом, не лежал позади просторный огород. Доступный всем ветрам, обнаженный дом стоял на краю деревни; одинокое что-то было в окнах без ставен, в крыльце, которое бесстыдно выступало на прохожую часть улицы.

Этого дома Анискин никогда не видел. Как, когда вырос он? Это в родной-то деревне, где участковый знал каждого человека наизусть и мог сказать, что варят на ужин в доме под пятью скворечниками! Потом, трудно и долго раздумывая, Анискин сообразил, что в крайнем доме перед праздниками поселился Алексей Заремба с молодой женой. Ага! Заремба, тот самый...

— Так! — вслух сказал участковый. — Эдак!

Было, оказывается, и в его родной деревне такое, чего он не видел, не знал. Что это торчало над крышей дома Толоконниковых? По всем признакам — телевизионная антенна: значит, Васька Толоконников, вернувшись из армии, ладился принимать Томск, хоть и далеко до него. Анискин звучно прицыкнул зубом, опять усмехнулся. Ах, какой незнакомой казалась деревня со стороны нового пустыря!

— Интересно, интересно!

Неторопливо взгромоздившись на новое крыльцо, участковый смел снег с валенок, выпрямившись, немного постоял, чтобы разгоряченное лицо чуточку поостыло. Затем он приподнял левую бровь и, строго, по-милицейски посверкивая глазами, постучал в домовую дверь, так как сеней в доме еще не было.

— Здорово, хозяева! — приветливо сказал участковый, входя в дом и останавливаясь возле порога. — Здорово, Леха, здорово, Оксана!

Два очень молодых, смущенных человека смотрели на участкового из глубины полупустой комнаты, пахнущей смолой, дегтем, свежим деревом. Стены дома еще не были оштукатурены, пол не крашен, не стояла еще тесовая перегородка, которой полагалось делить пополам большую комнату. Была выгорожена только кухня, из которой, отодвинув в сторону занавески, глядела на участкового девочка лет трех, белокурая, испуганная, видимо, ростом и толщиной Анискина.

— Здорово! — сказал и ей участковый. — Ты бы на меня не таращилась, а сказала: «Здорово!»

— Здорово! — еле слышно ответила девочка.

Приглашенный «быть как дома», участковый снял полушубок, повесил его на слабенький гвоздь, осматриваясь, неторопливо прошел к столу. В доме не было ничего, кроме двух стульев, двух кроватей — обычной и детской — и баяна, который стоял на подоконнике. Все это участковый зорко оглядел, хмыкнул несколько раз, а затем поднял руку и поманил к себе хозяина дома.

— Я тебя слушаю, дядя Анискин!

Заремба был типичный деревенский гармонист: лихой кудрявый чуб сваливался на дерзкие глаза, пестрая рубаха обтягивала плечи, а ноги он ставил так ловко, словно собирался пуститься в пляс. Руки у него были длинные, подвижные, тоже готовые взлететь.

— Вот я, дядя Анискин! — сказал он. — Стою, как лист перед травой.

— Конечно, будешь стоять! — строго ответил Анискин. — Тут каждый будет стоять, ежели в доме всего два стула.

Участковый засмеялся, и засмеялись все, даже девочка. Громко топая голыми ножонками, она прошла по белому полу, ткнулась матери в подол. Она на секунду спрятала лицо в материнской юбке, а потом на Анискина уставила такой, как у Зарембы, курносый нос и один любопытный глаз.

Оксана Заремба была маленькой, тихой, незаметной женщиной. Свисали до пояса черные косы, по белому переднику шагали красные петухи; вся мягкость далекой теплой родины лежала на ее славном, добром черноокoм лице. Вот точно такой же была когда-то жена Анискина, в ее сундуке до сих пор нафталинился такой же украинский петушиный фартук, черные косы когда-то мели по полу. «Свои ладони в Волгу опусти...» — вспомнил участковый, и нежная волна пошевелилась под сердцем.

Так вот, значит, куда ушел от старой матери Алексей Заремба. Сменял огромный пятистенный дом, до отказа набитый вещами, на пустые стены, на одиночество деревенской околицы; ни сундука, ни пузатого шкафа не было в этом доме, молодо пахнущем стружкой и сосновой смолой. Из всех вещей, значит, унес только перламутровый баян да гору пузатых подушек, что одна на одну громоздились на супружеской кровати.

Анискин повозился на табурете, еще раз посмотрел на весело стоящего перед ним Зарембу и вдруг почувствовал себя так хорошо, как давно не чувствовал. Ну, все нравилось ему: сам Заремба, его жена, трехлетняя девочка. Свободные они были какие-то, такие же просторные, как их пустой дом. Понимая и не понимая себя, Анискин разулыбался, расцвел и совершенно неожиданно просто спросил:

— Леха, а Леха, почему ты думаешь, что Степана загробили деревенские?

Вопрос был неожиданный, необычный, но комбайнер не удивился. Он спокойно выслушал Анискина, кивнул головой, но прежде чем ответить, повернулся к Оксане, словно не участковый задавал вопрос, а жена. Они переглянулись.

— Про это не меня надо спрашивать, а вот ее! — недовольно ответил Заремба. — Она лучше меня скажет.

— А чего я буду говорить! — подумав, сказала Оксана. — До меня не касается, кто там кого убив.

Женщина говорила неохотно, руки скованно держала под фартуком, смотрела в пол, и по всему этому участковый понял, что Оксана не отвечала ему, а продолжала прежний разговор. Нежная кожа Оксаны порозовела, руки под фартуком двигались нервно, беспокойно. Видимо, до прихода Анискина муж и жена разговаривали о смерти Степана. Поэтому Заремба и не удивился, когда участковый спросил его об этом.

Супруги молчали, отчужденно переглядываясь. Девочка выбралась из-за спины матери, тихонько села в уголок, напевая протяжное, стала перебирать яркие кубики. Значит, и она по тону отца и матери поняла, что родителям теперь не до нее.

— Ты не молчи! — угрюмо сказал жене Заремба. — Человек же ждет. Как со мной спориться, так ты можешь, а как дяде Анискину, так в кусты.

— Та я и не спорилась. Я правду говорила, что Маринина мужа прибив ктой-тось из деревенских. Ты и сам, Леша, к тому прийдешь, что я правая.

Маленькая, кругленькая, славная была жена комбайнера, и голос у нее был протяжный, музыкальный.

— Та я и не спорилась! — повторила Оксана. — Я только говорю, что которы приезжи, так стоят за леспромхозских, которы местные — так за деревенских. Так и я приезжая...

Голос женщины успокаивал не только окружающих, но и саму Оксану. Ее руки под передником перестали волноваться, грудь дышала ровно, а на лице было такое выражение, которое тоже успокаивало: «И чего волноваться: я же правду говорю!» Настроение женщины, ее умиротворенность передавались Анискину, девочке, которая мирно и весело играла кубиками, и только сам Заремба не мог успокоиться.

— Чего плохого тебе сделали деревенские? — вызывающе спросил он. — Пять лет в деревне живешь, а все: «Приезжая, приезжая!»

Но Оксана и тут не стала спорить с мужем. Она улыбнулась сама себе, вздохнула протяж-

но, на щеках появились уютные, милые ямочки. А Заремба стоял угрюмый, неприступный.

— И чего он сердится! — пожав круглыми плечами, добродушно сказала Оксана. — Еще годков пять пройдет, так усе забудут, что я приезжая...

Участковый сидел неподвижно, прислушиваясь, так как он понял наконец, отчего ему показалось, что в доме сделалось выше, светлее, просторнее: за окнами утишился ветер. Он только легонько прохаживался по оттаивающим стеклам; в шелесте ветра уже чувствовались высокие звезды ясного вечера, безмолвная ночь, скованная холодом, скрипы колодезных журавлей, которые в морозные дни проносятся от одного конца деревни до другого.

— Метелишша-то перестала! — сказал участковый. — Вот ведь какие дела, Оксана ты свет Лукинична, на весь деревенский народ сердитая!

— Я не сердитая, — мягко ответила Оксана. — Я как у колхоз вступила, так мне усе помогали. Мне колхоз вот эту хату построил, теленка выделил, коров дою не хуже, чем другие.

Эта женщина всегда говорила правду и только правду: не мог лукавить человек, который на Анискина смотрел точно такими же глазами, как ее трехлетняя дочь на цветные кубики.

— Так что я всем довольная. А что меня народ у душу к себе не допускает, так я и есть приезжая...

Когда Оксана спокойно замолчала, Заремба сердито сбросил со лба чуб, удивленно всплеснул руками.

— Во, дядя Анискин! — воскликнул он. — Придумала про каку-то душу, и хоть кол на голове теши! В доме только и слыхать: «Душа да душа!» И седни про эту душу трастили и намедни...

Последние слова Заремба произнес в несколько раз тише, чем первые, руку опустил медленно, так как участковый с непонятной улыбкой прислушивался к Зарембе. Анискину было интересно, как звучат в устах Алексея Зарембы слова «седни» и «намедни». С участковым опять творилось странное: знакомые, родные слова звучали незнакомо, словно их до этого долго-долго повторяли. Они так же потеряли точный смысл, как теряли их любые слова при частом произношении.

— Так ты продолжай про душу-то, Ксюша! — попросил участковый. — Ты Лешку не слушай, он баламутит.

Женщина согласно кивнула.

— Как я за Лешу замуж вышла, — сказала она, — так мне легче стало. А раньше я совсем была одинокая. Вот приду в сепараторную, где доярки сидят, так сразу тихо. Ну, сразу усе разговоры заканчиваются! А Лешина мама на меня косится...

Все это было правдой. Анискин видел сепараторную, где перед дойкой собираются доярки, мать Алексея Зарембы — высокую, костистую Наталью. В сепараторной на самом деле шевелилась в углах враждебная тишина, висело под потолком туго спрессованное молчание, все еще тлели обидные, несправедливые слова: «Ходят тут разные!» Мать Алексея бродила по большому дому тяжелой, мужской походкой, не было на ее костистой фигуре местечка, к которому можно было бы притулиться с лаской и надеждой...

— Так! — вполголоса сказал Анискин. — Эдак!

За окнами было по-настоящему тихо. Буран сходил на нет так же быстро, как и начался, стекла просветливались, открывая заснеженную улицу и кусок речного яра с голубыми сугробами. Того и гляди, могло выглянуть солнце, пасть на деревню лучами, чтобы увиделось, что натворил буран.

— Ну, беда с вами, ребята! — смеясь, сказал участковый. — Просто беда мне с вами — вот что я вам скажу!

Анискин начал подниматься со стула: уперся руками о стол, вздымая тяжелое тело, закряхтел, а когда поднялся, то был уже обычным Анискиным. Косолапо ступая толстыми ногами, он подошел к девочке, нагнувшись, пощекотал ее шею возле затылка и, когда она засмеялась, почему-то начальственно сдвинул брови. Ни на кого больше не обращая внимания, так, словно в доме он был один, участковый снял с хлипкого гвоздика тяжелый полушубок, напялил его, застегнулся на все пуговицы и остановился в раздумье — сейчас надевать шапку или на улице. Шапку участковый надел в доме, но, взявшись за дверную ручку, помедлил выходить. Несколько секунд он стоял неподвижно, потом сказал:

— Оксана-то правая! Деревенские погробили Степшу Мурзина.

5

В четвертом часу дня из-за синюшного рваного края туч выдвинулось большое, алое, как раскаленный пятак, солнце. Оно щедро осветило нежданное — маленькую, уютную, славную деревеньку. Как на картине доброго, веселого художника, стояли полузаметенные снегом дома, белоснежными веревками висели вдоль улицы провода, оперные деревья склоняли ветви под ажурным снегом; все, что видел глаз, было окутано чистоплотной и заботливой рукой снега. Ни одной щелочки не оставил он морозу.

Прямые дымы поднимались из печных труб, голубели оконные стекла, глубокие тени прихотливо расчерчивали снег. Ласковой, тихой, приветливой была анискинская деревня в лучах пробивавшегося сквозь тучи солнца, и, поднимаясь на крыльцо своего дома вместе со следователем и Юлией Борисовной, участковый вдруг подумал, что, может быть, все обойдется, все будет хорошо, хотя знал, что никто не может ему помочь. И все-таки, ощущая, как его пронизывает чистый и ласковый свет молодого снега, как на щеке лежит отблеск солнца, Анискин чувствовал облегчение и даже весело улыбался, наблюдая за тем, как Юлия Борисовна первой входила в горницу, а навстречу ей из-за уже накрытого стола поднималась его жена Глафира.

Жена участкового и Юлия Борисовна обнялись, прижались друг к другу, так как не виделись, пожалуй, год. Потом они трижды поцеловались и стали вместе ожидать, когда к ним приблизится дочь участкового. Она тоже поцеловала Юлию Борисовну, обняв ее, и все трое стояли посреди горницы со слезами на глазах.

Капитан милиции Юлия Борисовна когда-то целых четыре года жила на квартире у Анискина, ее в его доме считали родным человеком, и Глафира со вчерашнего вечера готовилась к встрече гостьи. На белоснежной скатерти стояли большая фарфоровая миска со стерляжьей ухой, красивые глубокие тарелки для нее, поблескивал никелем прибор — перечница, солонка и горчичница; скатерть была туго накрахмалена, накрахмаленные салфетки лежали возле каждого прибора.

Юлия Борисовна, жена и дочь участкового все еще стояли обнявшись, Качушин все еще неловко топтался возле дверей, а участковый уже медленно шел к столу. Оглядев скатерть и посуду, темные бутылки с затейливыми этикетками, он высоко, как бы удивленно поднял плечи. Потом Анискин отвернулся от стола и стал смотреть на жену и дочь.

Участковый смотрел на них точно так, как смотрел на стол. Ему казалось, что он впервые видит черное платье на Глафире, пушистую вязаную кофточку — на дочери. Анискин сам покупал в Томске материал на черное платье, шила его деревенская портниха. Глафира несколько раз надевала его в гости, но сейчас платье незнакомо лежало на покатых плечах жены, коротко открывало ее сухие ноги в блестящих чулках, а на груди у Глафиры — вот уж этого он никогда не видел! — поблескивала брошка. Совершенно незнакомой была кофточка на Зинаиде.

— Руки мыть, товарищи мужчины, — послышалось за спиной участкового. — Юлия, веди Игоря Валентиновича в кухню.

Голос принадлежал Глафире, но был чужим. И эти слова «товарищи мужчины», и интонация, с которой они были произнесены, и выражение глаз жены были так же незнакомы, чужды, как брошка на ее груди. Потом Анискин услышал, как скрипят туфли, — это прошла по комнате жена. Участковый хмыкнул, так как он только сейчас заметил, что Глафира в туфлях на высоком каблуке. Так вот почему ее ноги казались длинными, блестящими, незнакомыми...

Дождавшись, когда все уйдут в кухню, Анискин осторожно взял со стола приборчик с перечницей, солонкой и горчичницей. Он так и эдак повертел его в пальцах, покачав головой, прищурился. Когда появился в его доме судок? И когда, черт возьми, перестала его жена по-деревенски носить в левой руке чистый носовой платок? А туфли? Когда она надела в первый раз туфли на высоком каблуке, если ходила в них, не спотыкаясь?

Три женщины во главе с повеселевшим Качушиным возвращались из кухни: высокая от каблуков Глафира, пугающе нарядная и красивая дочь, строгая в своем полувоенном наряде Юлия Борисовна.

— К столу, к столу! — чужими словами и чужим голосом пригласила Глафира. — Юлия сядет рядом со мной, а остальные, как хотите.

Дочь села против участкового, и он увидел за столом чужого человека — она так держала руки, так смотрела, так двигалась. Рядом с ней сидел Качушин — тоже чужой, непонятный, не такой, каким был в милицейском кабинете. Наблюдая за обедающими, участковый машинально ел уху, не чувствуя ни запаха, ни вкуса, опрокидывал в рот ложку за ложкой горячую жидкость, и ему казалось, что он почему-то видит себя со стороны: свои стеганые брюки, расстегнутую на груди рубашку.

Анискин понимал, что за столом что-то происходило, хотя он не слышал голосов обедающих точно так, как не ощущал вкуса ухи. Однако он заметил, что Качушин сидит с нарочито грустным лицом, что вокруг него водоворотом клубится веселье, оживление, что, видимо, идет какой-то очень интересный разговор. Заставив себя сосредоточиться, участковый убедился, что это так и есть. Качушин наигранно вздохнул, жалостливо посмотрел на Юлию Борисовну и пожал плечами.

— А главное: нет таланта! — печально сказал он. — Ваша Джульетта Мазина абсолютно лишена таланта. Я уж не говорю о том, что она и актрисой-то стала потому, что муж — режиссер... Но Феллини, Феллини, где были его глаза!

Качушин опасливо покосился на Юлию Борисовну, заговорщически подмигнул Зинаиде, а на Глафиру посмотрел так, словно просил у

нее защиты, и не зря, конечно, так как Юлия Борисовна вдруг схватила следователя за ухо, потянула и зловещим шепотом спросила:

— Больно?

— Больно! Ой, больно!

Эх, как весело было за столом! Наплывал на щеки Зинаиды свежий румянец, ярко блестели серые глаза, подрагивали от смеха нежные губы. Вот, значит, какой была его, анискинская дочь. Она знала, кто такие Мазина и Феллини, умела держать вилку в левой руке, а на молодого, красивого, оказывается, следователя Качушина смотрела так просто, как не мог смотреть Анискин на собственную дочь. И откуда все-таки в доме накрахмаленные салфетки, красивые тарелки, вон та тумбочка под радиоприемником «Днепр»? Ну, хорошо, радиоприемник он покупал сам, а тумбочка полированного дерева?

— Вы меня извиняйте, — неожиданно для себя сказал участковый, — извиняйте меня...

Скомкав салфетку, Анискин бросил ее на стол, резко поднявшись, выпрямился во весь рост. Он опять увидел себя как бы со стороны: расстегнутую на волосатой груди смятую рубаху, свои по-рачьи выкаченные глаза, услышал тот протяжный, прицыкивающий звук, какой издавал его пустой зуб. Всего себя, нелепого, как слон в гостиной, ощутил участковый.

— Вы извиняйте, извиняйте меня!

Войдя в комнату дочери, участковый сел на стул, положил руки на колени и медленно огляделся. Узкая кровать, застеленная одеялом тигрового цвета, журнал на одеяле, столик, заваленный книгами и тетрадями, полки с книгами и потешными игрушками, шкаф с платьями дочери и небольшая картинка, что висела над кроватью. Участковый и раньше знал, что над кроватью дочери есть яркое, цветное пятно, но что это, не знал. Теперь он разглядел картинку. Среди красного неба, желтых и синих камней, недалеко от бревенчатой избушки сидела на красном камне женщина. В жизни никогда не бывало такого красного неба, красных камней, зеленой воды. Он нагнулся к картине, прочел: «Рерих. Ждущая».

«Я тоже виноватый в том, что Степшу убили», — вдруг подумал участковый. Он замер в прохладноватом воздухе комнаты дочери. Смотрела на него «Ждущая» с картины Рериха, смирно и тихо лежала за окном деревня, было слышно, как бьется сердце в собственной груди. Потом заскрипели половицы, приглушенно хлопнула дверь, и, не оборачиваясь, он понял, что в комнату вошла Юлия Борисовна. Она боком прислонилась к его спине и долго стояла молча. Затем рука Юлии Борисовны обняла участкового за плечо, и он почувствовал слабый запах духов.

— Ну, ну, хороший толстый человек! — сказала Юлия Борисовна. — Ты на Зину посмотри... Я ее всего четыре месяца не видела, а ведь это совсем другой человек! От меня она уезжала девчонкой, а сейчас...

Не глядя на Юлию Борисовну, Анискин снял ее руку со своего плеча, пожал легонечко теплые пальцы и остался сидеть в той же позе, думая о том, какой действительно была его дочь четыре месяца назад, когда из районного города Пашево, где она училась в девятом и десятом классах и жила на квартире у Юлии Борисовны, они провожали ее на экзамены...

— Девчонка становится современной! — весело сказала за спиной Анискина Юлия Борисовна. — Ты заметил, как на нее поглядывал наш лейтенант?.. А на пароход входила этакая робкая провинциалочка.

Участковый не отвечал: он глядел на книгу, что небрежно валялась на столе и называлась: «В. Вересаев. Записки врача».

6

В милицейской комнате все было так, как раньше, но возле печки, грея об нее спину, стояла маленькая женщина в полувоенном наряде, близоруко прищуривалась и беспощадно разглядывала Саранцева. Все в ней было профессиональным, законченным, и хотя женщина помалкивала, держалась скромно, Саранцев сразу понял, что она самая главная здесь.

На этот раз допрос был форменный: Качушин писал протокол, спрашивал имя и возраст, социальное положение, отношение к воинской службе. Быстро записав все это, следователь откинулся на спинку стула, посмотрел, хорошо ли висящая лампочка освещает лицо Саранцева, помедлил немножко и спросил обыденным тоном:

— Объясните, пожалуйста, гражданин Саранцев: как бутылка с отпечатками ваших пальцев оказалась на месте преступления?

Это был именно тот вопрос, которого Саранцев ждал и боялся. Все в комнате сразу поняли это, так как Саранцев побледнел.

— Этого я объяснить не могу, — ответил Саранцев. — Я предполагал, что одна их моих бутылок оказалась на месте преступления... именно поэтому я после похорон заходил к Стриганову. Пустых бутылок из-под рислинга не было.

Юлия Борисовна повертывала к печке левый бок. Она прижалась к теплым кирпичам, сыто пожмурилась и незаметно кивнула головой Качушину. Следователь встал, присел на кончик стола и начал профессионально молчать. Он покачивал ногой, думал будто бы о постороннем, но лицо у него было укоризнен-

ное: «Ну, что же вы, Саранцев, не можете ответить на такой простой вопрос? Ах, Саранцев, Саранцев, не ожидали мы от вас такого!»

В молчании прошла минута, а когда она кончилась, то все, включая Саранцева, поняли, что это была самая важная минута следствия. Юлия Борисовна теперь прислонилась к печке спиной, театрально зевнув, прикрыла губы ладошкой. Качушин вернулся на место, щелкнул шариковой ручкой и нагнулся над протоколом.

— Защищайтесь же, Саранцев, — посоветовала Юлия Борисовна.

Но Саранцев производил впечатление человека, который не способен защищаться. Безразлично, вяло сидел он на табуретке, завороженно глядел на пустую бутылку из-под рислинга, на горлышке которой блестел электрический отсвет.

— Так что же, Саранцев! Будете защищаться или нет? Отвечайте же!

Юлия Борисовна дважды повторила последние слова, но Саранцев ее не услышал. Тогда Юлия Борисовна и Качушин переглянулись быстро, значительно, решающе. Затем Юлия Борисовна неохотно оторвала спину от печки, лениво прошлась по комнате и остановилась против Саранцева:

— Посмотрите на этого пижона! Он не хочет защищаться!

Продолжая насмешливо улыбаться, Юлия Борисовна села напротив Саранцева и закинула ногу на ногу, обнажив худую, угловатую коленку.

Она обернулась к Качушину, кивком головы пригласила его подойти к ней и, когда следователь приблизился, сказала:

— Начнем, пожалуй, как говаривали в старину...

Следователь и Юлия Борисовна еще раз переглянулись, и участковый, сидящий в темном углу, переменил положение. Он выпрямился, сложив руки на животе, стал глядеть на троих тихими, задумчивыми глазами. «Вот какие дела!» — неопределенно подумал он. Ему было интересно, как Юлия Борисовна и Качушин поведут себя дальше, чтобы убедиться в том, что Саранцев не дрался с Мурзиным и не стрелял в него. Словно издалека, он стал слушать, как Юлия Борисовна и Качушин, заранее договорившись, вдвоем взялись за Саранцева...

— Итак, в семь часов вечера у Стриганова собрались несколько человек, — начал Качушин. — Колотовкин, Бочинин, Вершков, Привалов, Саранцев и некий Филиппов, который неинтересен: он с самого начала был безнадежно пьян. Люди, казалось бы, собрались на дружескую пирушку, но любопытны два факта: охотники Колотовкин, Бочинин и Вершков почти не пьют, чего-то выжидают — это раз; и среди присутствующих обсуждается вопрос об охотинспекторе Мурзине — это два... Ответьте, пожалуйста, Саранцев: что говорили о Мурзине?

Следователь легкомысленно, по-мальчишески сидел на кончике стола, спутанные волосы образовали на лбу вихорок, но участковый видел такого Качушина, какого не видел за все эти три дня: он вроде бы и постарше стал, и залегла у губ глубокая складка, и глаза построжали, потемнели. Совсем здорово походил сейчас Качушин на технорука Степанова.

— Так что говорили об охотинспекторе?

— Обсуждали вопрос, пойдет он в тайгу или нет, — ответил Саранцев. — Утром Мурзин купил в магазине бутылку водки, а это, по местным приметам, как раз такой случай, когда он собирается идти в баню...

На последних словах лесозаготовитель грустно улыбнулся, покривил губы, но он уже был не тем Юрием Саранцевым, который знал слово «мальтузианство» и сидел перед следователем, как равный перед равным. Опустив лысеющую голову, лесозаготовитель сейчас безнадежно уставился в пол, плечи у него были узкие, немужские.

— Поехали дальше! — сказал Качушин. — Из того факта, что охотники продолжали сомневаться, можно сделать вывод, что их еще что-то удерживало в деревне. Скажите, Саранцев, что их удерживало?

Участковый закрыл глаза: ему мешал яркий свет. Уж он-то, Анискин, знал, что удерживало охотников, и понимал, отчего Саранцев поглядывает в его сторону.

— Говорили об участковом уполномоченном Анискине, — наконец ответил Саранцев. — Высказывалось предположение, что пойдет в тайгу он.

Анискин открыл глаза и как бы вновь увидел, что Юрий Саранцев сидит в жарко натопленной комнате, страдает от жары и безнадежности, от беспросветности того, что называется его жизнью. У Саранцева нет сил сопротивляться, и не может быть их, так как в темном углу милицейской комнаты находится он, деревенский участковый уполномоченный, который еще два дня назад считал Саранцева виновным только потому, что Саранцев «леспромхозовский» и сидел в тюрьме.

Отключенный начисто от всего того, что происходило в комнате, переполненной тоской, участковый вдруг поймал себя на том, что он не только открыл глаза и смотрит на Саранцева, но и выходит из угла. Анискин обнаружил, что он уже стоит в трех шагах от лесозаготовителя и улыбается неприятной, скованной улыбкой. И точно так, как это было за обедом, Анискин видел со стороны всего себя.

Участковый видел толстого, растерянного,

глупо улыбающегося человека, стоящего посередь комнаты с виновато опущенными плечами и всклокоченной головой. Это был он, Анискин, человек, который выгнал из своего дома технорука Степанова, который никогда не видел, как выглядит его родная деревня со стороны кедрача, и не помнил, с какого года в его собственном доме завелись крахмальные салфетки.

Анискин стоял неподвижно, опустив голову, и вчуже наблюдал за тем, как Юлия Борисовна предупреждающе машет ему рукой, а Качушин прикладывает ладонь ко рту. Он, конечно, понял их, но на знаки внимания не обратил и глухо сказал:

— Мы хотели вместе со Степшей пойти в тайгу, и он пошел, а я вот нет: у меня Зинаида заболела!

— Спасибо, Федор Иванович! — вежливо поблагодарил его Качушин. — Итак, мы знаем, что поимка браконьеров была подготовлена заранее, но для верности охотинспектор Мурзин сам появляется в доме бывшего попа Стриганова. Он делает вид, что пьет водку, а на самом деле выливает ее в подцветочник... Сначала идет мирная беседа, потом возникает ссора, суть которой такова: никто не имеет права мешать охотникам отстреливать лосей. Это утверждает бывший поп Стриганов, а за ним и все остальные, кроме, разумеется, Мурзина... Скажите, пожалуйста, Саранцев: с кем из присутствующих охотинспектор ссорился особенно активно?

— С Вершковым, — после паузы ответил Саранцев. — Я это объясняю тем, что Флегонт Васильевич считается лучшим охотником в деревне. Мурзин сказал ему: «На твоей совести, Вершков, не один десяток зверя!»

— Понятно!

Спустившись со стола, Качушин сел на следовательское место и решительным жестом придвинул к себе кипу белой бумаги. На верхнем листе он размашистым почерком написал несколько строк, поставил твердую точку и официальным тоном сказал:

— Пожалуйста, Юлия Борисовна!

Дождавшись, когда Качушин запишет первоначальные показания Саранцева, Юлия Борисовна поднялась, сунув руки в карманы своего полувоенного наряда, по-хозяйски прошлась вдоль милицейской комнаты. Она была так неторопліва и задумчива, как бывают следователи в тот момент, когда допрос приближается к самому важному, решающему моменту. Опытные следователи в это мгновение становятся непроницаемыми, настороженность тщательно скрывают, а голосу придают равнодушие. Вот и Юлия Борисовна неторопливо прошлась, скрестила руки на груди и сдержанно сказала:

— Вы, Саранцев, думаете, что найдена только бутылка с отпечатками ваших пальцев, но ведь это не все. Найдена и гильза от вашего ружья. На ней тоже есть отпечатки ваших пальцев, причем такие, какие можно оставить, вынимая гильзу из патронника.

Качушин, Анискин, сама Юлия Борисовна, не отрываясь, не дыша, смотрели на лесозаготовителя, а он медленно-медленно, словно в густой жидкости, оседал на табуретке. Сделалось большим, мгновенно опухло его бледное лицо, упали руки, сквозь стиснутые зубы прорвался тонкий стон.

— Все! — прохрипел Саранцев. — Теперь все!

Прошла еще секунда, и в жестокой тишине опять послышались мягкие, протяжные шаги Юлии Борисовны, которая двигалась к Качушину, и они смотрели друг на друга так, что Саранцев не мог видеть их лиц — Юлия Борисовна прикрыла его от следователя спиной. Они переглянулись длинно, значительно, и на лице более молодого, чем капитан милиции, следователя можно было прочесть: «Я же говорил вам, что Саранцев невиновен!» Но Юлия Борисовна все-таки дошла до Качушина, затем резко обернулась назад и энергично произнесла:

— Нам также известно о том, что вы не убивали Мурзина, гражданин Саранцев! Мурзин убит зарядом самодельной крупной дроби, а вы использовали заводской патрон.

Маленькими шажками, почему-то осторожно, Юлия Борисовна вернулась к печке, приложила к кирпичам ладони и сделала плечами такое движение, словно хотела сказать: «Нет, все-таки самое лучшее место в этой комнате — печка!» И вот так, держа руки поднятыми, грея ладони, она со вздохом сказала:

— Рассказывайте, рассказывайте, Саранцев: как это вы оказались на месте преступления? Нельзя, знаете ли, валять дурака!

Несколько минут Юлия Борисовна, Качушин и участковый были заняты тем, что старались не глядеть на Саранцева. И на самом деле трудно было смотреть на то, как здоровый, сильный сорокалетний мужчина тоненько, счастливо смеется, как он загораживает руками от света свое мгновенно покрасневшее лицо и как дрожат эти руки. Когда же Саранцев наконец справился с собой, в милицейской комнате опять было тепло, тихо, спокойно. Казалось, что электрическая лампочка светит мягче, чем раньше, в воздухе носилась свежесть. Не была узкой, немужской спина Саранцева.

— Все эти дни я ждал ареста! — полушепотом сказал лесозаготовитель. — Произошло столько совпадений, что...

Он не договорил, но и без того было ясно, что́ пережил за эти дни Юрий Саранцев. И, наверное, поэтому следователь Качушин заговорил сам.

— Поехали дальше! — небрежно предложил он. — После ссоры с охотниками Мурзин ушел домой. Теперь ни у кого не было сомнений, и охотники решили: путь свободен! Что было дальше?

Но Саранцеву еще минут пять понадобилось на то, чтобы окончательно прийти в себя. Он вынул из кармана пачку недорогих папирос, ломая спички о коробку, закурил и несколько жадных затяжек сделал в молчании. Руки у него по-прежнему дрожали.

— Дальше события развивались так, — наконец заговорил Саранцев. — Едва только Мурзин ушел, охотники засобирались в тайгу, чтобы незаметно пронести в деревню дневную добычу. Одного лося убили Колотовкин и Бочинин, второго — Вершков...

В углу, где сидел участковый, раздался протяжный цокающий звук: это Анискин прицыкнул пустым зубом.

— Ах, ах! — пораженно воскликнул он. — Вот чего я не знал, так это про второго лося. Мы-то со Степшей думали, что завален только один лось, который Колотовкина и Бочинина. — Участковый торопливо выбрался на середину комнаты и взмахнул руками. — А ведь я-то думал, что Флегонт на помощь Колотовкину и Бочинину пошел. Думал, они врут, что вдвоем ходили! Вот до чего тайный человек этот Вершков, что даже мы со Степшей его лося не нашли!

Участковый еще раз взмахнул руками, неловко попятился и шумно опустился на прежнее место — удивленный, раздосадованный. Собираясь слушать дальше, он притих, но долго еще приглушенно поцыкивал, безутешно качал головой и туда-сюда вертел пальцами сцепленных рук. А Саранцев продолжал рассказывать:

— Минут через двадцать после ухода охотников пошел домой и я. Вагонки лесопункта той ночью находились на полпути меж деревней и местом происшествия... Не скрою, я был весьма пьян, в восемь часов начиналась моя смена, и бутылку с остатками рислинга я захватил с собой. — Саранцев вспоминающе помолчал. — Была лунная, светлая ночь, и в полукилометре от вагонов вдруг появился человек. Он быстро шел на лыжах в лес. Я сразу же узнал в нем Мурзина... Не знаю, как я поступил бы сейчас, когда трезв, но тогда я, не колеблясь, решил предупредить охотников.

Саранцев остановился, так как Качушин недовольно поморщился: он не успевал записывать. Поэтому Саранцев немного выждал, затянулся папиросой и продолжил:

— Сначала я пошел за Мурзиным, потом свернул в сторону, чтобы случайно не попасться ему на глаза. Через три-четыре километра я остановился и выстрелил в воздух — этого было достаточно, чтобы предостеречь об опасности. Потом я допил рислинг и выбросил бутылку... Все это произошло на том же месте, где потом...

Саранцев прикурил свежую папиросу от сгоревшей, не зная, куда бросить окурок, смял его в пальцах, но ожога не почувствовал.

— Когда я утром узнал о смерти Мурзина и о найденной бутылке, — сказал Саранцев, — я еще надеялся, что это другая бутылка. Потому я и побежал к Стриганову. Две других бутылки стояли на столе...

Юрий Саранцев смял пальцами вторую, горящую папиросу. В комнате снова стало тихо, и все молчали долго. Потом Юлия Борисовна сказала:

— А вы все-таки пижон, Саранцев! Срок вы получили заслуженно... Так какого черта вы не верите людям? — Она разъяренно вздернула верхнюю губу. — Почему вы считаете, что принцип презумпции невиновности не относится к следователю Качушину? Кто вам дал право думать о нем как о преступнике? Или вы не считаете преступлением арест невинного человека!

Сердито отойдя от печки, Юлия Борисовна через плечо следователя заглянула в протокол допроса, перечитав последнюю страницу, сказала зло, медленно:

— Возьмите с Саранцева объяснение по поводу его поступка, Игорь Валентинович! Я буду рада, если руководство лесопункта влепит ему как следует. А теперь отпустите подследственного. Пусть напишет объяснение дома. Он нас извел, этот пижон. Отпустите его!

— Вы свободны, товарищ Саранцев! — сказал Качушин.

Лесозаготовитель провел рукой по давно не бритым щекам, покачал головой, словно от чего-то освобождаясь, частями набрав в грудь воздух, осторожно выдохнул его. Он поднялся, на секунду остановился в нерешительности, не зная, как попрощаться. Видимо, сказать «до свидания!» он не хотел, а «прощайте!» не решался. Потом он подошел к вешалке, надел пальто, что-то пробормотав, начал открывать дверь и тут не выдержал: с дрожащими, перекосившимися губами, с гримасой счастья и боли на лице он так резко дернул дверную ручку, что стекла в окнах дрогнули, а лампочка на длинном шнуре покачнулась.

— До свидания! — из сеней крикнул Саранцев. — До свидания!

На дворе было тихо, безветренно, и шаги Юрия Саранцева слышались долго — веселые, звенящие, летучие.

— Пижон несчастный! — насмешливо сказала Юлия Борисовна. — Вы видели этого пижона?

Юлия Борисовна прижималась спиной к

печке, Качушин, покачивая ногой, сидел на кончике стола, а участковый все еще стоял. У него было серое, больное лицо, так как Анискин не спал три ночи подряд, в течение трех суток почти ничего не ел. У него временами слегка кружилась голова, он по-прежнему не мог смотреть на электрический свет: резало глаза.

— Один Флегонт Вершков остался, — задумчиво сказал участковый, делая шаг в сторону. — Я потом сбегаю за ним, только есть такая думка, что надо бы еще поговорить со Стригановым. Ты не будешь возражать, Юлия, если я с Василием еще раз поговорю?

Юлия Борисовна ответила не сразу. Закинув голову назад, она стояла прямая, натянутая, напряженная. Седые пышные волосы обрамляли ее маленькое лицо, плечи были прямые, офицерские.

— Федор Иванович, — спросила она, — это тот самый Флегонт Вершков, который вернулся с фронта хромым?

— Он!

Юлия Борисовна опять помолчала.

— Давай Стриганова, Федор Иванович! — наконец сказала она. — Арестовать Вершкова мы всегда успеем. А ну давай сюда братца Василия!

7

Прямой, высокий, почти касаясь головой потолка, участковый прошел по комнате, протяжно отдуваясь, сел за стол.

— Так! — звучно сказал Анискин. — Эдак!

Стриганов тоже садился. Усмехнувшись, он посмотрел на низко висящую электрическую лампочку, отстранил ее рукой, но табуретку отодвинуть не решился. Еще раз усмехнувшись, он сел, положил ногу на ногу и только тогда спокойно, уверенно огляделся.

— Ну, вот и сел! — сказал он. — Тепло, светло, тихо.

Дикое, цыганское, степное наплывало на лицо Стриганова. Вот он грозно выставил волнистую бородку, сжал длинные иезуитские губы, и показалось, что в комнате слышен конский храп и свист бича; пошевеливала звездами темная разбойничья ночь, полная запаха полыни и костров. Разгульем, ветром в лицо веяло от глаз Стриганова, смелых до отчаянности. Бледнела, сухо натягивалась кожа на его таком же выпуклом, как у Анискина, лбу.

— Допрашивайте! — сказал Стриганов. — Я сегодня веселый, разговорчивый...

Юлия Борисовна и Качушин, притаившись, молчали. Всей спиной вжалась в печку капитан милиции, сделавшаяся вдруг маленькой, тоненькой, по-женски беззащитной; осторожно дышал в своем углу Качушин, тоже ставший вдруг неприметным, юным, незначительным. Одно и то же чувство испытывали Юлия Борисовна и Качушин: что значили отпечатки пальцев на пустой бутылке от рислинга перед тем, что видели они? Чего могло стоить медное колечко от ножа перед тем, что жило на пяти метрах, разделяющих Анискина и Стриганова? Только смерть Степана Мурзина, березы над кладбищенской оградой да звезды на шелковом небе могли стоять вровень с тем, что происходило на пяти метрах! О жизни и смерти, о человеке, живущем на теплой и круглой земле, молчали пять метров, разделяющие Анискина и Стриганова.

Шестьдесят три года было участковому Анискину, пятьдесят семь — Стриганову; десять лет лежала на кладбищенском взгорке их мать, по разные стороны жизни погибли их отцы. Революции и войны, счастливые весны и несчастные зимы, крик рождающихся детей и стоны умирающих родственников, меняющие русла реки и удушливый бред болезней — все лежало на пяти метрах молчания братьев.

Только жизнь и смерть могли стоять вровень с тем, что зрело, прорывалось в серых глазах Анискина. Просто и тихо, естественно и мудро он посмотрел на брата и сказал:

— Из-за меня погиб Степан Мурзин! Он потому неживой, что я в тот вечер ему навстречу не пошел. А это содеялось оттого, Василий, что я на тебя похожий...

Анискин был медленный, мудрый, простой. Он не жаловался, не просил сочувствия, ни к кому, кроме себя, не обращался. Только с самим собой разговаривал участковый, и разговор этот был похож окончательностью на приговор, словно Анискин вершил над собой суд.

— Я потому в тайгу не пошел, — медленно продолжил участковый, — что свою родную дочь до болезни довел. Я выгнал Степанова. Я ведь тем на тебя, Василий, похожий, что для меня земли, кроме деревенской, нет. Вся земля у меня клином на деревне сошлась.

Участковый положил обе руки на стол и несколько секунд слушал, как за окнами бодро, часто похрустывает под ногами неизвестного человека морозный снежок. Кто-то шел по улице.

— Еще я на тебя тем похожий, Василий, что за Верютиным, который Коломенские гривы взял, да за директором магазина, что лосей бьет, технорука Степанова не видал. Так что я тоже одну правду видел, а одна правда — она неполная... Жизнь-то, она больше деревни...

Анискин отстраняющими глазами посмотрел на Юлию Борисовну и Качушина, которые вдруг одновременно сделали такое движение, словно хотели или сказать что-то, или приблизиться к участковому. «Молчите, молчите, дорогие товарищи!» — взглядом остановил их Анискин и тем же тоном продолжал:

— Ты тоже убивал Мурзина, брат Василий! Твоя лживая вера против Степши оборотилась... Так что мы оба виноватые.

Теперь участковый обернулся к Юлии Борисовне и Качушину. По-прежнему не допуская их к себе, отстраняя всякие попытки пробиться словом или взглядом в то крупное и высокое, что жило в нем, Анискин сказал негромко:

— Я про то, что Вершков стрелял в Мурзина, еще два дня назад понял. В этом деле бескурковка главная... Тут видишь какая история, Игорь Валентинович. Если Вершков бескурковку не любит, значит, он в тайге был с другим ружьем. А у второго вершковского ружья, у тулки, патронный выбрасыватель лет семь не работает, так что Флегонт патроны ножом вынимал. Вот тут-то он и потерял колечко: руки дрожали! — Участковый сдержанно улыбнулся. — Много всяких мелких доказательств есть... Вершков-то, когда при нас самоловы точил, напильник держал в левой руке: правая раненая или ушибленная.

Участковый передохнул, стерев с лица улыбку, повернулся к Качушину и сказал только для него:

— Я не верил, Игорь Валентинович, в то, что деревенский мужик может убить деревенского мужика! Я не думал, как Стриганов, что от приезжих одно плохое идет, но внутри меня, значит, это жило, как воробей в скворечнике... Вот я и наводил тебя на леспромхозовских, Игорь Валентинович, хотя прямого умысла у меня не было... В это ты поверить и через то можешь, что я и собственную дочь к болезни привел. Вот что получается, дорогие товарищи, когда за деревней земли не видишь!.. Ты слышал, Игорь Валентинович, как Привалов сказал: «Мурзин не от колхоза, а от государства зарплату получает...» Это что же делается, товарищи? Выходит, Степан тоже был чужой деревне, как вот молодая доярка Заремба, которая ни в чем не виновата. Правильно Степанов сказал: «На дворе двадцатый век!» А мы жизнь Верютиным меряем, хотя на него сами похожи...

Участковый замолк. Опустив голову, он перебирал пальцами карандаш. Шаги за окнами уже затихли, и было слышно, как за печкой шелестят тараканы. Откуда они взялись в доме, как жили, голодные, этого Анискин никак понять не мог. Немного помолчав, он неторопливо поднялся.

— За твоим домом следили, Стриганов! — сказал он. — Учитель Людвиг Иванович следил... Вершков ночевал у тебя. Где он сейчас?

Родными братьями были участковый и Стриганов. Что из того, что Василий был на голову ниже Анискина и уже старшего брата в плечах, — умно глядели его глаза, неподкупно сжимались тугие губы, и, не отвечая на вопрос, Стриганов окружил себя такой же думающей, напряженной тишиной, какой умел окружать себя участковый.

Стриганов поднял голову, ясно заглянул в лицо Анискину и вдруг раскатисто захохотал. Заблестели белые молодые зубы, вздыбилась, затрепетала бородка, и, откинувшись, взмахнув руками, поп присвистнул, пригикнул, прищелкнул пальцами по-ямщиковски.

— Да разве ж я знаю, Федор, где Вершков! — воскликнул поп. — Не знаю я этого, хотя он мой первый друг. Коли я протопоп, так и ученики у меня должны быть! Как же я тебе Флегонта выдам!.. Не Иуда же я!

Страшным сделался Стриганов, и участковый торопливо поднялся. В три шага он перебросил тяжелое тело к дверям, махом натянул полушубок и обернулся — суровый, грозный, похожий опять на загадочного восточного бога. Следователь тоже поднялся и стал рядом с ним.

— Не попадешь в мученики, Стриганов! — сказал участковый. — Я от ошибки к правде пришел, а ты не хочешь. Крохобор ты! Дескать, хоть лживая правда, да моя...

Анискин резко открыл дверь, дождавшись, когда Качушин выйдет первым, приказал:

— Жди меня, Стриганов! Сиди вот на табуретке и жди...

8

Небо с крупными звездами висело над деревней, луна сверкала над заснеженной рекой; освещенное желтым светом пространство было пугающе громадно, звезды уходили в бесконечность, и туда же устремлялась лунная полоса, по которой участковый и Качушин торопливо шли к заимке Вершкова.

Пощелкивал ровный, крепкий морозец, воздух был сух и прозрачен, и шаги двоих слышались в деревне, на реке, за рекой. Когда до заимки оставалось метров пятьсот, участковый остановился, приподнявшись на носки, поглядел в глубь желтого пространства и еще быстрее пошел вперед. Его спина шаг от шагу делалась все беспокойнее, и через несколько минут Качушин тоже заметил, что в окнах заимки нет огня.

Луна светила ярко, хорошо был виден остроконечный домик, стоящий на сваях, как сказочное жилище на курьих ножках. Два деревянных петуха с длинными гребнями настороженно глядели с концов крыши, флюгер-щука, тоже вырезанный из дерева, раскрывал зубастую пасть. Сказочное безмолвие стояло вокруг заимки.

Участковый шел на полусогнутых бесшумных ногах, слюдой блестел снег, рассекала

землю на две части желтая полоса, стоял дом на курьих ножках — все было жутко-сладко, нереально, как в страшной сказке о разбойниках и Бабе-Яге. Подойдя в дверям, Анискин послушал тишину дома, полуобернувшись к следователю, по-стариковски мелко потряс головой. Потом участковый осторожно вытащил щепочку, которой была заперта дверь, снял щеколду с петли и снова прислушался.

— Берегись, Игорь Валентинович! — прошептал Анискин. — Отойди в сторонку.

Когда участковый открыл дверь, на крыльцо бесшумно выпрыгнули две собаки — лайка и овчарка. Они наметом бросились к воротам, замерли на секунду, а затем, по-волчьи распластавшись, прижав острые уши, беззвучно и жутко понеслись по желтой лунной дорожке, разделившей землю на две части. Они мчались к луне, словно их притягивал ее гипнотизирующий древний и первобытный свет. С каждым мгновением все меньше и меньше делались их вытянутые тела, потом собаки исчезли, словно растворились в лунном свете.

— Белолобого-то нет! — хриплым от волнения голосом сказал участковый. — Белолобого-то Вершков с собой взял...

В заимке Анискин зажег керосиновую лампу. Когда фитиль разгорелся, они увидели разграбленную, полуопустевшую комнату: обнаженную от постели лежанку, штыри в стенах, на которых уже не висели ружья и сети, сундук с открытой крышкой, пустой и гулкий. И так тихо было в доме, что слышалось, как горит керосиновая лампа.

— Флегонт-то ушел! — строго сказал Анискин, садясь на лавку. — Он ведь ушел, Флегонт-то!

Анискин прислонил голову к темному бревну стены и надолго замер в тишине, которая дважды в секунду взрывалась жестоким боем маятника. В пустой и холодной комнате Вершкова еще шли часы-ходики, еще ворочал глазами потешный котенок, нарисованный на циферблате.

— Ну что же, — сказал участковый. — Сколь здесь ни сиди, а в деревню идти надо... А Вершкова я найду! Я ведь тоже охотник, Игорь Валентинович... Так что не уйдет от нас убийца!

Выйдя из заимки, участковый поднял с крыльца щепочку, наложил щеколду на петлю, запер двери. После этого он застегнул полушубок, натянул шапку и сошел с крыльца. Высокий, прямой, на широко расставленных ногах, участковый постоял немножечко, глядя в сторону деревни, потом наклонился вперед, сделал крупный шаг — и пошел-пошел, хрустя снегом, наступая на желтые блестки лунной полосы, что делила мир на две части.

Они были на полпути к деревне, когда в тишине раздался шум мотора и, освещенный прожекторами, на берег Оби выполз желтый трелевочный трактор, развернувшись на месте, как танк, словно на пьедестале, замер на кромке яра. Из трактора выпрыгнул человек в замасленной телогрейке, похожей на кожаную куртку, блестящий, посверкивающий, стал возле машины.

Прошло еще несколько мгновений, и на обский берег одна за другой начали выползать остальные машины. Грохоча, развертываясь, как на учениях, тракторы пристраивались к первому трактору, и вскоре из машин образовалась яркая железная цепочка, грохочущая и неистовая в стремлении двигаться дальше.

Лесопункт технорука Степанова закончил рубку кедрача. Это произошло на четвертые сутки после того, как погиб Степан Мурзин.

На левом плече Анискина, идущего стремительно по лунной дорожке, лежали мерцающие огни деревни. Отсюда, со стороны заимки, деревня уже не казалась, как раньше, частью неба, земли, реки, а лежала отдельно от них — тихая и прислушивающаяся.

Виль Владимирович Липатов

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Зав. редакцией В. ИЛЬИНКОВ Редактор Б. ФИЛЕВ

Художественный редактор *Г. Андронова* Технический редактор *Л. Платонова*
Корректоры *В. Широкова* и *Д. Эткина*
Фото *Н. Кочнева*

Сдано в набор 5/VII 1968 г. Подписано к печати 18/VII 1968 г. А05274. Формат 84×108¹/₁₆ — 7 печ. л. 11,76 усл. печ. л. 14,51 уч.-изд. л. Тираж 2 100 000 экз., 1-й завод: 1—1 000 000 экз. Заказ № 1949. Цена 29 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.
Обложка отпечатана на фабрике офсетной печати № 1, Кропверкская, 7